

Стефан Цвейг СОВЕСТЬ против НАСИЛИЯ

Стефан Цвейг

СОВЕСТЬ
против
НАСИЛИЯ

GALLIAE T

Nominum montium, fluviorum
cauitatum uulgaris trans-
lationes.

Arledunum Arle
Lugdunum Lyon
Mos pessulanus Mâpeller
Aquitania Gascongne
Burdigala Bardus
Petrocorium Perigot
Auemia Amernge
Caletes Carx
Lexouij Lefime
Baiocenses Bayux
Andegauenses Angers
Aurlianenses Orleans
Meldenses Meaux
Mosa Mos, Meuse
Traiectum vniche
Ambiani Amiens
Cameracum Cambrey, Cambray
Antuuerpia Antwerp
Tomacum Tournay
Rhoromagus Roan
Sueffones Soiffon
Campania Champagne
Rhemi Rhemenses Reims
Tullum Tol, Tall
Nasum Nante, Nancy
Tolosa Tholofo
Marfilia Marfille
Arar fluuius Arona, la Sone
Bifantium By, Anfon
Aquifgranum Aes, Ach
Agrippinēfis Colonia, Cōln
Confluentia Cobolenz
Metis Metz
Nemeti spireses
Argentina strasburg
Vangiones Vuornacienses
Hannonia Hennenge
S. Audomar s. Tbomer
Duhis flu. le Doue
Gratiano polis Granoble



HISPANIA

ABVLA.



Библиотечная
серия

Стефан Цвейг

СОВЕСТЬ
ПРОТИВ
НАСИЛИЯ



Stefan Zweig

CASTELLIO

gegen

CALVIN oder

Ein Gewissen

gegen

die Gewalt

Стефан Цвейг

СОВЕСТЬ
ПРОТИВ
НАСИЛИЯ
Кастеллио
ПРОТИВ
Кальвина

Москва «Мысль» 1986

ББК 87.3(3)
Ц26

Редакции философской
литературы

Автор вступительной статьи
и примечаний —

докт. филос. наук
Л. Н. Митрохин

Перевод с немецкого

Л. М. Миримова

Художник

А. А. Райхштейн

Для оформления переплета, форзацев
и заставок использованы гравюры
на дереве из книг С. Мюнстера
«Космография...» (Базель, 1554),
Х. Шеделя «Всемирная хроника»
(Нюрнберг, 1493) и фрагменты гравюр
XV—XVI вв.

Ц $\frac{0302010000-077}{004(01)-86}$ 87-86

© Издательство «Мысль». 1986

Стефан Цвейг: Кастеллио против Кальвина

Книга Стефана Цвейга «Совесть против насилия» (1936) повествует о малоизвестных событиях в истории европейской культуры XVI в.— о борьбе Кальвина против Сервета и Кастеллио. В ней детально прослеживаются перипетии этой схватки, даются подробные характеристики главных действующих лиц. Иными словами, она написана в особом жанре «романизированных биографий», которые занимают важное место в наследии австрийского писателя и во многом обеспечили ему всемирную известность. Однако в тревожной обстановке, сложившейся на Европейском континенте после прихода к власти нацизма, такое обращение к далекому прошлому имело довольно условный характер: и по замыслу автора, и в восприятии читателей это произведение расценивалось прежде всего как злободневная и страстная отповедь фашизму.

В порядках, установленных Кальвином, в фанатическом преследовании Сервета и Кастеллио Цвейг увидел исторические прототипы современной ему эпохи и вложил в обличение «жневского папы» все свое неприятие гитлеровского режима. В выборе этого сюжета, несомненно, проявилась социальная зоркость писателя. Описание протестантской Жeneвы с ее всепроникающей слежкой, культом Кальвина как монопольного хранителя «высшей» истины, его нетерпимостью ко всякому независимому мнению позволило писателю выявить характерные черты нацистских порядков, прежде всего специфического для них сочетания физического насилия и идеологического деспотизма. Как известно, жизнь Цвейга трагически оборвалась в 1942 г., а через несколько лет был сокрушен пресловутый «тысячелетний рейх».

Сейчас, спустя полвека после выхода книги, мы можем точнее судить о подлинной сути фашизма и, следовательно, о месте Цвейга в борьбе с ним.

Эта тема, однако, имеет не только исторический и литературно-критический интерес. За последние годы обострилась международная обстановка; развитие средств массового уничтожения поставило под угрозу человеческую цивилизацию. Не ушли в прошлое военные путчи и террористические диктатуры, политические убийства, попрание гражданских прав целых стран и народов. Поэтому, как никогда раньше, возрастает значение идей мира и человеколюбия, защиты высоких моральных идеалов, объединения усилий всех людей доброй воли. Повествование Цвейга вновь приобретает злободневное звучание, его переживания и тревоги обретают новую жизнь в нашем теперешнем мировосприятии.

Едва ли нужно подчеркивать, что Стефан Цвейг — представитель буржуазной культуры и защищал характерные для нее мироощущение, идеалы, ценности. Ему было чуждо марксистское понимание общественно-исторического процесса, и он придерживался ненаучного, субъективистского взгляда на его закономерности. Но в современном мире, где по-прежнему проявляется религиозный фанатизм и насилие над личностью, он наш союзник. А поэтому издание книги Цвейга «Совесть против насилия», пронизанной страстной защитой духовной свободы, ненавистью ко все унифицирующему духу казармы, к духовному деспотизму,— заметный вклад в осуждение обскурантизма, насилия и терроризма.

Книга эта — не обычное беллетристическое произведение. Она написана в жанре художественно-исторической документалистики, в котором авторский пафос и эстетическое кредо подкрепляются ссылками на беспристрастные документы и свидетельства, воплощаются в образы реальных исторических персонажей. Это, несомненно, позволяет писателю с большей убедительностью и наглядностью выражать собственную позицию. Но это жанр, требующий особой ответственности и таящий в себе немалую опасность. Даже исследователь, претендующий на беспристрастное воссоздание прошлого, всегда на первый план выдвигает факты и детали, которые наиболее соответствуют его представлениям. В еще большей мере это относится к писателю, который на историческом материале реализует свой, прежде всего литературный, замысел. Здесь так или иначе возникает вопрос исторической достоверности художественного произведения. Это, разумеется, не означает, что требование исторической точности выдвигается как некий внешний критерий, параллельный оценке эстетических достоинств произведения. Нет, он раскрывается и «работает» в самой ткани текста, проявляется в законченности и убедительности писательских образов, в движении сюжета, в логике раскрытия реального действия и взаимоотношениях персонажей.

Цвейг, повторим, придерживался идеалистического взгляда на историю. Он был весьма субъективен, порой тенденциозен в трактовке исторических событий и без особых колебаний наделял героев прошлого чувствами и переживаниями современной ему эпохи. Тем самым оправданной, а для данного предисловия, пожалуй, и главной представляется задача посмотреть, какими средствами автор реализует свой замысел, в какой мере исторически и художественно достоверными оказываются созданные им персонажи, каково значение данного произведения в духовной ситуации наших дней.

Предупредем против возможного упрощения.

Не составляет особого труда указать на целый ряд типичных для Цвейга изъянов в теоретической интерпретации ключевых эпизодов эпохи Реформации, тем более что его исторические очерки привлекли внимание многих советских литературоведов, обстоятельно и критично исследовавших своеобразие его творческой манеры*. Однако мы имеем дело не с историческим трактатом, а с произведением известнейшего писателя, и нельзя механически переносить на него критерии, правомерные в отношении научного труда. Проблему исторической достоверности здесь следует ставить с учетом всей специфики художественного творчества. Иными словами, недостаточно просто оценить философско-историческую концепцию автора, нужно еще посмотреть, как она воздействует на сам характер повествования, на образы главных персонажей, как совмещаются, синтезируются историческая правда и художественная убедительность. В конце концов это вопрос о том, насколько успешно средствами, применяемыми писателем, реализуется общая нравственно-эстетическая программа, которую он выдвинул.

1

Стефан Цвейг проявлял особый интерес к исследованию «нового беспредельного мира — глубины человека». Его не привлекали уравновешенность и житейская размеренность бытия. Человеческие характеры он предпочитал наблюдать в «горячем состоянии». Лишь когда внутренний духовный огонь расплавляет оболочку обыденности и неудержимо выплескивается наружу, лишь тогда эта судьба привлекала внимание писателя. Это минуты внезапных прозрений личности, ее внутренние «звездные часы», моменты

* Укажем на книгу Б. Сучкова «Лики времени» (М., 1969, с. 82—152), его предисловия к переводам отдельных произведений Цвейга, а также работы А. Русаковой, Ю. Семикова, Л. Симонян, И. Иноземцева, Е. Тренина и др.

кристаллизации собственного Я. «В жизни человека,— писал Цвейг,— внутреннее и внешнее время лишь условно совпадают; единственно полнога переживаний служит мером душе... Вот почему в прожитой жизни идут в счет лишь напряженные, волнующие мгновенья, вот почему единственно в них и через них поддается она верному описанию. Лишь когда в человеке взыграют все душевные силы, он истинно жив для себя и для других; только когда его душа раскалена и пылает, становится он зримым образом»*.

Азартный интерес к глубинам души, живущей собственной, от повседневно независимой жизнью, страстное соперничество со своими героями, неизменно гуманистический пафос составляют отличительную особенность Цвейга-писателя, обеспечившую ему почетное место в литературе XX в. Сам Цвейг трезво оценивал свое творчество. Преклоняясь перед крупнейшими мастерами прошлого— Бальзаком, Диккенсом, Стендалем, Толстым, Достоевским,— он сетовал, что уже не может создать «вокруг себя новую вселенную». Однако собственную художественную манеру он утверждал с непреклонной настойчивостью и достоинством.

Цвейг любил себя называть добросовестным психологом, у которого «страсть разгадывать психологические загадки перешла в манию». Действительно, сюжет его произведений тщательно продуман, в них читатель умело приглашается соучаствовать в расследовании какой-то жизненной коллизии— всепоглощающей страсти, роковой судьбы, лишь до поры до времени дремлющих в оболочке привычной повседневности, словно бабочка в куколке.

Эта особенность творческого подхода Цвейга отчетливо проявилась в его серии биографий исторических личностей. За последние десятилетия такой жанр получил широкое признание у читателей. Больше того, практика объединения исторических свидетельств с художественным повествованием ныне приобрела особую популярность и представлена в самых различных формах— начиная от серьезных попыток художественно воссоздать реальные картины прошлого и кончая тенденциозными спекуляциями на документах или псевдоисторических свидетельствах. Что же касается Цвейга, то свои исторические очерки он создавал в своеобразной, лишь ему присущей манере.

Естественно, он внимательно изучает забытые документы, вводит в повествование множество фактов, неизвестных широкой публике. Но Цвейг— не беспристрастный свидетель, он художник, вдохновенно утверждающий собственную концепцию прошлого. По его убеждению, истинные пружины и непрерывность истории, ее триумфы и

* Цвейг С. Мария Стюарт. М., 1959, с. 20.

падения, неожиданные повороты и переломы исходят из глубин человеческого духа, из индивидуальных «подпольных» страстей, обычно неприметных, но в особый момент выходящих на очную ставку со всечеловеческой судьбой. А поэтому исторические свидетельства он прежде всего использует как повод, отправную точку для создания типажей, соответствующих его философско-историческим представлениям, и более или менее оправданного их расселения по разным эпохам.

Если же напомнить о напряженном внимании Цвейга к внутренней жизни своих героев, об изумительной способности вживаться в созданные образы, улавливать и передавать тончайшие вибрации души, о его блистательном стиле — то бурном, страстно-неудержимом, то, напротив, отточенно холодном, надменном, скупом афористическом, — нетрудно понять, почему писателю удалось создать многокрасочную, неповторимую галерею «своих» героев прошлого. Однако такой подход несет в себе возможные издержки, если речь заходит о действительно значительных исторических деятелях.

В поле зрения Цвейга попадают различные люди. Одинаково увлеченно он повествует о перипетиях прокладчика межконтинентального кабеля и поведении наполеоновского генерала, о темных махинациях религиозной фанатички и суровом мужестве покорителей Южного полюса. Цвейг блистателен в воссоздании творческого процесса писателей и художников. Его очерки о Диккенсе, Бальзаке, Стендале и других при возможной спорности трактовок — подлинные произведения искусства. О его мастерстве может свидетельствовать хотя бы «Мариенбадская баллада», удивительная по тонкости, тактичности, по какой-то трепетности писательского сопереживания. Здесь Цвейг в своей стихии: слова, образы, метафоры даются ему легко, естественно, словно глотки свежего воздуха. Сен-Бёв сказал о Марселине Деборд-Вальмор: «Она уже не поэт, она сама поэзия», а поэтому проникновенный рассказ Цвейга о скорбной судьбе и внутреннем стоицизме поэтессы оказывается неоценимым для восприятия ее художественного наследия.

Но Цвейг, повторяем, пишет не только о поэтах и писателях; среди его героев немало политических деятелей, ученых, философов, богословов. Психологические портреты могут оставаться по-прежнему полнокровными и выразительными. Но автору неизбежно приходится касаться объективно-общественного содержания их деятельности, которое, собственно говоря, и определило место каждого в истории человеческой культуры. Здесь психологический подход Цвейга оказывается недостаточным, потому что ключ к пониманию этой деятельности, а тем более к содержанию конкрет-

ных доктрин и концепций не может быть выведен лишь из переживаний их творцов.

В самом деле, можно сколько угодно полно описывать психологию математика, физика, химика, но этого явно недостаточно, чтобы разобраться в существе их взглядов. В равной мере нельзя до конца понять роль в истории культуры, например, Ницше, Месмера или Фрейда, не подвергая их воззрения специальному исследованию, никак не компенсируемому психологической проницательностью биографа. Эта особенность по-своему проявляется в области политики и идеологии. Напомним: К. Маркс и Ф. Энгельс категорически настаивали на том, что буржуазный идеолог не осознает истинных побудительных мотивов своей деятельности, которая в конечном счете определяется социальными потребностями, складывающимися независимо от его воли и желания*.

В наиболее очевидной форме подобная аберрация проявляется в воззрениях и поведении религиозных деятелей, о которых преимущественно идет речь в данном произведении. Так, христианские идеологи высшим критерием истины объявляют «слово божье», запечатленное в Библии. Поэтому их полемика всегда проходит под лозунгом восстановления «истины Христа» в ее подлинном, «неповрежденном» виде. Реальная причина теологических новаций, однако, лежит несравненно глубже: они отражают сдвиги в массовом религиозном сознании, которые в свою очередь обуславливаются изменениями в материальных условиях жизни. Если же мы игнорируем конкретно-исторические условия, в которых подобные интерпретации возникают, то лишаемся возможности понять как их подлинное социальное содержание, так и ту роль, которую они сыграли в идеологических схватках своей эпохи.

Все эти суждения имеют прямое отношение к публикуемому произведению, поскольку Цвейг не только настойчиво утверждает особую концепцию общественно-исторического процесса, но и превращает ее в предзаданный сценарий, во многом регламентирующий поведение и переживания главных персонажей книги.

Таков один угол зрения при размышлениях над данным произведением. Но сам по себе он еще недостаточен. С. Цвейг был не заурядным философом истории, а прежде всего «первоклассным писателем» (М. Горький) и свое кредо выражал в художественной форме, в конкретной системе образов, в защите определенной нравственной позиции. Значительность Цвейга-писателя в том, что он был убежденным гуманистом, преисполненным чувства глубокого состра-

* См., напр., *Маркс К., Энгельс Ф. Соч.*, т. 39, с. 82—86.

дания к людям. По оценке Максима Горького, Цвейг проявлял «изумительное милосердие к человеку»*, защищал его яростно и бескомпромиссно.

Писатель неутомимо разыскивал и противопоставлял, с его точки зрения, едва ли не извечные начала человеческого бытия: свободу и деспотию, разум и фанатизм, предательство и верность долгу, обличая тиранию, угнетение, насилие. Цвейг постоянно выявлял, сталкивал эти два полюса в поступках как малоприметных людей, так и общепризнанных «строителей мира». Именно эта решительность в утверждении непримиримости порока и добродетели, жестокости и человеколюбия, честности и лицемерия, разума и мракобесия придает остроту и драматизм его биографическим очеркам. Цвейговские портреты — не акварель, не мягкая пастель. История у него освещается в жестком спектре, резко оттеняющем белые и черные цвета; это литографии, высеченные резцом, оставившим нестираемые контуры.

Внутренняя напряженность такого повествования во многом определяется тем, насколько порок и добродетель размежевались в самой фабуле произведения, в какой мере избранные персонажи могут рассматриваться как «чистые типы» несовместимых нравственных качеств, как остро они сталкиваются в реальности, а не только в авторской оценке. Цвейг чувствует себя явно стесненно, когда речь идет о переплетениях малозначительных поступков и переживаний. Прослеживая «коварную и во всех отношениях нечестную игру», которую ведут Мария Стюарт и Елизавета, он замечает: «Блистательна эта борьба... Жаль только, что презренны и мелки те средства, которыми она ведется... Будь на месте Марии Стюарт и Елизаветы двое мужчин, не миновать бы им кровавого столкновения, войны»**.

Находкой для писателя стала карьера Фуше: здесь действуют «мужчины», честолюбивые и талантливые, — Талейран, Наполеон, Фуше... Кровь льется рекой, жесты знаменуют переломы истории, от слов зависят судьбы народов. Автору нет необходимости копаться в дамских интригах, все predetermined, как в хорошо подготовленном судебном процессе. И стиль Цвейга становится вдохновенным, свободным, портреты — выпуклыми, оценки — жесткими и убедительными. Но и здесь нет «честной игры», персонажи соревнуются лишь в лицемерии и порочности, так что автору самому приходится выступать в амплуа резонера. По-другому Цвейг строит взаимоотношения главных персонажей книги «Совесть против насилия».

* Горький М. [Предисловие.] — Цвейг С. Собр. соч., т. I. Л., 1928, с. 9.

** Цвейг С. Мария Стюарт, с. 92.

Повествование напоминает музыкально-драматическое произведение: звучит увертюра, в которой проходит основная тема — тема борьбы Свободы и Деспотизма, Разума и Насилия, представленных Каstellio и Кальвином. Торжественно, с включением всех инструментов прославляется величие подлинного Гуманиста. Занавес поднимается, и на освещенной сцене возникает Фарель с огненно-красной бородой...

Конечно, трудно остаться равнодушным к столь бурному авторскому монологу. Чтобы проникнуть в общий замысел писателя, следует, однако, напомнить о его концепции исторического процесса. По Цвейгу, он складывается из периодически повторяющихся эпизодов противоборства «полюсов, постоянно создающих силовое поле»: терпимости и нетерпимости, свободы и навязанной опеки, гуманизма и фанатизма, индивидуальности и унифицированности, совести и насилия. Столкновение этих изначальных, от века бытийствующих начал совершается примерно по одной схеме. Уставшие от бесперспективности жизни люди устремляются за очередным пророком, предлагающим конкретное и осязательное благополучие. Но роковым образом эти «пророки» после одержанной победы становятся «предателями духа», деспотическими правителями, противниками свободы и независимой личности.

Однако — и Цвейг постоянно подчеркивает эту мысль — дух свободы неискореним, любое подавление рано или поздно приводит к протесту. «Во все времена будут существовать люди независимого духа, способные сопротивляться власти над человеческой свободой». Но недостаточно, предупреждает писатель, просто осуждать насилие. Нужна еще смелость, чтобы выступить на борьбу с ним, а это, увы, встречается реже, «ибо трусость человеческого рода неумирающа». И Цвейг довольно критически высказывается о своем прежнем кумире, «светоче и славе своего столетия»* — Эразме, о таких гигантах культуры, как Рабле и Монтень. Да, они гуманисты, соглашается Цвейг, но «сверхосторожны».

Так что торжественная стилистика Введения объясняется просто: по мнению писателя, Каstellio — единственный из гуманистов, кто «решительно выступает навстречу своей судьбе», мужественно поднимает свой голос за преследуемых товарищей. Это, собственно, лейтмотив всего произведения, опора оптимистического взгляда автора на будущее. Так, заключая повествование, он подчеркивает:

* Цвейг С. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского. М., 1977, с. 29. См. также с. 78.

«...всегда найдется кто-нибудь, готовый выполнить свой духовный долг, вновь начать старую борьбу за неотъемлемые права человечества и человечности, вновь против каждого Кальвина встанет Каstellано и защитит суверенную самостоятельность образа мыслей против всех насильий».

Чем же объясняется специфический пафос этой книги? Для ответа нужно вспомнить обстановку, в которой она создавалась. В 30-е годы Стефан Цвейг уже приобрел мировую известность как писатель-гуманист, решительный противник войны и защитник идеалов человеколюбия. Тесная дружба связывает его с Р. Ролланом и М. Горьким. Однако эта репутация вскоре подверглась серьезному испытанию. Сошлемся на суждение ленинградского литературоведа Е. М. Тренина, занимавшегося творчеством Цвейга в 30-е годы: «Приход фашистов к власти в Германии в начале 30-х годов резко изменил обстановку не только внутри страны, но и во всей Европе. Борьба против фашизма, защита прогрессивной культуры, защита гуманистических идеалов уже не были темой теоретических дискуссий, а стали суровой реальностью. Естественно было бы ожидать, что и Цвейг выступит в защиту своих идеалов... Однако С. Цвейг отказывается от каких-либо выступлений относительно нового режима в Германии. Как свое кредо он утверждает нейтралитет художника и пытается заняться чисто литературным трудом»*. Эта позиция Цвейга, продолжает Е. М. Тренин, вызвала резкую критику во всем антифашистском лагере.

Не станем останавливаться на всех деталях. Отметим лишь, что эти настроения писателя отразились в его книге «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского» (1934), в которой Цвейг попытался объяснить и обосновать свой политический нейтралитет. Дело, пожалуй, не только в том, что, как порой утверждается, писатель идеализирует слабые стороны деятельности Эразма. Главное — что Цвейг создает образ «своего» Эразма, воспринимавшего мир «через посредство литер, букв»**, вырывая его из конкретного исторического контекста и явно обедняя облик великого гуманиста — одной из центральных фигур культуры XVI в.

Трагедию Эразма Цвейг усматривает в бессилии мудрости перед тупым фанатизмом толпы (символом ее выступает Лютер), всегда опасной насильем и разрушением. Такое представление перерастает в общую пессимистическую концепцию: доброта, разум, человеколюбие бессильны перед

* Тренин Е. М. Исторические произведения С. Цвейга 30-х годов. Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филолог. наук. Л., 1981, с. 7.

** Цвейг С. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского, с. 76.

иррациональными устремлениями масс, безжалостно губящих высокую культуру, и долг истинного мудреца — не вмешиваться в эту стихию насилия, сохраняя верность общим гуманистическим идеалам.

Однако нарастающая массовая борьба против нацизма, критика со стороны прежних единомышленников убеждали Цвейга в том, что ампула мудреца, удалившегося в башню из слоновой кости, все более выглядело анахронизмом.

И тогда именно в образе Кастеллио, смело вступившего в неравную борьбу со всемогущим Кальвином, писатель увидел решение мучительно переживаемых им проблем. Прежняя антитеза «разум — фанатизм» дополняется новой: «смелость — трусость» и по цвейговски страстно утверждает в качестве универсального критерия, позволяющего безошибочно определить величие «человека духа». Отсюда и настойчивость, с которой во Введении писатель отрекается от Эразма в пользу Кастеллио. Отметим и другой любопытный факт: Лютер — фигура, по своему историческому масштабу сопоставимая с Эразмом, — также получает новую роль: раньше он противостоял Эразму как представитель фанатизма толпы, теперь же он — символ «первоначального круга идей Реформации», в предательстве которых обвиняется Кальвин.

Выбор нового кумира и, главное, его образ, созданный писателем, глубоко симптоматичны. Они свидетельствуют, что Цвейг постепенно, хотя и мучительно, часто непоследовательно преодолевал созерцательность своего гуманизма, яснее видел социальные пружины исторических событий, утверждал значение активной деятельности и величие деяния. Этот процесс, наметившийся уже в «Марии Стюарт» (1935), получит дальнейшее развитие в «Магеллане» (1938).

Как буржуазный либерал, Цвейг, естественно, испытывал болезненные колебания в выборе собственной практически-политической позиции во все более массовом и решительном антифашистском движении, мучительно переживал крах своих социальных иллюзий. Но было бы несправедливо усомниться в искренности его принципиального неприятия практики насилия, деспотизма, духовной несвободы. Именно в этом отчетливо гуманистическом пафосе и состоит смысл и ценность книги «Совість против насилия».

Избранный Цвейгом сюжет дал возможность в художественной форме предельно ясно выразить свое отношение к «новому порядку» в Германии. Фашизм — это не просто физическое насилие, знакомое по прежним деспотическим режимам. Власть над людьми он осуществляет через разветвленную государственно-политическую машину, предусматривающую специальный аппарат идеологического воздействия и репрессивного контроля над мыслями людей. Оживляя исторически сложившиеся предрассудки, нацистские

лидеры навязывали расизм, шовинизм, культ силы, слепое поклонение. Одним из центральных устоев фашистской идеологии является обожествление государства как высшей, универсальной формы общественной жизни, отождествляемой с «нацией», «народом». А поэтому существование личности вне государства отвергается: она правомерна лишь как деталь, звено, функция политических структур, и все ее повседневные отношения подлежат централизованному регулированию. Здесь цель — общество, а индивид, конкретный человек — лишь средство. В наиболее уродливой форме это проявилось в культе «фюрера» как совести и смысле жизни всех подданных. Иными словами, нацизм непременно предполагает сакрализацию образа Гитлера, универсализацию мифологического сознания.

Истории известны многие факты религиозного фанатизма, жестокости, нетерпимости. Но Женева XVI в. уникальна в том отношении, что на долгие годы здесь абсолютную власть получил человек, который рассматривал себя как «посланца божьего» и имел полную возможность практически осуществить свой идеал «божьего града». Однако «Совесть против насилия» — не просто осуждение деспотичного правителя-фанатика. По замыслу Цвейга, книга должна была показать нравственное превосходство Себастьяна Кастеллио; образ гуманиста, ученого, созданный в рамках и средствами художественного творчества, должен был «превзойти», нравственно развенчать облик деспота. Таким образом, писатель никак не ограничивается ролью резонера, осуждение должно совершиться в самом художественном повествовании, противопоставившем совесть и насилие, персонифицированные в образах Кастеллио и Кальвина.

Уже здесь можно зафиксировать одну коллизию, с которой неизбежно столкнулся Цвейг. С одной стороны, он выдвигает жесткую концепцию общественного процесса, свое понимание соотношения личности и общества, строит повествование как его подтверждение, как иллюстрацию на историческом материале. С другой — концепция эта носит абстрактный, догматически-морализаторский характер и не ориентирует на тщательное выявление специфических, конкретно-исторических обстоятельств и мотивов деятельности героев произведения. В таком подходе таится реальная угроза художественным качествам текста. В самом деле, Кальвин, Сервет, Кастеллио и другие — это не периодически возникающие персонажи извечной борьбы абстрактных нравственных начал. Они — реальные участники и создатели конкретно-исторических социальных событий, а поэтому полнокровны, значительны лишь в своей эпохе, с которой связаны тысячами видимых и невидимых нитей. Если же они вырываются из этого контекста и предстают в виде «одно-

мерных» проекций современной духовной ситуации, в виде точек конденсации нынешних политических страстей, то неизбежно теряют и свою индивидуальность и историческую значительность. На наш взгляд, до конца решить данную коллизию Цвейгу не удалось.

Он вовсе не ограничивается позицией художника, создающего те или иные образы, а претендует на роль исследователя, теоретика общественно-политического процесса, объясняющего его подлинные пружины. И порой это заметно сказывается на художественных достоинствах книги. Философско-исторический схематизм обнаруживает себя и в растянутых, порой повторяющихся риторических высказываниях, в нагнетании обличительных или восторженных оценок — Цвейг как бы всерьез опасается, что читатель не оценит прямой причастности его персонажей к проблемам современного мира, — в неубедительности мотивировок ряда событий, в игнорировании некоторых исторических фактов и деталей, не вписывающихся в авторскую конструкцию.

Имеется еще одна причина, заставляющая обратить внимание на эту особенность книги. Когда мы читаем произведения Цвейга, рассказывающие о Робеспьере и Фуше, о Бальзаке и Достоевском, даже о Ницше и Фрейд, их содержание накладывается на уже имеющиеся представления об этих личностях и воспринимается как специфический взгляд писателя, как дополнение к знакомой литературе на эту тему.

О Каstellio же нашему читателю практически ничего не известно*. Не лучше обстоит дело и в отношении Кальвина: его главные труды на русский язык не переведены, а немногие работы по реформатским церквям стали малодоступными**. Имя Сервета, правда, постоянно упоминается в перечне жертв религиозного фанатизма, однако найти достоверное объяснение причин его столкновения с

* Единственное, кажется, исключение представляет книга известного в свое время исследователя Реформации проф. И. Лучицкого «Проловодник религиозной терпимости в XVI веке» (М., 1895). Из публикаций последних лет необходимо указать на коллективный труд «Философия ранних буржуазных революций» (М., 1983), в котором всесторонне исследуется идеология Реформации. Особо выделим главу В. М. Богуславского «Скептицизм XVI—XVII вв.»; характеризует суть этого течения, автор часто ссылается на взгляды С. Каstellio.

** Укажем на книгу Б. Д. Порозовской «Иоганн Кальвин. Его жизнь и реформаторская деятельность» (СПб., 1899), довольно подробно характеризующую деятельность женевского реформатора. Ею также написаны книги о Лютере и Цвингли. Из марксистских исследований лучшим остается труд Ф. Капелюша «Религия раннего капитализма» (М., 1931). Отметим также содержательную статью Б. Ф. Поршнева «Кальвин и кальвинизм» (Вопросы истории религии и атеизма. [М.], 1958, № VI).

Кальвином довольно трудно*. Поэтому нелишне рассмотреть героев книги на фоне конкретной и противоречивой обстановки той далекой поры, постараться реконструировать историко-культурный смысл их деятельности и понять социальную подоплеку их взаимоотношений.

3

...Итак, нашему взору предстает Фарель — лицо, по мнению Цвейга, предельно ответственное за последующие события. «...Полное утверждение реформированной религии в Женеве,— пишет он,— по существу является заслугой одного крайне решительного, террористически настроенного человека — проповедника Фареля». Конечно, Гильом Фарель, неистовый «поп-декламатор», если употребить выражение Ф. Энгельса, благочестивый буян, одержимый решающей страстью — до конца обличить «римского антихриста», выделялся даже в той эпохе, весьма щедрой на испуганных религиозных фанатиков. Однако бурная активность Фареля сама по себе еще не объясняет успеха антикатолического движения в Женеве. Оно набирало силу задолго до его появления, отражая сложные социально-политические процессы, независимые от воли и желания религиозных предводителей. Так что придется вернуться на несколько десятилетий назад и хотя бы в общей форме представить себе атмосферу, в которой разворачиваются действия героев книги.

Начало XVI в. в Европе — великая эпоха. Эпоха радикального перелома в европейской культуре, когда закладывается матрица ее развития на столетия вперед. Время благородных порывов и сожжения «еретиков», увлечения античной культурой и облав на ведьм, благочестивых диспутов и изощреннейших пыток, среди которых особым уважением пользуются «испанские башмачки» и поджаривание пяток. Но все эти, казалось бы, разнородные элементы, столкновения, персонажи, тенденции как-то утрясаются, уплотняются, сообразуются в единый поток социального развития, в мироощущение, возвещающее наступление буржуазной эры.

Яростной защитницей средневековых порядков выступает католическая церковь, которая «окружила феодальный строй ореолом божественной благодати»**. Когда-то Гоббс назвал папство «привидением умершей Римской империи,

* Его судьба привлекла внимание дореволюционных авторов, как светских (Михайловский В. Сервет и Кальвин. М., 1883), так и церковных (Будрин Е. А. Михаил Сервет и его время. Казань, 1878).

** Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 306.

сидящим в короне на ее гробу» *. Но в XVI в. церковь еще обладает немалой силой, и везде, где назревает или только замышляется протест против старых порядков, возникают фигуры в темных сутанах, летят папские буллы, звучат церковные проклятия, вспыхивают костры инквизиции.

Тем не менее к началу XVI в. антикатолические движения достигли высшей точки. Их социальная база была крайне пестрой: правители, добивавшиеся политической независимости; промышленники и торговцы, страдавшие от поборов и феодальной раздробленности; обедневшее дворянство и рыцарство, видящее в церкви ненасытного конкурента по обиранию подданных; интеллигенция, страдающая от мертвой церковной догмы; крестьяне, городские низы, на которых невыносимым гнетом ложилась вся эта общественная пирамида.

Однако, для того чтобы разнородные силы выступили вместе, нужна была какая-то объединяющая программа. Поводом послужил на первый взгляд малопримечательный эпизод. 31 октября 1517 г. в Виттенберге проповедник местной церкви Мартин Лютер прибил к воротам собора тезисы, в которых обличал практику продажи индульгенций. Эти тезисы, как отмечал Ф. Энгельс, «оказали воспламеняющее действие, подобное удару молнии в бочку пороха» **.

Трудно, кажется, представить себе более неподходящую фигуру на роль социального реформатора. Выросший в нужде, в суровой богобоязненной атмосфере, Лютер с ранних лет преисполнился страхом перед неминуемой божественной карой и навязчивым желанием заслужить личное спасение. Истерзанный внутренними сомнениями, он в 1505 г. решает на крайний шаг — уйти в монастырь, чтобы ревностным, истовым служением, неумолимой аскезой и послушанием стать достойным «царства небесного».

История, однако, свидетельствует, что именно такие к себе беспощадные, охваченные страстной идеей люди могут стать «строителями мира». Нужен только какой-то механизм, способный переключить всю внутреннюю энергию на общественную деятельность так, чтобы она осознавалась как реализация прочувствованного сокровенного долга. Таким преобразователем стало обличение практики продажи индульгенций, с наибольшей очевидностью выявлявшей чисто «земное» корыстолюбие католических пастырей ***.

Первоначально Лютер вовсе не помышлял о какой-либо радикальной реформе церкви. Главная идея тезисов

* Гоббс Т. Избр. произв. В 2-х томах, т. 2. М., 1965, с. 663.

** Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 392.

*** Взгляды Лютера глубоко и всесторонне анализируются в книге Э. Ю. Соловьева «Непобежденный еретик» (М., 1984).

была в том, что для «спасения» требуется внутреннее покаяние грешника, которое нельзя заменить «внешней» денежной жертвой. «Я был один,— вспоминает Лютер,— и лишь по неосторожности вовлечен в это дело... Я не только уступал папе во многих важных догмах, но чистосердечно обожал его, ибо кто был я тогда? Ничтожный монах, походивший скорее на труп, чем на живое тело»*.

Рим ответил угрозой отлучения и даже физической расправы над Лютером. Коса, однако, нашла на камень: виттенбергский проповедник категорически отказался подчиниться силе. Но и папа не мог уступить — конфликт получил широкую огласку. Началась стремительная эскалация взаимных резкостей, и дело кончилось тем, что 10 декабря 1520 г. когда-то образцовый монах публично сжег папскую буллу, отлучающую его от церкви. Это был неслыханно дерзкий вызов не только букве веры, но и власти могущественнейшего Рима, поступок, значение которого Ф. Энгельс сравнивал с великим творением Коперника**.

Совершилось удивительное событие. Взгляды, затронувшие чисто богословские проблемы, стали знаменем широкого общественного движения. Цвейг не видит особых трудностей в объяснении метаморфоз подобного рода. Касаясь, например, борьбы Кастеллио против Кальвина, он пишет во Введении: «По своей внутренней постановке задачи этот исторический спор выходит далеко за рамки своего времени. Ведь это спор не об узком богословском вопросе, не о некоем Сервете... Богословие здесь ничего не значит, это случайная маска времени, и даже сами Кастеллио и Кальвин являются здесь всего лишь представителями невидимых, но непреодолимых противоречий». В качестве последних Цвейг указывает на уже знакомое нам противоборство «полюсов, постоянно создающих силовое поле».

Можно согласиться с тем, что действительные причины конфликтов, о которых идет речь в книге, лежали не в сфере богословия как такового. Однако они никак не могут быть объяснены и ссылками на таинственные превращения «человеческого духа». Историческое значение тех или иных богословских новаций можно объяснить, лишь расшифровав объективный историко-культурный смысл, который теологические «знаки» и символы закономерно приобретали в то время. Нет необходимости детально разбирать эту большую проблему. Нас интересует лишь один ее аспект: каким образом идея Лютера о «личной вере», как единственном и достаточном средстве спасения — таково фундаментальное

* Цит. по: *Порозовская Б. Д.* Мартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятельность. СПб., 1898, с. 32.

** См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 20, с. 509.

положение протестантизма, в том числе и его кальвинистского варианта,— стала лозунгом широкого антицерковного движения в тогдашней Европе?

Католическая церковь выступала в качестве «наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции существующего феодального строя» *. «Вследствие этого всякое общественное и политическое движение вынуждено было принимать теологическую форму» **, а чтобы «нападать на существующие общественные отношения, нужно было сорвать с них ореол святости» ***. Говоря конкретнее, церковь как социальный институт феодализма нельзя было победить, не разрушив тот догматический фундамент, на котором она основала свои претензии на господство в обществе. Эту роль играло учение о том, что спасение невозможно без посредствующей миссии церкви, без приобщения к «благодати», содержащейся только в ней. Опровергнуть же авторитет церкви можно было лишь ее же оружием, т. е. выдвинув против ее претензии на обладание «божественной» истиной не менее жесткую и авторитарную доктрину.

В рамках христианства это можно было сделать, лишь противопоставив «земной» ограниченности церкви всемогущество самого бога. Иными словами, «свободу» людей от притязаний католицизма в тех исторических условиях можно было обосновать, только подчеркивая полную, абсолютную зависимость человека от бога, его неспособность своим поведением («святыми делами» и подвигами благочестия) повлиять на «высшую» божественную волю, на небесный промысел. Именно поэтому реформаты прежде всего отвергали «священное предание», утверждающее церковь как особый «божественный» социальный институт средневековья, и единственным источником веры объявляли «священное писание». Цвейг неоднократно упоминает об этом «хорошо известном основном требовании Реформации», когда излагает программу Кальвина во всем следовать «божьему слову» — Библии.

Учение Лютера формируется в русле этой логики антикатолического протеста. Между человеком и богом, подчеркивает он, не должно быть никаких посредников. Бог дает «спасение» по своей воле, а вовсе не под воздействием домогательств грешника. Таким образом, «свободу» («спасение») в протестантской доктрине человек получает лишь постольку, поскольку он осознает себя неискоренимо «греховным существом». Если, однако, спасающая «личная вера» не является результатом человеческих усилий, то она может

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 361.

** Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 314.

*** Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 361.

возникнуть (таково кардинальное положение протестантизма) лишь под воздействием «святого духа», свидетельствующего человеку о его «избранности», о предопределении к «спасению». Мысль эта категорично формулируется Лютером: «Мое кредо в том, что не собственной силой и разумом могу верить в Иисуса Христа, моего господина, или прийти к нему, но что дух святой призвал меня посредством евангелия, просветил своими дарами, освятил и сохранил меня в истинной вере»*.

Тем самым все нагляднее проявляется характерный парадокс, которым отмечено становление буржуазного мироозерцания. Как известно, оно впервые заявило о себе в идеологии Возрождения с ее культом разума, свободы и самоценности человеческой личности. Но концепции гуманистов были не единственной формой становления буржуазного мироощущения. Не менее влиятельной стала идеология протестантизма.

Парадокс же состоит в том, что, отражая одни и те же социальные сдвиги, гуманизм и протестантизм защищают различные, если не прямо противоположные решения проблемы человека, в первую очередь его свободы и внутренних потенций. Не удивительно, что вскоре они пришли в состояние яростной, непримиримой полемики друг с другом. Так что за психологической несовместимостью Кальвина, Сервета, Кастеллио, отчетливо зафиксированной Цвейгом, стояли сложные процессы формирования антифеодальной идеологии, отразившие в свою очередь классово противоречивую суть Реформации. Первым наиболее известным эпизодом, предвосхитившим такую конфронтацию, стала полемика Эразма с Лютером по поводу догмата о предопределении.

Первоначально Эразм не придавал особого значения выступлению Лютера: его едва ли могла волновать перепалка на специальные богословские темы, хотя сам факт выступления против Рима он приветствовал. Позже его все больше настораживал акцент протестантов на неискоренимой испорченности человеческой природы и враждебное отношение к разуму, к античности с ее идеалом гордого и уверенного в своих силах человека.

Сказывалось и очевидное несходство их лидеров. Лютер с гордостью подчеркивал свое крестьянское происхождение. Он писал преимущественно на народном немецком языке и, по словам Г. Гейне, «умел ругаться как рыбаная торговка». Эразм — представитель интеллектуальных кругов, «аристократ духа». Он издавался на изящной латыни, приводившей в трепет космополитическую элиту европейских университетов. Он стремился быть в стороне от острых

* *Luther M. Der kleine Katechismus. Göttingen, 1961, S. 7.*

политических коллизий, поддерживал дружеские отношения с папой Львом X, получал стипендии от различных сиятельных особ.

В свое время Лютер был в восторге от нового перевода Евангелия с греческого на латинский язык и комментариев, изданных Эразмом. Он первым написал письмо выдающемуся гуманисту. Эразм ответил осторожным одобрением его взглядов, хотя по-отечески пожурил Лютера за невоздержанность и резкость выражений. Однако выступления Лютера против Рима становились все воинственнее и вызывали у Эразма неодобрение. В 1519 г. в личных письмах к друзьям он советует им избегать публикаций новых работ немецкого реформатора, как слишком зажигательных, а спустя два года почти открыто отмежевывается от него. Лютер обозвал его «трусливым пацифистом» и больше к этой теме не возвращался.

Но здесь вмешались посторонние силы. Церковные функционеры, стремясь объяснить растущую антипапскую решительность Лютера, начали указывать на порочное влияние Эразма. Крылатой стала фраза: «Эразм снес яйцо, а Лютер его высидел». Гуманист защищался: «Из яйца, которое я снес, должна была появиться курица, Лютер же высидел бойцового петуха». Однако церковь, в том числе и новый папа Климент VII, оказывала на Эразма все большее давление, стремясь использовать его авторитет в борьбе с Лютером, и ему пришлось взяться за трактат «О свободе воли» (1524)*.

Эразм указывает на главный пункт своего расхождения с Лютером — на доктрину божественного предопределения. По мнению Эразма, гуманист не может принять ее, не принося в жертву достоинство и ценность человека. Бога, считает он, наказывающего им же сотворенных людей за грехи, которых они не способны избежать, следует признать лишенным морали чудовищем, недостойным ни почитания, ни восхваления. Приписать такое поведение «небесному отцу» — значит власть в явное богохульство. Сознание человека настаивает на признании некоторой меры свободы, без которой он превратился бы в неодушевленный автомат. Во всяком случае, заключает Эразм, давайте признаем наше невежество, неспособность примирить нашу моральную свободу с божественным предначертанием и принципом всеоб-

* О трактате Эразма см.: *Смирин М. М.* Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии. М., 1978. Подробный разбор воззрений Лютера см.: *Mackinnon J.* Luther and the reformation. Vol. I—IV. New York, 1962 (полемика Лютера с Эразмом — *Mackinnon J.* Op. cit., vol. III, ch. VII). О взаимоотношении идеологии Возрождения и протестантизма см.: *Blayney I. W.* The Age of Luther. New York, 1957.

щей причинности, но все же отвергнем предположение, которое делает человека куклой, а бога — тираном, более жестоким, чем любой в человеческой истории.

Книга произвела сильное впечатление, хотя многие католики были разочарованы примирительным и нарочито философским тоном повествования. Год спустя Лютер ответил яростным посланием «О рабстве воли», в котором еще решительнее формулировал свою позицию. Человеческая воля, писал он, «подобна вьючному животному. Если ею правит бог, она желает и идет, как хочет бог, если сатана, она жагает и идет, как сатана... Она сама неспособна выбирать седока... Бог все предвидит, предопределяет и осуществляет своей неизменной, вечной, действующей волей. Этим ударом молнии свободная воля повергается в прах»*. Как можно видеть, Лютер оперирует не аргументами философского порядка (например, свободная воля противоречит принципу причинности и т. п.), но в основу кладет знакомую нам идею всемогущества бога, который сам определяет судьбы людей независимо от их добродетелей. Понять его мотивы люди принципиально не в состоянии: «Поскольку трудно верить в милость и великодушие бога, когда он осуждает тех, кто этого не заслуживает, то следует помнить, что если божья справедливость могла бы быть признана справедливой в человеческом разумении, она не была бы божественной»**. Отметим, что именно этот трактат оказал решающее воздействие на формирование взглядов Кальвина.

Пройдет совсем немного времени, и сходные проблемы окажутся в центре столкновения Кальвина, Сервета и Кастеллио. Однако действовать будут личности более решительные и бескомпромиссные. К тому же и время сыграет свою роль: первоначально аморфная идеология Реформации расщелится на противостоящие и осознавшие свою непримиримость позиции. А потому и схватка будет резче и трагичнее.

4

Лютер и Кальвин — центральные фигуры протестантизма, в истории их имена стоят рядом. А между тем они удивительно несхожи по личной судьбе, психологическому облику, по конечным результатам своей деятельности. О Лютере мы уже говорили: он выступил против Рима, побуждаемый прежде всего личным опытом богопознания. Он прокладывал неизведанный богословский маршрут и заранее не мог увидеть весь его путь. Прежде чем объявить

* Цит. по: *Durant W. The Story of Civilization, vol. VI. The Reformation. New York, 1957, p. 434.*

** *Durant W. Op. cit., p. 435.*

миру о своих теологических новациях, он должен был победить сомнения в собственной богобоязненной душе. Каждый шаг, отделявший его от Рима, давался с трудом.

Кальвин моложе Лютера на 26 лет — срок для того бурного времени огромный. Протестантские идеи он застает уже сложившимися. Для него они — не продукт внутренних терзаний, но готовый предмет для размышлений. Кальвин получил серьезное образование. Особенно полезным оказалось изучение римского права, приучившего его к точному логическому мышлению и лапидарности стиля. Он профессионально занимается античной культурой и в 1532 г. публикует проникнутый гуманистическими настроениями комментарий к трактату Сенеки «О милосердии», засвидетельствовавший его незаурядные способности.

Постепенно интересы Кальвина склоняются к теологии, на языке которой тогда обсуждались острые социальные проблемы. Хотя позиции католической церкви во Франции оставались прочными, общественность Парижа была хорошо знакома с идеями Лютера и его известного сподвижника Меланхтона. Они все более завладевают умом молодого богослова, в конце 1532 г. Кальвин порывает с католицизмом и вскоре становится проповедником протестантской доктрины. Об этом переломе он писал в несвойственном ему взволнованном стиле. Божественная истина, вспоминает он, как молния, озарила меня, и я понял, «в какой бездне заблуждений, в какой глубокой тине погрязала до тех пор моя душа. «И тогда, о Боже, я сделал то, что было моим долгом, и со страхом и слезами, проклиная свою прежнюю жизнь, направился по Твоему пути» *. Не будем, однако, умиляться этими сантиментами. Они представляются нам примером не столько автобиографического, сколько агиографического жанра, весьма характерного для последователей протестантизма, верящих в собственное «избранничество».

Антикатолические выступления молодого проповедника привлекают внимание не только прихожан, но и служителей инквизиции, и Кальвин вскоре вынужден бежать из Парижа. В конце концов он останавливается в Базеле, где в 1536 г. издает свои «Наставления в христианской вере».

Цвейг прав: труд этот стал делом всей жизни Кальвина. Он подготовил шесть изданий, и каждое свидетельствовало о его неустанной работе. Верно и то, что основные идеи «Наставлений» оставались неизменными — такими, как они были запечатлены 26-летним теологом. Публикации защитников протестантизма в ту пору не были редкостью, но труд Кальвина был единственным, который излагал протестант-

* Цит. по: *Порозовская Б. Д.* Иоганн Кальвин. Его жизнь и реформаторская деятельность, с. 17.

скую доктрину в систематической, безжалостно логической форме. Идея об абсолютном предопределении была сформулирована в нем с такой неумолимой последовательностью, которая порой пугала даже его самого. Вскоре сочинение Кальвина было признано энциклопедией протестантской мысли.

В марте 1536 г. Кальвин проездом остановился в Женеве, где состоялась его встреча с Г. Фарелем, выразительно и точно описанная Цвейгом. Это действительно было время нарастания антикатолического движения в городе, постепенно освобождавшегося от власти Рима. Оно, однако, имело долгие исторические корни не религиозного, а в конечном счете политического характера. Речь шла о борьбе жителей города за независимость от герцогов Савойи и власти назначаемых ими епископов*. Особой остроты эта борьба достигает в 20-е годы XVI в., когда так называемые патриоты, или «дети Женевы», подняли открытое восстание. Епископ призвал на помощь войска герцога, которые подавили протест. Его действия, направленные против городских властей, вызвали взрыв антикатолических настроений, и в 1527 г. он вынужден был бежать из города. В 1530 г. соседний Берн, где за два года до этого победили протестанты, ввел свои войска в Женеву, которые изгнали посланцев герцога. Постепенно меняется и социальный состав органов городского самоуправления. На смену патрицианским и клерикальным слоям приходят крупное купечество и предприниматели. Городской совет проводит ряд мер против католической церкви: сокращает число приходов, уменьшает финансовую помощь священникам, негласно поддерживает антикатолические выступления и т. п. Осенью 1532 г. в эту тревожную атмосферу, словно болид, врывается Фарель и начинает свой крестовый поход против Рима. Однако церковь еще пользуется серьезной поддержкой, и соотношение сил постоянно меняется. Поэтому неистовая активность Фареля первоначально не дает никаких результатов, и его с шумом выдворяют из города.

Шаг за шагом Реформация одерживает в городе верх. В первую очередь сказывается растущее влияние Берна. В 1535 г. Женева заключает с ним договор о «вечном мире», который гарантировал ей независимость. Однако в свою очередь Женева обязывалась не вступать в союзы с другими

* Социально-политическая подоплека женевской Реформации обстоятельно анализируется в указанной статье Б. Ф. Поршнева. Отметим и магистерскую диссертацию Р. Ю. Виппера «Церковь и государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма» (М., 1894), которая по богатству фактов, в том числе архивных, представляет собой уникальный источник. См., также: *Monter E. W. Calvin's Geneva.* New York, 1975.

государствами, не прибегать к посторонней помощи, причем залогом союзнических отношений должно было послужить единомыслие в вопросах веры. В процессе подготовки договора протестантизм был объявлен официальной религией города, отменена месса, запрещены иконы, посещение реформированных церквей было признано обязательным.

Именно совокупность этих совершенно конкретных общественно-политических факторов пролагала путь к победе Реформации и в конечном счете обеспечила непрерываемую власть Кальвина.

Нетрудно заметить, что Цвейг довольно пристрастно относится к отбору исторических фактов. Так, он подробно рассказывает о первых 18 месяцах пребывания Кальвина в Женеве, а затем лишь мимоходом упоминает о его жизни в Страсбурге. Между тем этот период длился с апреля 1538 по сентябрь 1541 г., т. е. больше трех лет. Именно в эти годы затянулся узел причудливого исторического детектива: решительно изгнав Кальвина, Совет города круто меняет свою позицию и смиренно, почти униженно просит его вернуться обратно, всячески старается ублажить изгнанника и даже за казенный счет презентует ему сюртук стоимостью в 6 талеров. Чем не сюжет для исследования человеческих душ!

Но добровольное приглашение городскими властями Кальвина с трудом укладывается в общий замысел Цвейга. И он пространно рассуждает о портрете Кальвина с лицом, «подобным карсту» (хотя, скажем, на других портретах Кальвин выглядит вполне добрым, задумчивым человеком), а причинам его возвращения отводит всего несколько фраз: он приводит заведомо несерьезную аналогию с судьбой Цезаря, Наполеона, Гарибальди, намекает на происки католических служителей, на бесталанность преемников Кальвина, на упадок нравов. Но все это внешние факты, которые-то и нуждаются в объяснении.

Между тем положение дел в Женеве принимало весьма серьезный оборот. Действительно падали нравы, росли беспорядки, увеличивалось число преступлений. Так, за три года из четырех синдиков — высших исполнителей Совета города — троим был вынесен смертный приговор, а четвертого спасла лишь внезапная кончина. Общий ход событий определялся борьбой между клерикалами и дворянами, с одной стороны, и поднимающимися буржуазными силами — с другой. Одновременно активизируются городские низы, связывающие с Реформацией надежды на радикальные, социальные преобразования. Правда, постепенно бюргерская верхушка добивается контроля над городским самоуправлением, но положение остается весьма тревожным, так что озабоченность правителей Женевы объясняется не общими моральными сетованиями, но конкретными политико-

экономическими соображениями. «Предприниматели, которые контролировали Совет, должны были с неодобрением относиться к этим беспорядкам, так как они мешали торговле»*. Они все острее ощущали потребность в сильной власти.

Немаловажную роль сыграло одно событие, чисто цвейговское по напряженности и эффектности.

Приободрившиеся сторонники изгнанного епископа стали готовиться к триумфальному возвращению в Женеву. В качестве первого шага было решено обратиться со специальным «отческим увещанием» к жителям города. Написать его поручили кардиналу Дж. Садолето — лучший выбор сделать было трудно. Многолетний помощник папы Льва X, признанный знаток античности и богословия, кардинал был мастером полемики. Составившее 12 страниц обращение «К дорогим братьям, синдикам, Совету и гражданам Женевы» (1539), призывающее их вернуться в лоно оплакивающей их потерю церкви, — документ удивительной силы. Враги католичества, писал он, например, распались на враждующие фракции, каждая из которых жаждет власти (нескрываемый намек на Кальвина). А католическая церковь едина на протяжении многих веков. Так неужели, вопрошал кардинал, истина на стороне многочисленных, борющихся между собой групп, а не древней «матери-церкви», наследующей многовековой опыт и творения блестящих умов?

Это был громкий вызов, и интеллектуальная Европа замерла в недобром предчувствии.

Совет Женевы поблагодарил велеречивого кардинала и всерьез задумался об ответе. Но, как выяснилось, в богатом городе не было никого, кто решился бы скрестить оружие с Садолето на поприще изящной и взволнованной латыни. А между тем все больше католиков потянулось в Женеву, росло число ее граждан, желавших освободиться от присяги на верность протестантской церкви, оживились и эмигранты, противники Реформации. Замаячила реальная угроза реставрации прежних порядков, в том числе и утраты политической независимости города.

Опальный Кальвин неотступно следил за событиями и написал ответ в 7 дней. Даже сегодня, спустя более четырех столетий, его краски не потускнели. В спокойной, намеренно доброжелательной форме он разобрал все доводы кардинала, убедительно нейтрализовал намеки на собственное властолюбие, противопоставил образованности папского двора непревзойденную мудрость Священного писания. Это была работа высокого профессионала, и протестантский мир вздохнул с облегчением. Даже Лютер, не очень жаловавший своего

* *Durant W. Op. cit., p. 471.*

резвого коллегу, прорычал из Виттенберга: «Я в восторге от того, что бог взрастил человека, который... завершит войну против антихриста, начатую мною» *. Кардинальская ученость отступила перед страстной отповедью, и дальнейших комментариев из Рима не последовало. Движение за возвращение Кальвина получило дополнительный толчок.

5

Современник и очевидец фашистских манифестаций, подавления свободомыслия, оргий сожжения книг, терроризма гестапо, колючей проволоки, опутавшей Германию, Цвейг с поразительной узнаваемостью деталей повествует о деспотических порядках, которые Кальвин ввел в Женеве, — о пустых улицах, централизованной, а позже и добровольной слежке и доносах, о мелочных регламентациях каждого шага человека, о жестких репрессиях против личной свободы и независимости. И конечно, читатель воспринимал эту гнетущую картину как обличение нацистского режима.

Цвейг постоянно подчеркивает неумолимую решимость, с которой Кальвин устанавливал свой «закон и порядок». Что же стояло за такой непреклонностью? Ответ писателя однозначен: казарменная обстановка в одном из красивейших и в прошлом жизнерадостных городов Европы объясняется тем, что Кальвин все «сумел подавить ради своего учения».

А в чем же реальный смысл этого учения? Стоят ли за ним какие-то социально значимые интересы, либо все сводится к деспотическим вождениям и маниакальной жестокости одного человека?

Цвейг отмечает, что стержень учения Кальвина составило «закоснелое учение о предопределении», которое, по его мнению, означало «полный отход от первоначального круга мыслей Реформации». Иными словами, оно расценивается как в общем необязательный компонент протестантизма, как вызов здравому смыслу, свидетельство невыносимого характера женеvского реформатора. Примерно то же самое он говорит, проследившая полемику Каstellio с Кальвином.

Выявление социально-исторического смысла доктрины предопределения может объяснить мотивы и характер деятельности женеvского реформатора, учение которого, по словам Ф. Энгельса, явилось «подлинной религиозной маскировкой интересов тогдашней буржуазии...» **. Не будем конкретизировать это суждение. Главное, пожалуй, мы сказали: выступая против Рима, протестанты учению о церкви, как единственному средству «спасения», противопоставляли кон-

* *Durant W.* Op. cit., p. 471.

** *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 21, с. 315.

цепцию «личной веры», обусловленной для человека непостижимой волей бога, «избирающего» тех или иных людей «к свету». Догмат абсолютного, совершившегося еще до рождения человека предопределения — логическое следствие этой концепции.

Подчеркнем другой существенный момент. Протестантская идеология соответствовала реальному обыденно-жизнейскому опыту, отразившему стихийно складывающиеся представления о равенстве людей, о «внутренней» свободе человека, о его долге и призвании, а поэтому стала эффективным средством стимулирования специфически буржуазной активности.

Так что единство, однотипность положений, которые прослеживаются в различных вариантах протестантизма, — не логическое и умозрительное. Это единство опыта массового сознания, отразившего становление буржуазного мира. Однако, как мы уже отмечали, в Реформации участвовали различные классы и социальные слои, что неизбежно вело к возникновению неодинаковых, нередко враждующих течений внутри протестантизма. Можно сказать еще определеннее: идейную борьбу той поры нельзя сводить к конфронтации католичества и протестантизма в его лютерокальвиновском варианте. Это было время резкой активизации движения народных масс, нашедшей наиболее яркое выражение в Великой крестьянской войне в Германии, идеология которой также выступала в религиозной оболочке. Наряду с бюргерской существовала народная реформация, выдвигавшая несравненно более радикальные социальные требования, по-своему отражавшиеся в интерпретациях традиционных христианских положений и сюжетов. Именно в таком русле формировались взгляды Томаса Мюнцера, идеологов анабаптистов и других сект народной Реформации*.

Одним словом, обращаясь к этой далекой эпохе, выясняя характер взаимоотношений ее героев, мы должны воссоздавать не только ее конкретную социальную структуру, но и реальное общественно-культурное значение символов, «знаков», образов религиозного языка, в котором выражалась ее идеология. Лишь такой подход дает возможность понять как расстановку борющихся сил, так и объяснить, почему, казалось бы, незначительные богословские нюансы становились поводом для непримиримых столкновений. Здесь же и ключ к разгадке взаимоотношений Кальвина, Сервета и Кастеллио.

Цвейг подчеркивает безлюдность Женевы во времена Кальвина. Она предстает как территория, населенная безли-

* См.: *Смирин М. М.* Народная Реформация Томаса Мюнцера и Великая крестьянская война. М., 1955.

кими статистами. Это анонимные «чужаки», «французы», «благородные патриции», «уважаемые отцы семейства», никак не различимые по своему социальному положению, намерениям, интересам. В их блеклом, одномерном мире не возникает никаких самостоятельных идей, движений, импульсов, они — просто декорации, по которым пробегают тени главных персонажей. Такой акцент вполне соответствует как представлениям писателя о пружинах общественно-исторического процесса, так и обличительному пафосу книги.

Однако при объяснении взаимоотношений героев произведения следует иметь в виду, что речь идет о крупном городе (в ту пору свыше 10 тыс. жителей) со своей сложной коммерческой, торговой, промышленной деятельностью, с различными социальными группами и организациями, прочными свободолюбивыми традициями. Здесь постоянно вспыхивали народные волнения, особенно обострившиеся в период борьбы за независимость, раздавались требования реформации церкви «снизу», а позже влияние приобрели идеи анабаптизма и пантеизма, покушавшиеся не только на догматы кальвинизма, но и на власть его основателя. Именно эти серьезные социально-экономические противоречия объясняют непримиримость Кальвина в преследовании противников своего учения. Они же позволяют понять, почему он столь беспощадно преследовал Сервета.

Если посмотреть на книгу как на чисто художественное произведение, то приходится признать, что наиболее полнокровным и убедительным получился образ Кальвина. Он живой, жесткий, а главное — действующий и легко подминает под себя другие персонажи. При этом, как ясно показывает автор, Кальвин действует не ради каких-то мелких, корыстолюбивых целей, но исходит из духовных идеалов, непреклонен в защите «высших» божественных принципов. Книга, однако, называется «Совість против насилия», а совесть пока не приобрела той художественной неотразимости, которая предполагалась замыслом писателя. Нужно, значит, еще пробить брешь в непроницаемой духовной величественности «женевского папы».

И тогда на заклятие отдается Мигель Сервет. Мы имеем в виду не исторический факт, от писателя не зависящий, а тот образ Сервета, который создает автор, «вводя» его в общую фабулу повествования.

Цвейгу лучше всего удаются предельно драматические, напряженные сцены и страницы, повествующие о суде и казни Сервета, пожалуй, наиболее выразительные и запоминающиеся. Однако роль, которая была ему отведена в развитии сюжета (а именно роль своеобразного «запальника» последующей борьбы Кастелио против Кальвина), обеднила, схематизировала подлинный облик ученого и теолога. Это,

вообще говоря, не случайно. Не Сервет, а Кастиелли мыслится Цвейгом в качестве главного оппонента Кальвину, а поэтому в его образе он концентрирует лишь те черты, которые позволяют представить главный поединок в предельно драматической форме.

Мигель Сервет вовсе не был нервическим, бессистемным дилетантом. Человек глубоких, стойких убеждений, он был одним из образованнейших людей своего времени. Сервет серьезно изучал древние языки, математику, теологию, астрономию, право в университетах Сарагосы и Тулузы, а впоследствии — медицину, философию и географию в Парижском университете. Здесь же он получил звание магистра искусств и доктора медицины, читал лекции по математике, астрономии и географии. Он был лично знаком со многими выдающимися мыслителями своего времени и своими обширными знаниями во многих областях (о чем упоминает Цвейг в связи с изданием «Географии» Птолемея) был обязан не только природной одаренности, но и поразительному трудолюбию и целеустремленности.

Конечно, сейчас мирозерцание Сервета, включавшее элементы пантеизма, неоплатонизма, кабаллы, астрологии и т. п., представляется образцом эклектичности. Но в ту пору подобное сочетание было не столь редким, особенно для представителя теологии, претендовавшей на роль «науки наук». Уже радикальность трактата Сервета о Троице (напомним, что он издал его в 1531 г. — за пять лет до «Наставлений» Кальвина) неверно объяснить запальчивостью двадцатилетнего богослова, кстати сказать, проявившего удивительную начитанность в трудах «отцов церкви». Что же касается его принципиальной оценки католического вероучения, оценки, которой он остался верен до конца, — это итог напряженных раздумий и богатейшего жизненного опыта.

Сервет защищал доктрину так называемого христоцентрического пантеизма. Не станем в деталях разбирать это сложное учение, опирающееся на многовековые традиции. Отметим лишь главное. Единственной божественной личностью Сервет признавал бога-отца. «Святой дух» — это не личность, но проявление, сила, обнаружение бога-отца, проникающая весь материальный мир. Сервет также называет его «океаном идей», «несотворимым светом», «Христом». В отличие от него «Иисус» — это земной сын бога в прямом смысле слова, которого Мария родила от «Христа», и он вовсе не является бессмертным существом. Совершенно очевидно, что такие представления решительно расходились с пониманием догмата Троицы как католиками, так и протестантами, что и обеспечило их тесное сотрудничество в его преследовании. Сервет выступал против догмата об абсолютном предопределении и в соответствии с давней

гуманистической традицией настаивал на свободе воли человека в получении спасения. Он резко критиковал идеологов Реформации за игнорирование так называемого освящения, которое, по его мнению, совершается посредством крещения в возрасте 30 лет (в этом, кстати сказать, проявляется его близость к идеям анабаптистов). Он выступал за веротерпимость, против любого насилия в вопросах веры. Словно предчувствуя свою трагическую участь, молодой Сервет, например, писал: «Казнить людей за то, что они ошибаются в понимании Писания, кажется мне несправедливостью»*.

Взгляды Сервета — существенный элемент духовной жизни XVI в. Он был одним из наиболее талантливых и решительных представителей унитаризма, или антитринитаризма, — социально значительного движения, направленного против господствующей церкви. Его основные элементы стали складываться уже во II в., в период ожесточенных споров о догмате Троицы, завершившихся его принятием на Никейском соборе (325). Последующие столетия выдвинули немало противников этого догмата, но цельное оформление «ересь» получает в XV—XVI вв. Ее последователи активно действовали в Италии, Швейцарии, Германии, а также в Польше и Литве, где были известны под именем социниан, ариан, польских братьев, буднеистов и т. п. Аналогичные воззрения в России развивались Феодосием Косым.

В эпоху Реформации унитаризм играл совершенно определенную идеологическую роль. Он выступал как оппозиция средневековой схоластике и духовному диктату церкви. Унитаристы отстаивали право свободного толкования Библии с позиции разума, отвергали догмат искупления, признавали способность людей к нравственному самоусовершенствованию**. Наиболее радикальные из них приходили к деизму и выдвигали лозунги социального равенства. Разумеется, Сервет высшим авторитетом знания объявляет Библию. «Даже сокровища естественных наук скрыты в Христе», — заявляет он. Но для того, чтобы их извлечь, продолжает Сервет, следует опираться на конкретные исследования природы. Кстати сказать, идея малого круга кровообращения, на 75 лет предвосхитившая открытие Гарвея, была высказана им в теологическом труде.

* Цит. по: Михайловский В. Указ. соч., с. 5.

** На эту сторону дела обратил внимание уже В. Михайловский. Характеризуя Сервета как «самого типичного и талантливого» представителя радикальной Реформации, он пишет: «Сервет был зачинателем движения, которое потом освободилось от первоначальных богословских примесей и перешло в более широкое научно-философское мирозозрание, одержавшее в следующие века полную победу над узкими теориями преследователя Сервета» (Михайловский В. Указ. соч., с. 2, 27—28).

По ходу дела отметим одну путаницу, которая встречается в популярных работах. Они характеризуют Сервета как жертву религиозной нетерпимости, ссылаясь на высказывание Ф. Энгельса: «...протестанты перещеголяли католиков в преследовании свободного изучения природы. Кальвин сжег Сервета, когда тот вплотную подошел к открытию кровообращения...» * Обычно это высказывание толкуется в том смысле, что Сервет был сожжен, поскольку он близко подошел к этому открытию. Такое толкование, не соответствующее историческим фактам, искажает смысл суждения Ф. Энгельса. Акцент в нем сделан на *свободном* «изучении природы». Кальвину, естественно, не было никакого дела до медицинских познаний Сервета. Но последний выдвигал и практически осуществлял собственное право на толкование Библии, высказываясь за религиозную терпимость, отвергал фундаментальный догмат христианства, а поэтому в его глазах был опаснейшим «еретиком». Предельно красноречиво высказался Теодор де Без, верный последователь Кальвина: «Лучше иметь дело с тираном, чем с той анархией, той распушенностью, которая неизбежно может создаться при свободе мнений» **. Конечно, образцом такой «анархии» в глазах Кальвина прежде всего выглядели идеи анабаптизма и пантеизма: они имели немалое влияние в Женеве и представляли реальную угрозу авторитету и власти «женевского папы», тем более что в начале 40-х годов вновь усиливается недовольство правлением Кальвина, объединившее различные социальные слои и группы. Его противники добиваются значительного влияния в Большом совете, почти открыто распространяются оценки учения о предопределении как «еретического», а фраза «Кальвин взваливает собственные грехи на бога» звучит как пароль к действию. Осложняются и отношения с соседними протестантскими городами. Так, бернские власти даже запрещают ввоз работ Кальвина о предопределении. В Кальвине растет подозрительность, в письмах этого периода он часто жалуется на готовящиеся против него заговоры. В такой обстановке неожиданное появление Сервета, его давнего и известнейшего противника, не на шутку испугало «женевского папу» и вызвало желание одним ударом расправиться с существующей оппозицией. Именно эти социально-политические моменты объясняют неистовое стремление Кальвина добиться «показательной» казни Сервета в собственном городе, о чем подробно и ярко рассказано в книге.

После сцены сожжения Сервета в поле зрения читателя вновь появляется Кастеллио, публично выступивший

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 347.

** Цит. по: Лучицкий И. Указ. соч., с. 89.

против терроризма Кальвина. Как мы отмечали, это центральный персонаж книги, во многом олицетворяющий сокровенные думы и социальные надежды Цвейга. Естественно, что именно образ Кастеллио будет доминировать своей яркостью, убедительностью, художественной достоверностью. Однако (выскажем чисто читательское, а следовательно, субъективное суждение) этого не получилось. Рассказ о Кастеллио не приобрел той живописности и динамизма, которыми отмечены картины кальвиновской Женевы, суда и сожжения Сервета. Наступает момент, когда теряется начальная ритмика и автор рискует наскучить читателю пересказом полемики Кастеллио против Кальвина.

В чем же дело? Может быть, причина в скудости достоверных свидетельств о жизни Кастеллио, которые позволили бы создать его более полнокровный образ? Едва ли это главное. Драматическая судьба гуманиста и его идейное наследие давно привлекли внимание многих исследователей*. Напомним, что еще М. Монтень писал: «Мне известно, что, к величайшему стыду нашего века, у нас на глазах умерли, не имея, чем утолить голод, два человека выдающихся знаний Лилио Грегорио Джиральдо в Италии и Себастьян Кастеллион в Германии...»** С того времени составила обширная литература, среди которой выделяется 2-томное исследование Ф. Бюиссона (оно упоминается Цвейгом), потратившего 30 лет на изучение источников о жизни Кастеллио***. К тому же нехватка фактов не могла сказаться на художественном качестве произведения такого опытного и блистательного писателя, каким был Цвейг.

Значит, причина в чем-то другом.

В образ Кастеллио Цвейг, несомненно, вложил представления о собственном месте в обостренной идеологической ситуации середины 30-х годов. Отсюда особая возбужденность стиля, когда речь заходит о Кастеллио, и те поистине щедрые жертвы, которые приносит писатель, чтобы утвердить его историческое величие. Напомним слова Введения: «Время от времени Эразм решается из укрытия послать пару стрел в лжепророков; Рабле, накинув шутовской балахон, бичует их жестоким смехом; Монтень, этот благородный и мудрый философ, в своих эссе находит красноречивейшие слова, но серьезно вмешаться и предотвратить хотя бы один из этих гнусных актов гонения и казней не решается никто». Да и известные выступления

* Уже столетие назад И. Лучицкий считал возможным отметить: «Литература о Кастеллионе, как выдающейся личности XVI в. весьма обширна. Начиная с XVII века интерес к нему, к его учению не ослабевал» (Лучицкий И. Указ. соч., с. 10).

** Монтень М. Опыты, кн. I. М.—Л., 1958, с. 283.

*** Buisson F. Sébastien Castellion, sa vie et son oeuvre. Paris, 1892.

Вольтера, а позже Золя, по мнению Цвейга, не идут в сравнение с поведением Каstellлио, рискующим своей жизнью. С подобной категоричностью и самым проницательным оценкам едва ли можно согласиться. Отдельные периоды в истории культуры и имена, которые определили ее основное русло, имеют свой четкий историко-общественный смысл и достаточно непроницаемы для субъективистских суждений. Здесь никак не обойтись без понятия таланта и оценки реального влияния на духовное развитие общества — критериев, от которых в данном случае Цвейг отвлекается.

Но дело даже не в том, что Эразм, Рабле, Монтень не могут служить материалом для пьедестала Каstellлио, главное в том, что он в таком пьедестале не нуждается.

Цвейг пишет о Каstellлио в самых возвышенных тонах. Он даже называет его «самым образованным человеком своего времени». Конкретный человек, носивший имя Себастьяна Каstellлио и проживший всего 48 лет, был как-то проще и значительнее. Своими чувствами, бременным трудом он был прежде всего связан с землей, на которой вырос, с людьми, среди которых прошла его юность, верен высокому нравственному долгу, как он его понимал. Выходец из бедной крестьянской семьи, «всею своею жизнью, всею деятельностью он доказал, что суровая житейская школа, пройденная им в детстве, начала нравственности, в которых он был воспитан, оставили в нем глубокий, неизгладимый след»*. Это проявилось в его последовательном демократизме, в уважении к разуму и духовной свободе, в решительном неприятии религиозного фанатизма, что неминуемо привело его к столкновению с Кальвином.

Каstellлио был гуманистом и испытал сильное влияние Эразма. Он постоянно подчеркивал достоинство человеческой личности, право человека мыслить и поступать в соответствии с собственным разумом и совестью. При этом в отличие от идеологии Возрождения, носившей в сущности элитарный характер и адресовавшейся к интеллектуалам, высокообразованным личностям, Каstellлио специально подчеркивал свое уважение к простым, необразованным людям, крестьянам, ремесленникам, едва умевшим читать, видел в них носителей высокой нравственности и житейской мудрости, не всегда доступной образованным и богатым людям.

Разумеется, он был глубоко верующим человеком. Однако в противоположность Лютеру и Кальвину, апелировавшим к непостижимой воле бога, к вере, имеющей сверхъестественный источник, он отстаивал религию как сознательное убеждение, опирающееся на свидетельства разума и жизненного опыта. По его мнению, лишь человеческий

* Луицкий И. Указ. Соч., с. 12.

разум, опирающийся на показания чувств, правомочен решать, что есть истина. Знание о существовании бога, о его милосердии, писал он, убедительно доказано разумом и опытом, так что ни один разумный человек не станет его оспаривать*. Он решительно выступал против людей, «запрещающих нам смотреть на вещи нашими глазами, добывающихся, чтобы мы верили вопреки свидетельству разума»**.

Эти воззрения объясняют мотивы и направленность его активной педагогической деятельности. Кастеллио был одним из первых, кто целеустремленно пытался передать свои знания простым людям. На свой титанический труд по переводу Библии он решился лишь для того, чтобы сделать ее доступной неискушенным читателям, тем, кого презрительно именовали *idiots*. В предисловии к переводу он подчеркивал: «Имея в виду одних *idiots*, я в своем переводе старался употреблять самые простые, общеупотребительные и общепонятные слова и выражения»***.

Л. Н. Толстой отмечал особую заслугу М. Монтеня в том, что он «первый ясно выразил мысль о свободе воспитания». Эту оценку можно в полной мере перенести на деятельность Кастеллио — младшего современника Монтеня. Многие исследователи обоснованно связывают с ним радикальную реформу в системе и принципах обучения. Главное внимание он уделял развитию сознательного понимания, самостоятельного восприятия, поощрял сообразительность и любознательность. Написанное им в форме диалога пособие (о нем упоминает Цвейг) долгие годы служило общепринятым учебником для духовных школ Германии. Особое внимание Кастеллио уделял нравственному воспитанию своих учеников, стремился привить им чувство ответственности, стойкости в своих моральных убеждениях. Трудно поверить, что в ту жестокую эпоху («свинцовое время», по выражению Монтеня) в наставлениях по религии можно было прочитать: «Деятели добра и истины, сыны Божии, те, кто, по-истине, суть люди справедливые, — все они составляют лишь ничтожное меньшинство. И знайте твердо, что быть на стороне этого меньшинства, значи́т не иметь за себя ни поддержки толпы, ни помощи со стороны великих и сильных, богатых мира сего»****.

Все это закономерно привело Кастеллио к активной борьбе за принцип веротерпимости, который в XVI в. стал одной из главных политических проблем, далеко выходящей

* Castillion S. *Traité des Hérétiques*. Genève, 1913, p. 8, 29.

** Castillion S. *De l'art de douter et de croire, d'iquorer et de savoir*. Genève, Paris, 1953, p. 97.

*** Цит. по: Лучицкий И. Указ. соч., с. 55—56.

**** Цит. по: Лучицкий И. Указ. соч., с. 37.

за рамки отношения к той или иной религиозной доктрине. Именно Кастеллио принадлежит заслуга в его детальном и глубоко обосновании, которое оказало решающее влияние на последующие концепции свободы совести.

Самое же главное, пожалуй, в том, что окружающим его фанатичным честолюбцам, опьянившим себя идеей божественного избранничества, а потому готовым на любую жестокость, обман, клевету, Кастеллио противопоставил цельность и естественность человеческой природы, всегда последовательной и искренней, черпающей внутренние силы из нравственной убежденности, из сознания собственного долга. Величие Кастеллио в том, что он ярко и талантливо выразил мироощущение и социальный идеал, которые только угадывались в движении человеческой истории.

Так что Цвейг имел все основания рассматривать именно Кастеллио в качестве символа совести и человеколюбия, и его восторженные оценки этого выдающегося гуманиста вполне оправданны. Жаль только, что его живой облик испытал воздействие абстрактной и упрощенной концепции истории. В самом деле, Кастеллио выступает у Цвейга в амплу благородного, а поэтому одинокого рыцаря возвышенного духа, окруженного тупыми, враждебными силами. Между тем у Кастеллио было много верных друзей и единомышленников, которые оказывали ему посильную поддержку. Можно указать на анабаптистов, воззрения которых он во многом разделял. Имеются свидетельства, что он сочувствовал взглядам антитринитариев. Кстати сказать, это позволяет лучше понять и ход событий, описываемых в книге. Вовсе не случайной была дружба Кастеллио с Давидом Йорисом, он выступил в защиту Сервета не только как жертвы фанатизма, но и мыслителя, близкого ему по духу.

Особое место Кастеллио в замысле писателя приводит к тому, что Цвейг недостаточно внимателен к специфическим, конкретно-историческим мотивам поведения Кастеллио, к тем многообразным связям, которые соединяли его с бурной духовной жизнью своей эпохи. Тем самым нарушаются цельность, органичность его образа, ему не хватает самодвижения, собственной психологической наполненности, и он выступает порой как простой передатчик, рупор идей и переживаний автора. В этом, как нам кажется, объяснение недостаточной жизненности главного персонажа данного произведения.

Не будем дальше характеризовать взгляды Кастеллио и развитие его взаимоотношений с Кальвином — об этом подробно рассказывается в книге. Остановимся лишь на заключительной главе «Крайности сходятся», в которой Цвейг набрасывает что-то вроде исторической ретроспективы, прослеживает и объясняет судьбы духовного наследия

Кальвина и Кастеллио. По его мнению, она полна загадок и таинственных метаморфоз. После смерти Кастеллио, констатирует Цвейг, порядки, установленные Кальвином, долгие годы не подвергаются сомнению. Цвейг особо выделяет их предельный аскетизм. В когда-то «веселом городе Женеве» постепенно замирает музыкальная и театральная жизнь, исчезают пышные карнавалы, уличные шествия, торжественные и красочные церковные церемонии; блекнет одежда граждан, и восторженное восприятие искусства сменяется пуританской простотой и строгостью нравов. Причины писатель объясняет просто: старики, помнившие о свободолюбивом прошлом, умерли, а молодое поколение восприняло пуританские нравы как само собой разумеющееся. Цвейг не скрывает ужаса, который он испытывает при мысли, что режим Кальвина мог бы распространиться и на другие страны, оставив Европу «без музыки, без живописи, без театра, без танца, без своей роскошной архитектуры, без великолепных празднеств, без утонченной эротики, без изысканного общения».

Для этого, кажется, имеются серьезные основания: властолюбивым мечтам Кальвина «тесно в маленьком швейцарском городе; неукротимая воля этого фанатика хочет распространиться над всеми странами, он желает подчинить своей тоталитарной системе всю Европу, весь мир». Больше того, констатирует писатель, эти желания во многом сбываются: «Уже Шотландию подчинил ему его легат Джон Нокс, уже Голландия и частично Скандинавские страны прониклись духом пуританизма, уже вооружаются гугеноты Франции...» И везде, где устанавливается диктатура реформатских идеологов, искореняется художественная орнаментовка истории. Но оказывается, серьезные опасения напрасны: таинственный «дух истории» способен укус превратить в благородное вино. «И учение Кальвина быстрее, чем можно было ожидать, утратило свою непримиримую нетерпимость», и «именно кальвинизм, который особенно яростно стремился ограничить индивидуальную свободу, породил идею политической свободы, и Голландия, и Англия Кромвеля, и Соединенные Штаты... дали пространство либеральным, демократическим государственным идеям».

В общей форме Цвейг довольно точно описывает исторические пути кальвинизма в постреформационное время. Но конечно, чтобы до конца понять их, ссылок на мутации «духа истории», на его неизбежные «отливы и приливы» недостаточно.

Протестантизм утверждал образ жизни, который в наибольшей мере способствовал формирующемуся капиталистическому укладу. Роскошь, великолепные праздники, мотовство — характерные черты быта высших сословий фео-

дального общества. Формирующаяся буржуазия выступила с требованием дешевой церкви. Как подчеркивал Ф. Энгельс, секрет аскетизма в том виде, «как его проповедовали бюргерская лютеранская мораль и английские пуритане... состоит в *буржуазной бережливости*»*. Протестантская этика возвела в ранг божественного признания специфически буржуазную деятельность, прославляя трезвость, умеренность, дисциплинированность, трудолюбие. Не роскошь, наслаждения, праздность, но целенаправленная деятельность, холодный расчет, неукротимая энергия и самопожертвование в достижении собственных целей — вот пути истинного благочестия. «Мы верили в бога и платили наличными» — этот лозунг американских пуритан точно передает суть нового образа жизни, который насаждал Кальвин.

«Именно там, где религия Кальвина стала законом, реализовалась идея Кастеллио», — пишет Цвейг. Эта фраза обретает содержание, если учитывается роль кальвинизма в становлении буржуазной власти. По словам Энгельса, Лютер «предал князьям не только народное, но и бюргерское движение», а «лютеранская реформация в Германии вырождалась и вела страну к гибели...». Иначе он оценивает историческую роль учения Кальвина: «Его догма отвечала требованиям самой смелой части тогдашней буржуазии»; «в кальвинизме нашло себе готовую боевую теорию второе крупное восстание буржуазии»**.

Кальвинизм был наиболее решительным, последовательным и боевым течением в бюргерской реформации, и он во многом способствовал приходу к власти крупной буржуазии, ликвидации феодальных порядков, мешающих частнособственнической активности***. В эпоху, когда контрреформация перешла в атаку, кальвинизм создавал монолитную организацию людей, почитавших себя «избранниками божьими», непреклонными в достижении своих целей, которые они расценивали как высшее «небесное» предназначение. Но духовная деспотия, которую устанавливали последователи Кальвина, была направлена не только против католической церкви как оплота феодализма. Она жестоко подавляла все проявления народного протеста, проявления свободомыслия, свободы мнения. И не случайно в протестантских странах постоянно возникали движения социального протеста, оформлявшиеся в «народные», радикальные секты, проникнутые духом гуманизма и человеколюбия, не случайно (здесь Цвейг неточен) движение за религиозную терпимость в Новом Свете начиналось с борьбы против теократической власти

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 378.

** Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 368; т. 21, с. 314—315; т. 22, с. 308.

*** О роли кальвинизма в истории буржуазных революций см. указанные работы Ф. Капелюша и Б. Поршнева.

пресвитериан (кальвинистов), бывших оплотом английской короны. В этой динамике развития — от аскетизма к праздной, уже буржуазной роскоши, от суровой монолитной армии Кромвеля к буржуазному демократизму, от теократии к принципу отделения церкви от государства — и обнаруживаются сложные, порой причудливые и не поддающиеся чисто рационалистическому объяснению судьбы наследства Кальвина и Кастеллио.

* * *

Жизненный путь Стефана Цвейга отмечен восторгами многочисленных читателей и горькими минутами забвения, ощущениями надежной близости единомышленников и скорбного одиночества, радостью свободного творчества и насильственной вовлеченностью в катастрофические процессы, оставившие в душе лишь отчаяние и пустоту. «Я постоянно, — вспоминает он, — оказывался в той самой точке, где землетрясение буйствовало особо неистово». Были и какие-то нелепые случайности, отравлявшие жизнь. Они, казалось, говорили о предопределенности несчастий. Цвейг пытался отогнать столь мрачные мысли: «Только в начале жизни верят, будто судьба равносильна случаю. Позже узнают, что ход жизни определяется изнутри. Путь этот, правда, может беспорядочно и без всякого смысла отклониться от наших желаний, но в конце концов он неизбежно ведет к собственной незримой цели»*.

Но вот надломился лихорадочный бег жизни, и летом 1941 г. в чужих американских отелях писатель снова размышляет о своих творческих порывах и о сложившихся обстоятельствах жизни — без предварительных заметок, дневников, писем, без любимых книг и так тщательно собранной коллекции рукописей. Все это осталось в прошлом — там, где растворился «художественный гений» Вены, и все мосты между миром, в котором он вырос, и миром сегодняшним бесповоротно сожжены. Сожжены насильственно, варварски. «Вопреки моей воле я стал свидетелем катастрофического поражения разума, разнузданного торжества дикости в нашем веке». А это значит затоптаны прошлые упования и ростки надежд, придававшие перу легкость и силу. «Все мертвенно-бледные всадники Апокалипсиса проскакали через мою жизнь...»

Если ты, однако, подлинный художник и всерьез ощущал «звездные часы» сопричастности с духовным опытом века, то превратности судьбы сделают твою писательскую

* *Zweig S. The World of Yesterday. An Autobiography. New York, 1943, p. V.* Все последующие высказывания С. Цвейга приводятся по данному изданию.

миссию лишь более эмоционально-напряженной и житейски-неопровержимой. «Только тот, кто познал рассвет и закат, войну и мир, триумф и поражение,— только тот истинно жил». Тогда отчаяние переплавляется в умудренность, непроницаемую для житейских неурядиц, в духовную стойкость, в которой нуждаются другие, чтобы разобраться в собственном бытии, обрести свое неповторимое Я и принять решения, которые невозможно переложить на чужие плечи. Если, продолжает писатель, «со свидетельствами, нам известными, мы способны из разлагающегося миропорядка сообщить грядущим поколениям хоть крупицу истины, то наши труды были не совсем напрасными».

Цвейг не сдаётся — пишет автобиографию, продолжает работу над жизнеописанием Бальзака, уже в Бразилии заканчивает «Шахматную новеллу», делает наброски будущей книги о Монтене. Но что-то неисправимо сломалось в этом прежде отлаженном писательском механизме, обескровились какие-то животорные токи. 22 февраля 1942 года писатель берется за перо и каллиграфически выводит прощальные строки: «...мир моего собственного языка исчез для меня, и мой духовный дом, Европа, разрушила самую себя». Поэтому только здесь, в Бразилии, он хотел бы построить новую жизнь. «Но когда тебе за шестьдесят, нужны необыкновенные силы, чтобы все начать заново. Те же, которые у меня есть, истощены долгими годами бездомных странствований... Я шлю привет моим друзьям. Может быть, им доведется увидеть утренний рассвет после долгой ночи. Я же, слишком нетерпеливый, ухожу раньше».

Прошло полвека со времени публикации книги о Кастеллио, и многое переменилось в мире: сломлен нацистский режим и восстановлена мирная Европа, идеи революционных перемен веют над миром. Но по-прежнему немало больших и маленьких кальвинов навязывают казарменный деспотизм, призывая к «священным войнам», к «крестовому походу» против социализма, спекулируют на «чистоте веры» и благочестивости преследования «иноверных». А поэтому страстное обличение Цвейгом религиозного фанатизма звучит, как никогда, актуально.

Свой долг писатель видел в том, чтобы описывать эпоху «честно и справедливо». Но не научные объяснения ее глубинных законов обеспечили Стефану Цвейгу внимание миллионов читателей. Он так и не преступил мировоззренческий горизонт буржуазного либерала, отвергающего марксизм и страшась революционных выступлений масс. Цвейг до конца оставался во власти социальных иллюзий и заплатил за них по высшей ставке. Но мы и не воспринимаем его «Совесь против насилия» как бесстрастный историко-теоретический трактат. Цвейг — прежде всего писатель-

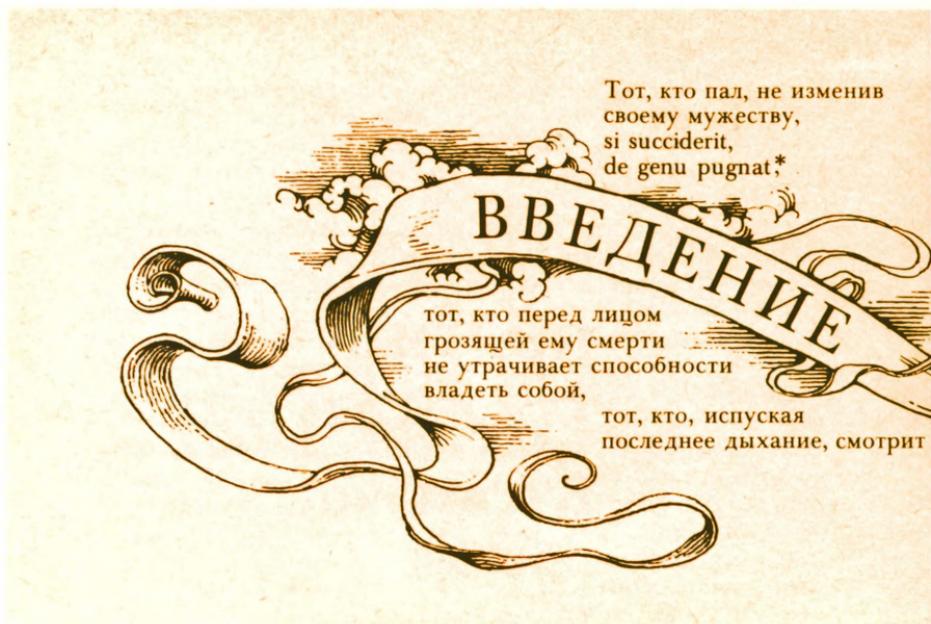
гуманист, а значит, если к нему применить слова Канта, он принимал «эстетическое участие в благе всех людей...».

Часто (и справедливо) подчеркивают, что произведение искусства предполагает сопереживание читателя с автором, не всегда осознанный, интимный акт восприятия житейского опыта последнего. Напомним, однако, и о другой стороне — о сопереживании писателя с ему неизвестными читателями, которым он доверяет своих героев. Последние быстро уходят из-под контроля автора, но лишь в своих героях и только через них реализуется и обретает нравственную определенность личность автора. Цвейга часто упрекали в нестрогом отборе персонажей. Едва ли с этим можно согласиться: Цвейга привлекали те личности, которые могли как-то выразить, оттенить неповторимый и драматический опыт его собственного существования. Об одной из своих ранних пьес он заметил: «...в этой драме впервые проявилась одна личная черта моего мировосприятия: я никогда не возносил общепринятого героя, но всегда видел лишь трагедию потерпевшего поражение. В моих новеллах это неизменно человек, поверженный судьбою, в моих биографиях — это личность, которая преуспела не в житейском, а в моральном плане. Эразм, но не Лютер, Мария Стюарт, но не Елизавета, Кастеллио, но не Кальвин». Не в этих ли словах таится разгадка той «крупницы истины», которую стремился передать нам австрийский писатель?

За последние десятилетия человечество накопило поучительный опыт борьбы против фашизма и терроризма, в которую активно включались люди различных политических и религиозных убеждений. Его значение особенно возрастает сейчас, когда обостряются общечеловеческие, глобальные проблемы и все более зловещей становится угроза ядерной катастрофы. В этих условиях заметно усиливается (и осознается) роль общечеловеческого опыта, простых норм нравственности, идеалов гуманизма и свободы, способных ориентировать людей на борьбу против насилия и человеконенавистничества, какими бы лозунгами они ни прикрывались. В таком бескомпромиссном обличении деспотизма и темных человеческих страстей, в защите свободы личности и идеалов человеколюбия и состоит, как нам представляется, актуальность и жизненность публикуемого произведения Стефана Цвейга.

Л. Н. Митрохин

СОВЕСТЬ
ПРОТИВ
НАСИЛИЯ
Кастеллио
ПРОТИВ
Кальвина



«**М**уха против слона» — эта надпись на принадлежащем Баслеру экземпляре памфлета против Кальвина, сделанная рукой автора — Себастьяна Кастеллио, звучит поначалу странно, и может показаться, что вызвана она обычной для гуманистов любовью к гиперболам. Но слова Кастеллио не ирония и не гипербола. Таким резким сравнением этот мужественный человек хотел показать своему другу Амербаху¹, как отчетливо, как трагически ясно он понимал, что вызвал на поединок гиганта, открыто обвинив Кальвина в том, что, будучи человеком духа, вождем Реформации, он, опьяненный фанатической идеей, покусился на жизнь человека и тем самым на свободу совести. В этой опасной битве Кастеллио, поднимая, словно ланцет, перо, прекрасно сознавал все бессилие любой чисто духовной войны против грозной, защищенной броней диктатуры и тем самым безнадежность своего отчаянно смелого предприятия. Действительно, как может один безоружный человек одолеть, десять тысяч людей, вооруженных всесильным государственным аппаратом? Обладая выдающимися способностями организатора, Кальвин сумел весь город, все государство, некогда состоявшее из тысяч свободных бюргеров, превратить в огромную машину послушания, искоренить любое проявление незави-

* даже поверженный наземь продолжает сражаться (лат.). Здесь и далее — примечания переводчика.



Самые доблестные
бывают порой
и самыми несчастливymi.

Бывают поражения,
слава которых вызывает
зависть у победителей.

на своего врага твердым
и презрительным
взглядом,—
тот сражен,
но не побежден.

Монтень.

симости, подавить во имя своего ставшего монопольным учения любое проявление свободомыслия. Все, что имеет силу в городе, в государстве, подчиняется его всемогуществу: все органы самоуправления, гражданская и духовная власть, магистрат и консистория, университет и суд, финансы и мораль, духовенство, школы, палачи, тюрьмы, каждое написанное, сказанное и даже шепотом произнесенное слово. Его учение стало законом, и того, кто решится высказать хоть малейшее возражение против этого учения, тотчас же наставят на путь истины: темница, изгнание или костер—эти аргументы любой духовной тирании блестяще разрешат все споры; в Женеве существует лишь одна правда, и Кальвин—ее пророк. Но зловещая власть этого зловещего человека распространяется далеко за стенами города; города Швейцарского союза² видят в нем важнейшего политического союзника, мировое движение протестантизма избирает Violentissimus Christianus* своим духовным вождем, князья и короли ищут благосклонности у церковного пастыря, создавшего наряду с римской самую могучую христианскую организацию в Европе. Отныне ни одно важное политическое событие не происходит без его ведома, почти ни одно—вопреки его воле: враждовать с проповедником собора св. Петра стало теперь так же опасно, как с императором или папой.

* неистовый христианин (лат.).

А его противник Себастьян Кастеллио, одинокий идеалист, борец за право человека мыслить свободно, тот, который объявляет войну этой и любой другой духовной тирании,—кто он? Поистине он—по сравнению с Кальвином, обладающим фантастической полнотой власти,—муха против слона! Нето, никто, ничто в смысле общественных влияний, да к тому же еще и бедняк, нищий ученый, человек, способный с трудом прокормить жену и детей переводами и репетиторством, беженец из чужой страны, не имеющий прав гражданства и даже права оставаться в стране, двойной эмигрант,—как всегда, во времена фанатизма гуманист, бессильный и одинокий, стоит между борющимися зелотами³. Годы и годы этот выдающийся и скромный гуманист под угрозой преследований и в тисках нужды ведет скудное существование, вечно ограниченный в своих правах, но вечно и свободный, потому что не принадлежит ни к какому лагерю, не привержен ни к какому фанатизму. И только после убийства Сервета, услышав зов своей совести, покинет он мирные занятия, чтобы обвинить Кальвина во имя опозоренных прав человека,—вот тогда его одиночество станет героическим. Ведь Кастеллио не имеет подобно привыкшему к боевым действиям своему противнику, Кальвину, сплоченной безжалостной рукой и планомерно организованной партии последователей; ни одна партия—ни католическая, ни протестантская—не предлагает ему свою поддержку, ни одна владетельная особа, ни император, ни короли не защищают его, как Лютера и Эразма⁴, и даже его немногие друзья, даже они, не переставая восхищаться им, лишь тайно, шепотом решаются вдохновлять его на мужественные поступки. Ибо опасно, смертельно опасно в то безумное время, когда во всех странах преследуют, подвергают пыткам и мучительным казням еретиков, открыто стать на сторону человека, бесстрашно поднимающего свой голос за этих бесправных, поработенных людей и на примере единичного случая пытавшегося раз и навсегда доказать всем власть имущим спорность права преследовать любого человека на земле за его мировоззрение! Опасно стать на сторону одиночки, который в те ужасные годы помрачения человеческих душ, поражающего время от времени народы, когда людей уничтожали якобы во славу бога, сумел сохранить чистый и человеческий взгляд на мир и решился эти «благочестивые» избиения назвать своим настоящим именем: убийством, убийством, убийством! Того, кто, побуждаемый глубочайшим чувством человечности, единственный не выдерживает более молчания и в своем отчаянии вопиет к небу о бесчеловечности, воюя один против всех, один—за всех! Так бывает всегда: тот, кто поднимает свой голос против властителей и одевающих властью, рассчитывать на последо-

вателей не может,—ведь трусость человеческого рода поистине неумирающая; и в самые решающие часы Себастьян Каstellio не имел возле себя никого, не владел никаким имуществом, за исключением единственного неотчуждаемого достоинства воинствующего художника—непреклонной совести, не знающей страха души.

Но как раз то, что Себастьян Каstellio с самого начала отчетливо представлял себе безнадежность битвы и все же, послушный своей совести, не уклонился от нее, эти священные «и все же» и «несмотря ни на что» на все времена прославляют этого «безымянного воина» великой битвы освобождения человечества как героя; мужественный поступок, когда одиночка, не имеющий никакой поддержки от окружающих людей, поднял голос страстного протеста против охватившего весь мир террора,—этот мужественный поступок—спор Каstellio с Кальвином—должен остаться в памяти любого мыслящего человека. По своей внутренней постановке задачи этот исторический спор выходит далеко за рамки своего времени. Ведь это спор не об узком богословском вопросе, не о некоем Сервете и, конечно же, не о решающем кризисе в отношениях либерального и ортодоксального протестантизма⁵: в этом решительном столкновении ставится значительно более важный, вечный вопрос, *postea res agitur**, объявлена война, которая под другими названиями и в разных формах неизбежно должна будет вспыхивать вновь и вновь. Богословие здесь ничего не значит, это случайная маска времени, и даже сами Каstellio и Кальвин являются здесь всего лишь представителями невидимых, но непреодолимых противоречий. Безразлично, как называются полюса, постоянно создающие силовое поле,—терпимость и нетерпимость, свобода и навязанная опека, гуманизм и фанатизм, индивидуальность и унифицированность, совесть и насилие,—все эти понятия стоят по существу перед последним, глубочайшим, личным вопросом: что предпочесть, что является самым важным для каждого человека: гуманное или вызванное сиюминутными требованиями времени, *Ethos* или *Logos*** , индивидуальность или общность.

Этого постоянно необходимого размежевания свободы и авторитета не избежать ни одному народу, никакому времени, ни одному думающему человеку, ибо свобода без авторитета невозможна (иначе она превратится в хаос), авторитет же без свободы невозможен также (иначе он превратится в тиранию). [...] Во все времена будут существовать люди независимого духа, способные сопротивляться

* Здесь: жизнь нашего мира (лат.).

** Здесь: нравственное или рациональное начала (греч.).

насилию над человеческой свободой, conscientious objectors *, решительные противники любого насилия духа, и во все времена, какими бы варварскими они ни были, при любой тирании, какой бы последовательной она ни была, всегда существовали одиночки, сопротивлявшиеся массовому насилию, защищавшие перед жестокими личностями, одержимыми навязчивой идеей, право на личные убеждения, защищавшие свою личную правду.

И шестнадцатое столетие [...] знало такие свободные и неподкупные души. Читая письма гуманистов того времени, наш современник братски чувствует их глубокую печаль, вызванную господствующим в мире насилием, он разделяет с ними духовное отвращение к тупоумным возвещениям догматиков, каждый из которых подобно ярмарочному зазывале торжественно объявляет: «То, чему учим мы, истинно, а то, чему учат другие,— ложь». [...] О, как тошнит, какие спазмы рвоты вызывают все эти савонаролы, кальвины, джонны ноксы⁶, желающие убить красоту и превратить землю в гигантскую семинарию моралистов! С трагической прозорливостью мудрые и гуманные люди видят те несчастья, которые принесут Европе эти неистовствующие упрямы, уже слышат они за пламенными словами бряцание оружия и предчувствуют в этой ненависти грядущую ужасную войну. Но даже зная правду, гуманисты не решаются бороться за нее. В жизни почти всегда получается так, что знающие не бывают активными, активные — знающими. Трагически скорбящие гуманисты пишут друг другу трогательные, очень литературные письма, они сетуют за закрытыми дверями своих рабочих комнат, но никто не выступает против антихриста. Время от времени Эразм решается из укрытия послать пару стрел в лжепророков; Рабле, накинув шутовской балахон, бичует их жестоким смехом; Монтень, этот благородный и мудрый философ, в своих эссе находит красноречивейшие слова, но серьезно вмешаться и предотвратить хотя бы один из этих гнусных актов гонения и казней не решается никто. С неистовыми,— решают эти многоумные и поэтому сверхосторожные мужи,— мудрые не должны спорить; лучше в такие времена укрыться в тени, чтобы не попасться самому, не пасть жертвой их безумия.

Кастеллио же — и в этом его непреходящая слава — единственный из этих гуманистов решительно выступает навстречу своей судьбе. Мужественно подняв свой голос за преследуемых товарищей по духу, он тем самым рискует жизнью. Абсолютно лишенный фанатизма, ежечасно подвергающийся угрозам со стороны фанатиков, совершенно бесстрастный, с непоколебимостью Толстого поднимает он над жестоким временем словно зная свое кредо: ни одному

* сознательно возражающие (франц.).

человеку нельзя навязывать мировоззрение, никакая земная власть не имеет права насиловать совесть человека, и так как свое кредо он сформировал не на основе программы какого-нибудь лагеря — папистов или реформаторов, — а основываясь на вечном духе гуманизма, именно поэтому его мысли, как и слава, остались навечно. Сформированные художником общегуманные, вечные идеи всегда оставляют свой отпечаток, всегда кредо, объединяющее мир, переживет кредо доктринерские и агрессивные. Но для всех последующих поколений останется беспримерным достойное подражания мужество этого забытого человека. Ибо, когда Кастеллио вопреки мнению всех богословов мира называет Сервета, сожженного Кальвином, невинной жертвой, когда он в ответ на все софизмы Кальвина бросает бессмертные слова: «Сжечь человека — не значит защитить учение, нет, это означает — убить человека», — когда он в своем манифесте терпимости (задолго до Локка, Юма, Вольтера и многих других мыслителей и гораздо решительнее, чем они) раз и навсегда провозглашает право свободомыслия, — это означает, что он за убеждения готов отдать свою жизнь. Нет, протест Кастеллио против прикрытого юридической процедурой убийства Сервета не следует сравнивать с тысячекратно восхваляемыми протестами Вольтера по делу Каласа и Золя — по делу Дрейфуса⁷, — их действия по моральному благородству совсем не равнозначны его деянию. Ведь Вольтер, начавший борьбу за Каласа, живет уже в век гуманизма; кроме того, писатель с мировой славой находится под защитой королей, князей; равным образом восхищение всей Европы, всего мира окружает Эмиля Золя. Свршая свои благородные поступки, оба они ради чужих судеб рисковали и своей репутацией, и своим комфортом, но — и в этом решающая разница — не своей жизнью. Как Себастьян Кастеллио, который в борьбе за гуманизм испытал на себе всю убийственную бесчеловечность своего века.

Себастьян Кастеллио очень дорого заплатил за свой моральный героизм. Этот первый убежденный противник насилия, считавший, что в борьбе следует пользоваться лишь духовным оружием, был неслыханно жестоко подавлен грубой силой — увы, вновь и вновь подтверждается истина, что борьба оказывается безнадежной каждый раз, когда против сплоченной организации выступает одиночка, опирающийся единственно лишь на моральное право человека. [...] Кальвин никогда серьезно не спорил с Кастеллио; он предпочел сделать его немым. Книги Кастеллио в Женеве рвут, запрещают, сжигают, конфискуют, используя политическое давление, вынуждают и соседние кантоны наложить запрет на переписку с ним, а добившись того, что он не может более отвечать, не может высказаться, приспешники Кальвина

немедленно набрасываются на него с клеветой; и вот нет уже борьбы, а лишь подлое насилие над беззащитным. Ибо Кастеллио не может говорить, не может писать, безмолвно лежат его рукописи в ларе, у Кальвина же — печатные станки и кафедры проповедников, кафедральный собор и синоды, весь аппарат государственного принуждения, и все это он безжалостно пускает в ход; каждый шаг Кастеллио выслеживается, каждое его слово подслушивается, каждое письмо перехватывается — что же удивительного в том, что подобная стоголовая организация одерживает верх над бунтарем-одиночкой; лишь преждевременная смерть Кастеллио спасает его от изгнания или костра. Но неистовая ненависть торжествующих догматиков не останавливается и перед его прахом. И в могилу кидают они, словно всепожирающую известь, клеветы и обвинения [...]

И самое страшное, самое чудовищное из того, что могло свершить насилие, ему почти удалось. Методическое подавление не только задушило влияние этого большого гуманиста на свое время, а на многие годы лишило также его посмертной славы; и сегодня образованному человеку нет причин стыдиться того, что он никогда не читал о Себастьяне Кастеллио, никогда не слышал его имени. И как знать о нем, если самые основные его произведения десятилетиями, столетиями не пропускались цензурой в печать! Ни один типограф, работающий там, где сильно влияние Кальвина, не решается их опубликовывать, а когда спустя много лет после смерти автора их и издали, то было уже поздно — заслуженной славы он не получил. За это время другие люди переняли идеи Кастеллио, под знаком других имен продолжалась борьба, в которой он первый пал слишком рано и почти никем не замеченный. Судьбой predeterminedено кому-то жить в тени, умереть в темноте — потомки пожали славу Себастьяна Кастеллио, и ныне во всех школьных учебниках можно прочесть ошибочное утверждение, что Юм и Локк были первыми в Европе провозвестниками терпимости, как будто еретические произведения Кастеллио никогда не были ни написаны, ни напечатаны. Забыты и его великое моральное деяние, и его борьба за Сервета, забыта война против Кальвина, война «мухи против слона», забыты его произведения — невыразительный портрет в собрании сочинений, выпущенном голландским издателем, несколько рукописей в швейцарских и голландских библиотеках, два слова благодарности его учеников — вот все, что осталось от человека, которого его современники единодушно почитали не только самым ученым, но и самым благородным человеком своего столетия. Как нам оправдаться в своей неблагодарности перед этим забытым человеком, как искупить эту чудовищную несправедливость?

Истории недостает времени, чтобы быть справедливой. Как холодный хронист, она фиксирует только удачи, мерками морали пользуется она редко. Лишь на победителей смотрит она, побежденных же оставляет в тени; не задумываясь, сбрасывает она этих «безымянных воинов» в могилу Великого Забвения, nulla сгух, nulla согопа, ни крест, ни венки не славят эти безрезультатные, а потому забытые деяния. Но ни одно, даже самое малое усилие, свершенное из чистых побуждений, нельзя считать тщетным, ни одно напряжение моральных сил не пропадает во Вселенной. Даже слишком рано пришедшие в мир, побежденные, павшие в борьбе за торжество вечных, вневременных идеалов, диктуемых им их совестью, погибли не напрасно, ибо эти идеалы потому-то и вечны, что создают себе последователей и убежденных в их правоте людей, живущих ради них и ради них готовых умереть. С моральной точки зрения слова «победа» и «поражение» получают другой смысл, и именно поэтому миру, который смотрит лишь на памятники победителям, совершенно необходимо вновь и вновь напоминать, что истинными героями человечества являются не те, кто на миллионах трупов, на горах разрушенных материальных ценностей основывают свои преходящие государства, а те, кто насилем побеждает без насилия, кто, как Кастеллио, восставший против Кальвина, борется за свободу духа и за конечный приход гуманизма на землю.



Воскресенье 21 мая 1536 года женеvские бюргеры, торжественно созванные фанфарами, собрались на большой площади и поднятием руки единогласно подтвердили, что отныне они желают жить «selon l'évangile et la parole de Dieu»*. Путем референдума, этого и до сих пор существующего в Швейцарии демократического института, в бывшей резиденции епископа было установлено, что отныне реформированная религия будет единственно верным и единственно дозволенным вероучением города и государства. Потребовались немногие годы, чтобы не только отстранить старую католическую веру в городе на Роне, но и полностью ее разгромить и искоренить. Под угрозой толпы последние католические священники, каноники, монахи и монахини бежали из монастырей, все без исключения церкви были очищены от икон, картин и других символов «суеверия». Этот праздничный майский день лишь закрепил окончательную победу: отныне уже по закону протестантизму в Женеве принадлежит не только власть, но и единовластие.

Это полное утверждение реформированной религии в Женеве по существу является заслугой одного крайне решительного, террористически настроенного человека — проповедника Фареля. Предельно фанатичная личность, «лоб узкий, но железный», человек могучего и вместе с тем

* «согласно Евангелию и слову божьему» (франц.).



беспощадного темперамента — «никогда не приходилось мне встречаться с более надменным и бессовестным человеком», говорит о нем мягкий Эразм; этот «Лютер из французской Швейцарии» вершит свою понуждающую власть над массами. Маленький, уродливый, рыжебородый, с взъерошенными волосами, выступая на кафедре, своим громовым голосом, безмерной яростью, в которой проявлялась его могучая натура, он вовлекал народ в лихорадочное восстание чувств; словно Дантон-политик, этот революционер от религии хорошо знает, как сконцентрировать, зажечь и направить для решительного удара, решающей атаки рассеянные, затившиеся где-то в глубинах сознания инстинкты улицы. Сотни раз ради победы рисковал Фарель: ему угрожали избиением камнями, сажали в темницу, над ним издевались, его презирали; но с первобытной силой одержимого, с непримиримостью человека, которым владеет лишь одна идея, он преодолевает любое сопротивление, разрушает любое препятствие.словно варвар врывается он со своими вооруженными приверженцами в католические церкви, когда священнослужитель у алтаря совершает таинство причащения, самоуправно занимает кафедру, чтобы под одобрительный рев своих молодчиков проповедовать вновь и вновь об ужасах пришествия антихриста. Из подростков улицы он формирует молодежные группы, вербует толпы детей, внушая им, чтобы во время богослужения они криком, смехом, кваканьем

54 мешали в кафедральном соборе молитве; обнаглев до крайности, поддерживаемый всевозрастающим притоком приверженцев, он призывает свою гвардию к последнему удару, и его сторонники вламываются в монастыри, сжигая сорванные со стен иконы. Открытый террор приносит удачу; как всегда, дерзкая горстка активного меньшинства, применяя грубую силу, запугивает вялое большинство. И хотя потрясенные нарушением своих прав бюргеры-католики и докучают магистрату просьбами о вмешательстве и прекращении бесчинств, но в то же время, уверенные в неизбежности происходящего, остаются дома; епископ бежит из своей резиденции, оставив поле боя за победоносной Реформацией.

Но торжество Реформации в Женеве показывает, что Фарель не был революционером, созидателем, он хотя и способен порывом и фанатизмом разрушить старый порядок, но создать новый ему оказалось не по силам. Фарель — нигилист, но не творец, бунтовщик, но не строитель; он мог некоторое время вести жестокую войну против церкви, подстрекать толпу против монахов, ему достало сил железным кулаком мятежника разбить каменные скрижали старого



Гильом Фарель
Гравюра на дереве

закона. Но он остановился у развалин растерянный и без цели. Теперь, когда вместо устраненной католической религии в Женеве необходимо создать новый порядок, у Фареля не оказалось на это способностей; как разрушительная сила, он освободил, расчистил место для нового здания, но духовные ценности революционеру улицы не создать. Разрушением старого здания он завершил свое дело. Для строительства нового требуется другой человек.

В этот критический момент после столь быстрой победы растерянность испытывает не один Фарель; в других кантонах Швейцарии и в Германии стоят в нерешительности вожди Реформации, не имеющие единого мнения об исторической задаче, которую им предстоит разрешить. Первоначально Лютер и Цвингли¹ хотели простого очищения существующей церкви, возврата веры от авторитета папы и церковного собора к позабытому евангелическому учению. Вначале Реформация означала для них — в прямом смысле этого слова — реформирование, то есть улучшение, очищение, возврат к старому. Но так как католическая церковь упрямо отстаивала свои позиции, не пошла ни на какие уступки, задача реформаторов изменилась, они решили реализовать требуемую ими религию не внутри существующей католической церкви, а вне ее; и так как вместо разрушения возникла необходимость строить, не готовые к этому вожди Реформации пошли разными путями. Само собой разумеется, ничего не было бы логичнее, если бы религиозные революционеры Лютер, Цвингли и другие богословы Реформации, тесно сплотившись, создали бы единую форму веры, единую практику новой церкви; но можно ли от Истории когда-либо ожидать логики и естественности? Вместо единой протестантской церкви всюду возникает множество; Виттенберг не желает принять божье учение Цюриха, а Женева не принимает воззрения на Евангелие, выработанные Берном; каждый город хочет иметь свою Реформацию, Реформацию на свой цюрихский, бернский, женевский манер; на примере религиозных распрей кантонов мы видим в уменьшенном масштабе кризис националистической спеси европейских государств. В мелочных ссорах, в богословских казуистических спорах и трактатах Лютер, Цвингли, Меланхтон, Буцер и Карлштадт² расточают, разбазаривают свои лучшие силы, подтачивая гигантское строение *Ecclesia Universalis**. Не зная, что делать, стоит Фарель в Женеве у развалин старого порядка: такова вечная трагедия человека, выполнившего предначертанное ему историческое деяние, но не понимающего ни следствий этого деяния, ни его требований.

* Вселенская церковь (лат.).

Поэтому для трагического триумфатора счастливым становится час, когда он узнает, причем совершенно случайно, что Кальвин, знаменитый Жан Кальвин, проездом из Савойи на день остановился в Женеве. Тотчас же отправляется он к Кальвину на постоянный двор, чтобы испросить совета и помощи в деле строительства новой церкви. Ибо, хотя Кальвину двадцать шесть и Фарель чуть ли не на двадцать лет старше, молодой богослов уже имел бесспорный авторитет в мире ученых. Сын епископского сборщика податей и нотариуса, родившийся во Франции в Нуайоне, воспитанный в суровой школе коллегии Монтегю (там, где получили свое образование Эразм и Лойола), первоначально предназначенный для священнического сана, а затем для юридической службы, Жан Кальвин (или Chauvin), двадцати четырех лет, из-за своей приверженности к лютеровской вере вынужден бежать из Франции в Базель. Но если, как правило, люди, в огромном своем большинстве, потеряв родину, теряют и свои силы, эмиграция помогает ему полностью вернуть себя. Как раз в Базеле, на этом перекрестке европейских дорог, где встречаются и враждуют различные формы протестантизма, Кальвин взглядом гениального логика увидел, понял, в чем суть момента. От ядра евангелического учения откалываются все более радикальные толки; пантеисты и атеисты, мечтатели и zeloty начинают высвобождать протестантизм от Христа или же перегружать его Христом, уже завершается в крови и ужасах трагикомедия мюнстерских анабаптистов³, уже Реформация вот-вот распадется на отдельные национальные секты, вместо того чтобы подняться до универсальной мощи, подобно ее противнику — Римской церкви. Самораспаду — и двадцатичетырехлетний Кальвин провидчески убежден в этом — должно быть противопоставлено объединение, должна воспрепятствовать духовная кристаллизация нового учения в новой книге, схеме, программе; должен, наконец, быть сделан основной творческий набросок евангелических догм. И в то время, как вожди — зачинатели движения занимаются ничемными, нудными мелочами, этот никому не известный юрист и богослов с великолепной смелостью юности, мгновенно поняв ядро вопроса, его сокровенную сущность, в один год создает свое «*Institutio religionis Christianae*»* (1535), первый очерк евангелического учения, учебник и руководство, каноническое произведение протестантизма.

«Наставление...» — одна из десяти или двадцати книг мира, о которой, не боясь впасть в преувеличение, можно

* «Наставление в христианской вере» (лат.).

сказать, что она определила ход истории и изменила облик Европы; после перевода Библии, выполненного Лютером, — самого важного деяния Реформации — «Наставление...» с первого же часа своего появления на свет оказало решающее влияние на современников своей логической безжалостностью, своей конструктивной решительностью. Духовному движению всегда нужен гениальный человек, его зачинатель, но движению необходим также гениальный человек, который смог бы его завершить. Лютер, вдохновитель движения, начал Реформацию; Кальвин, организатор, удержал ее, прежде чем она распалась на тысячу сект. В известном смысле «Наставление...» завершает религиозную революцию, как Кодекс Наполеона⁴ — французскую; оба они подытоживают, подводят черту, оба они берут у потока движения расплавленную массу, чтобы отлить ее в формы закона и стабильности. [...]

Сила Кальвина в том, что он впоследствии никогда не смягчал, не изменял жесткость своих первоначальных формулировок; все позднейшие издания его произведений покажут лишь развитие, но не исправления первых категорических



Мартин Лютер
в последний год
его жизни
Гравюра на дереве
Лукаса Кранаха
Младшего

решений. В двадцать шесть лет он, не имея личного опыта, логически продумал до конца свое мировоззрение, и все последующие годы будут служить ему лишь для того, чтобы реализовать свои организаторские идеи. Он не изменит ни одного сколько-нибудь существенного слова и прежде всего не изменит самому себе, не отступит ни на один шаг назад, никому не сделает шага навстречу. Такого человека можно только разбить или же разбиться о него. Напрасны любые попытки найти в споре с ним какие-то компромиссные решения. Возможно лишь альтернативное решение: либо отрицать его, либо полностью ему подчиниться.

* * *

Фарель — и такова сила его личности — чувствует это при первой же встрече с Кальвином, при первом разговоре с ним. И хотя он на двадцать лет старше, с этого часа он полностью покоряется Кальвину, признает его своим вождем и учителем, с этого мгновения становится его духовным слугой, подчиненным, рабом. Никогда в последующие трид-



Ульрих Цвингли
Гравюра на дереве,
1539

цать лет не осмелится он произнести ни единого слова возражения своему более молодому, но признанному им старшим товарищу. В каждом деле, в каждой битве будет стоять он рядом с ним, на каждый призыв являться, где бы в это время ни находился, чтобы бороться вместе с ним и под его руководством. Фарель являет собой образец того бесспорного, некритического самоотреченного послушания, которого Кальвин, фанатик субординации, в своем учении требует как высшего долга от каждого человека. Лишь одно требование за всю свою жизнь поставил Фарель перед Кальвином в первый час их встречи: Кальвин как единственный достойный должен принять в Женеве духовное руководство и построить здание Реформации, завершить которое ему, Фарелю, не по плечу.

Позже Кальвин напишет, как долго и горячо сопротивлялся он, прежде чем принять это неожиданное предложение. Для человека духа чрезвычайно ответственным всегда является решение покинуть чистую сферу мышления и вступить в мутную сферу реальной политики. Он медлит, колеблется, ссылается на свою молодость, на свою неопыт-



Андреас Боденштейн,
прозванный Карлштадт
Гравюра на дереве,
первая половина XVI в.

ность; он просит Фареля, чтобы тот оставил его в творческом мире книг и проблем. Наконец, Фарель, выведенный из терпения упрямством Кальвина, с которым тот пытается уклониться от предложения, с силой библейского пророка гремит нерешительному богослову: «Ты отговариваешься своими занятиями. Но от имени всемогущего бога возвещаю тебе: ты навлечешь на себя проклятье божье, если откажешь в своей помощи делу божьему и будешь искать большее, чем Христа».

Лишь этот призыв оказывается решающим и определяет его дальнейшую жизнь. Он соглашается построить в Женеве новый порядок: то, что он до сих пор обозначил идеями и словами, должно стать делом. Отныне вместо книги он будет пытаться придать городу, государству формы собственной воли.

* * *

Современники о своем времени всегда знают очень мало. Незаметно мимо их внимания проходят важнейшие мгновения жизни, почти никогда действительно решающие часы не получают достойной, заслуженной ими оценки. Так и секретарь женевского Совета в протоколе от 5 сентября 1536 года, записывая предложение Фареля поставить на длительное время некоего кандидата на должность *lecteur de la Sainte Escripiture*, не позаботился указать имя человека, который создаст Женеве славу на столетия. Секретарь Совета фиксирует лишь факт, что Фарель предложил *iste Gallus*, этого француза, как человека, который сможет продолжить его, Фареля, проповедническую деятельность. И это все. Стоит ли утруждать себя записью в протокол имени нового проповедника? И вот магистрат принимает решение — определить незначительное содержание этому не имеющему никаких средств к существованию иностранному проповеднику. Магистрат города Женевы пока еще считает, что он всего лишь определил на работу мелкого служащего, который будет так же скромно и послушно выполнять порученную ему работу, как какой-нибудь школьный учитель, стражник у ларя с казной или палач.

Впрочем, славные советники магистрата — не ученые, в часы досуга богословских произведений они не читают, и наверняка ни один из них до сих пор даже не перелистал «*Institutio religionis Christianae*» Кальвина. Ибо в противном случае они ужаснулись бы, ведь там ясно и категорично сказано, какую полноту власти определяет «*iste Gallus*» проповеднику в общине: «Пусть ясно будет здесь описана власть, которой церковь должна облачить проповедников. Поскольку их предназначение — быть управляющими душ

человеческих и провозвестниками слова божьего, они могут все, они вправе принудить всех великих и могущественных лиц этого мира преклониться перед величием божьим и служить ему. Они вправе приказывать всем—от самых высших до самых низших, они обязаны насаждать устав божий и разрушать государство сатаны, стеречь овец и уничтожать волков, они обязаны наставлять и воспитывать послушных, обвинять и уничтожать противящихся. Они вправе обязывать и освобождать, метать громы и молнии, но все это—в соответствии со словом божьим».

Эти слова Кальвина—«проповедники вправе приказывать всем—от самых высших до самых низших»,—безусловно, не были известны членам женеvского магистрата, в противном случае они не поспешили бы отдаться в руки этому ненасытному человеку. Не подозревая, что этот французский эмигрант, которого они призвали в свою церковь, с самого начала был полон решимости стать господином города и государства, они дали ему должность и звание. Но с этого дня власть их кончилась, ибо, обладая неумейной энергией, Кальвин завладеет всем, беспощадно будет добиваться выполнения своих тоталитарных требований и превратит таким образом демократическую республику в теократическую диктатуру.

* * *

Уже первые меры, принятые Кальвином, свидетельствуют о дальновидной логике этого человека, о целеустремленной его решимости. «Когда я впервые пришел в эту церковь,—пишет он позже об этих женеvских временах,—ничего не было. Проповедовали—и только. Выискивали иконы и сжигали их. Но Реформации не было, все находилось в беспорядке». Кальвин—прирожденное олицетворение организованности: все беспорядочное, несистематизированное противно его математически педантичной натуре. Если хочешь воспитать людей в новой вере, нужно прежде всего объяснить им, чему они должны верить. Они должны уметь отчетливо различать, что разрешено, а что запрещено; каждое духовное государство, как и любое земное, должно иметь определенные границы и законы. Поэтому уже через три месяца Кальвин предлагает Совету написанный им катехизис⁵, в котором в ста двадцати параграфах с максимальной краткостью формулируются основные положения нового евангелического учения, и Совет принимает этот катехизис, содержащий в себе подобно декалогу, десяти библейским заповедям, сущность новой веры.

Но Кальвину этого мало; он требует безоговорочного послушания в мельчайших деталях. Его ни в коей мере не

62 удовлетворяет, что учение сформулировано, ведь у одиночек еще остается некоторая свобода, они еще вольны сами решать, с какой строгостью им следовать этому учению. Кальвин же в вопросах своего учения, в вопросах нравов и морали не терпит абсолютно никакой свободы. Он не желает оставить этим одиночкам никакой слабинки в их убеждениях. По его представлениям, церковь—как авторитарный институт—имеет не только право, но обязана принуждать силой всех людей к безусловному послушанию и неумолимо наказывать даже простое равнодушие. «Пусть другие думают иначе, я не считаю, что наши проповедники могут сидеть сложа руки, полагая свой долг выполненным, если проповедь прочитана». Его катехизис—не только директива веры, он должен стать законом государства; поэтому Кальвин требует от Совета, чтобы власти города Женевы заставили каждого горожанина публично признать этот катехизис. Десяток за десятком бюргеры, как школяры, под наблюдением *anciens** должны отправиться в кафедральный собор и там, подняв правую руку, принести клятву, зачитанную государственным секретарем, в том, что они будут следовать этому катехизису. Того же, кто откажется дать такую клятву, следует немедленно изгнать из города. И это означает, что ни один горожанин, хотя бы на волосок отклонившийся в духовных вопросах от воззрений и требований Жана Кальвина, не будет иметь отныне права жить в стенах города Женевы. Теперь в Женеве покончено с провозглашенной Лютером «свободой христианина», с представлениями, что религия является делом личной совести человека. Разум победил мораль, буква—смысл Реформации. С того момента, как Кальвин вошел в город, в Женеве покончено с любым видом свободы, отныне здесь над совестью каждого бюргера господствует единственная воля.

Но никакая диктатура немыслима и невозможна без насилия. Тот, кто желает сохранить власть, должен иметь в своих руках силу; кто желает повелевать, должен иметь также право и наказывать. Должность, которую Кальвин получил у женеvского магистрата, не дает ему никаких прав издавать распоряжения об изгнании из города за проступки перед церковью. Советники приняли на работу «*lecteur de la Sainte Escripiture*» для того, чтобы он излагал верующим Библию, проповедника, чтобы он проповедовал и призывал прихожан к истинной вере. Наказывать же горожан за нарушение ими правовых и нравственных норм Совет, само собой разумеется, считал своей прерогативой. Ни Лютер, ни Цвингли, никто другой из реформаторов и не пытался до сих пор оспаривать у гражданских властей ни эти права, ни эту

* старейшины (франц.).

власть; Кальвин же, как личность авторитарная, всю свою титаническую волю немедленно направляет на то, чтобы превратить магистрат лишь в исполнительный орган, осуществляющий проведение в жизнь его, Кальвина, приказов и распоряжений. И поскольку закон ему эти права не дает, он берет их сам с помощью института отлучения от церкви: гениальным ходом он превращает религиозное таинство в средство давления и насилия личного характера. Теперь кальвинист-проповедник допустит к «причастию господнему» только того бюргера, моральное поведение которого ему лично кажется безупречным. Тот же, кому проповедник откажет в причастии — и здесь-то проявляется вся сила этого оружия, — обречен на гражданскую смерть. Никто не имеет права разговаривать с этим несчастным, ничего не смеет ему продать или купить у него; таким образом, меры наказания, казалось бы, чисто церковного характера тотчас же превращаются в социальный и экономический бойкот; если же этот исключенный из общества человек не сдастся, отказываясь совершить предписанное проповедником публичное покаяние, Кальвин прикажет его изгнать. После этого противник

CHRISTIANA

NAE RELIGIONIS INSTITUTIO, totam ferè pietatis summã, & quicquid est in doctrina salutis cognitum necessarium, complectens: omnibus pietatis studiosis lectu dignissimum opus, ac recens editum.

PRAEFATIO AD CHRISTIANISSIMUM REGEM FRANCIAE quae hic ei liber pro confessione fidei offertur.

IOANNE CALVINO
Noviodunensi autore.

BASILEAE,
M. D. XXXVI.

Титульный лист
первого издания
сочинения Кальвина
«*Christianae religionis
institutio...*» (Наставление
в христианской вере...),
Базель, 1536

Кальвина, будь он самым почитаемым бюргером, не сможет долго жить в Женеве; теперь гражданские права всякого неугодного клиру человека находятся под угрозой.

Подобно громовержцу, Кальвин может уничтожить всякого, кто оказывает ему сопротивление; одним смелым ходом он получил такое средство устрашения, каким до сих пор не располагал ни один епископ города. Для того чтобы католическая церковь приняла решение об отлучении, требовалось пройти бесчисленные инстанции — от высоких до наивысших. Отлучение было актом надличным, свободным от произвола отдельного лица; Кальвин же, целеустремленный и неумолимый в своей воле к власти, отдает право изгнания в руки проповедников и консистории, превращая эту ужасную меру едва ли не в обычное наказание и как психолог, хорошо рассчитавший эффективность террора, увеличивает свою власть до невиданных размеров, используя страх перед этой мерой наказания. С огромным трудом магистрату удастся добиться лишь того, что свершение обряда причащения будет проводиться раз в три месяца, а не ежемесячно, как этого требует Кальвин. Но свое ужасное оружие Кальвин никогда не отдаст, ведь только с его помощью может он по-настоящему начать свою борьбу за единовластие.

* * *

Обычно требуется некоторое время, чтобы люди заметили, что преходящие преимущества диктатуры — более суровую дисциплину, возросшую коллективную ударную силу — им приходится оплачивать личными правами и что каждый новый закон неизбежно ведет к потере какой-нибудь старой свободы. И в Женеве это начинают понимать не сразу. Горожане — независимые люди — с открытым сердцем собрались на рыночной площади, чтобы поднятием руки признать новую веру. Но их республиканская гордость возмущается, когда их, словно галерников, десяток за десятком под надзором слуги закона гонят через весь город, чтобы в церкви торжественной клятвой присягнуть в верности каждому параграфу катехизиса господина Кальвина. Не для того они отстаивали более суровые нравственные правила, чтобы оказаться под постоянной угрозой изгнания или анафемы, едва этот новый проповедник или его прихвостни вдруг обнаружат, что ты весело пел за стаканом вина или носил одежду, которая господину Кальвину или господину Фарелю показалась слишком яркой или слишком богатой. И женевские бюргеры начинают спрашивать себя: кто они, собственно, эти люди, которые так властно себя ведут? Старожилы, много труда положившие на дело возвеличения и обогащения города, проверенные патриоты, за многие

столетия породнившиеся с лучшими семействами города? Нет, это только что появившиеся в городе иммигранты, беглецы из другой страны, из Франции. Здесь им было оказано гостеприимство, им дали приют и хорошо оплачиваемые должности, а теперь этот сын таможенника из соседней страны, прихвативший с собой в тепленькое гнездышко и своего братца, и своего шурина, теперь он, видите ли, осмеливается оскорблять их, коренных жителей города, задавать им головомойку! Он, беженец, их служащий, присваивает себе право определять, кто может оставаться в Женеве, а кто — нет!

Когда диктатура только-только зарождалась, сопротивление имело еще известную силу, ведь свободные души пока не связаны, а независимые — не изгнаны; республикански настроенные женевцы открыто говорят, что не желают, чтобы с ними обращались «как с грабителями». Бюргеры с целых улиц, и прежде всего с Rue des Allemands*, отказываются дать требуемую от них присягу, они мятежнически ропщут, заявляя, что не станут присягать, не станут по приказу только что появившегося здесь нищего француза покидать родной город. Правда, Кальвину удастся понудить преданный ему Малый совет к заявлению, что отказавшиеся принести клятву будут изгнаны, но проводить в жизнь эту непопулярную среди жителей города меру наказания магистрат все же не решает. Результаты выборов в магистрат ясно показывают, что большая часть граждан города крайне недовольна произволом Кальвина. На выборах в феврале 1538 года его верные последователи теряют большинство; еще раз демократия Женевы показала свою волю защищаться от автократических притязаний Кальвина.

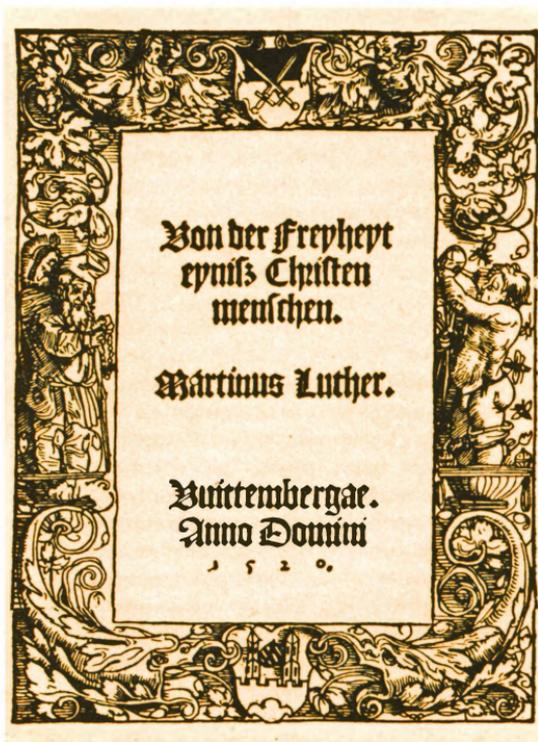
* * *

Кальвин лихорадочно действует. [...] Благоразумие должно было бы подсказать Кальвину, что, поскольку ему не удалось привлечь на свою сторону светские власти, следует стать помягче, его дело все еще популярно, да и вновь избранный муниципалитет не враждебен ему, а лишь осторожен, осмотрителен. Даже самые ярые противники Кальвина очень скоро поняли, что в основе его фанатизма лежит страстное стремление к насаждению в городе нравственности, что движущая пружина этого необузданного человека — великая идея, а не узкое честолюбие. Его товарищ по борьбе Фарель — все еще кумир молодежи и улицы; так что напряженность можно было бы снять легко, обладай Кальвин

* Немецкая улица (франц.).

несколько бóльшим дипломатическим благоразумием и пожелай применить свои крайние, уязвимые с точки зрения установившихся в Женеве традиций требования к более умеренным взглядам горожан.

Но это невозможно. Препятствие этому — гранитная сущность Кальвина, его железная твердость. Ничто на протяжении всей его жизни не было так чуждо этому зелоту, как соглашения, компромиссы. Кальвин не знает компромиссных решений; ему известно только одно решение — его собственное. Или все, или ничего, полная авторитарность или полная покорность. Никакого компромиссного решения он никогда не примет, ибо власть и сохранение власти настолько органично присущи ему, что ему и в голову не может прийти мысль, что кто-нибудь другой также имеет какие-то права, такое он понять не в состоянии. Для Кальвина остается аксиомой то, что ему надлежит учить, а другим — учиться у него; в честной убежденности он говорит дословно следующее: «Мне от бога дано то, чему я учу, и это укрепляет мое убеждение в собственной правоте». С ужасающе зловещей самонадеянностью он приравнивает свои



Титульный лист первого издания сочинения Мартина Лютера «О свободе христианина» Виттенберг, 1520

утверждения к абсолютной истине: «Dieu m'a fait la grâce de déclarer ce qu'est bon et mauvais»*, и каждый раз этот одержимый чувством собственной непогрешимости человек впадает в бешенство, если кто-нибудь решится высказать свое мнение, расходящееся с его, Кальвина, мнением. Возражение возбуждает в Кальвине нечто вроде нервного припадка, душевные волнения до предела раздражают его тело, вызывая спазматические боли в желудке, им овладевает жестокая ярость, а если противник к тому же еще обстоятельно и научно обоснует свои доводы, то сам факт, что кто-то решается думать иначе, этого возражателя превращает в личного смертельного врага Кальвина, а следовательно, во врага всего человечества, во врага бога. Шипящими змеями, лающими собаками, бестиями, негодьями, сатанинскими прислужниками — так именует выдающихся гуманистов и богословов своего времени этот в частной жизни чересчур умеренный человек; даже чисто академические возражения Кальвину воспринимаются им как оскорбление в слуге божьем «чести божьей», едва кто-либо решится назвать проповедника от имени *St. Pierre ad personam* властолюбивым, авторитарным, это означает, что «церковь Христова находится в опасности». Кальвин признает лишь такой диалог, когда собеседник принимает его, Кальвина, мнение: всю жизнь этот, в остальном прозорливый, человек ни мгновения не сомневается в своем, исключительно своем праве излагать слово божье, считая его в своем изложении единственно истинным. Но как раз благодаря этой твердолобой вере в непогрешимость своих взглядов, благодаря этой проповеднической самоодержимости, этой грандиозной тирании идеи Кальвин победил в реальной действительности; лишь эта гранитная незыблемость, эта ледяная, нечеловеческая косность объясняет тайну его политического триумфа. Ибо только такая одержимость, такая чудовищно ограниченная убежденность в правоте своих догматов делает Кальвина вождем [...]

Поэтому на Кальвина не производит никакого впечатления то, что настроенное против него большинство нового Совета города очень вежливо дает ему понять, что ради мира в городе ему следует отказаться от дикой политики отлучения от церкви и присоединиться к более мягким воззрениям Бернского Синода; такой упрямый человек, как Кальвин, никакого справедливого мира не примет, если из-за этого ему придется уступить хотя бы самую пустяковую мелочь. Любой компромисс совершенно невозможен для его авторитарной природы, и, так как магистрат

* «Богом ниспослано мне право объявлять, что плохо, а что хорошо» (франц.).

противится ему, он, требующий от всех других безусловного подчинения любой власти, совершенно не задумываясь, становится мятежником, восстает против власти. Открыто с кафедры поносит он Малый совет и объявляет, что «предпочтет умереть, чем отдать святое тело господне на растерзание собакам». Другой проповедник в церкви именуется Совет города «сборищем пьяниц»; твердо и незыблемо, словно скала, приверженцы Кальвина дают отпор городским властям.

Но магистрат не может терпеть такие провокационные выступления проповедников против его авторитета. Сначала он недвусмысленно указывает, что с церковных кафедр должно излагать исключительно только слово божье, что пользоваться церковной кафедрой в политических целях запрещается. Но поскольку Кальвин и его приверженцы хладнокровно оставляют этот приказ без внимания, магистрату ничего иного не остается, как запретить проповедникам выступать с церковных кафедр; наиболее же агрессивный из них, Курто, за открытое подстрекательство, как бунтовщик берется под стражу. Тем самым государственная власть объявляет открытую войну власти церковной. Кальвин решительно принимает ее. Сопровождаемый своими приверженцами, он пробивается в кафедральный собор св. Петра, упрямо вступает на запрещенную ему кафедру, и, так как его сторонники и противники прорываются в собор с оружием (одни — для того, чтобы слушать запрещенную проповедь, другие — чтобы ее запретить), возникает свалка, едва ли не сделавшая пасху кровавой. Тут терпение магистрата лопается. Он созывает Большой «Совет 200», высшую инстанцию города, и ставит вопрос о том, чтобы Кальвин и другие проповедники, злонамеренно пренебрегшие приказом магистрата, покинули город. Подавляющим большинством Совет принимает это решение. Мятежных священников освобождают от занимаемых ими должностей и приказывают им в течение трех суток покинуть город. Изгнание, которым Кальвин последние восемнадцать месяцев угрожал такому большому количеству горожан Женевы, поразило теперь его самого.

* * *

Первая атака Кальвина на Женеву окончилась неудачей. Но в жизни диктатора такая неудача совсем не опасна. Наоборот, почти всегда подобная неудача помогает продвижению вперед, если человек с задатками неограниченного властелина сможет вынести такой удар в начале своей деятельности. [...] Большому политике необходимо время от времени отступить на задний план; невидимый, он становит-

ся легендой, его имя, словно облаком, окутывается прославляющей его молвой, и когда он возвращается, то встречает его стократно усиленное ожидание, возникшее без его участия, как бы из воздуха. Почти все народные герои Истории наиболее сильную эмоциональную власть над своей нацией обрели благодаря изгнанию: Цезарь, находясь в Галлии, Наполеон — в Египте, Гарибальди — в Южной Америке; все они стали сильнее вследствие своего отсутствия, чем если бы все время находились в своем народе; сказанное относится и к Кальвину.

Разумеется, в этот час изгнания Кальвин кажется всем человеком конченным. Его организация разгромлена, его дело полностью потерпело провал, и ничего не осталось от его достижений, разве что только воспоминание о фанатической воле к порядку да два десятка надежных друзей. Но, как всегда, всем политическим натурам, не желающим заключать компромиссные договоры и решающим в опасные мгновения отступить, на помощь приходят ошибки их преемников и противников. Вместо представительных, заметных личностей, Кальвина и Фареля, магистрат с большим трудом подбирает нескольких покладистых проповедников, которые, боясь крутыми мерами отпугнуть народ, потерять у него популярность, предпочитают не натягивать поводья и небрежно отпускают их. Столь энергично и, пожалуй, даже сверхэнергично начатое Кальвином строительство здания Реформации в Женеве при них очень скоро приостанавливается, и в вопросах веры горожанами овладевает такая неуверенность, что оттесненная было католическая церковь постепенно набирается новых сил и с помощью умных посредников пытается вновь отвоевать Женеву для римской веры. Ситуация становится все более и более критической, постепенно те самые бюргеры, некогда принявшие учение Реформации, для которых Кальвин был слишком тверд и жесток, теряют спокойствие и начинают спрашивать друг друга, а не является ли в конце концов та железная дисциплина более приемлемой для города, чем угрожающий ему хаос. Все больше горожан, даже прежние противники Кальвина, настаивают на возвращении изгнанников, и наконец магистрату приходится всеобщему желанию народа. Первые послания и письма к Кальвину пока еще исподволь, осторожно выведывают отношение к этому Кальвина, но вскоре они становятся открытыми и более настойчивыми. Приглашение превращается в просьбу: Совет не пишет более к Monsieur * Кальвину, что он мог бы вернуться, чтобы помочь городу, теперь беспомощные, растерянные советники едва ли не коленопреклоненно обращаются к

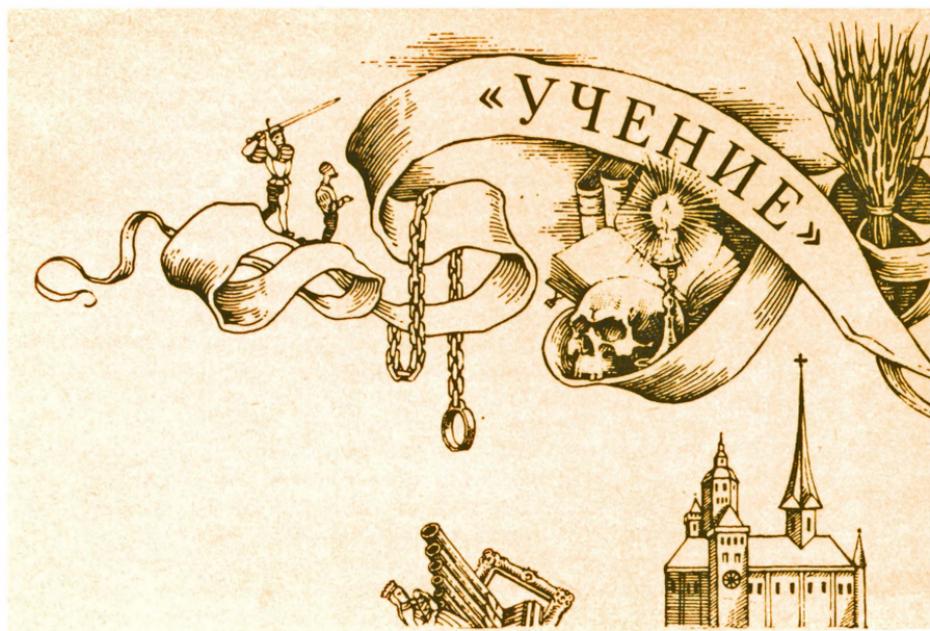
* господин, сударь (франц.).

Maitre * Кальвину, прося «доброе брата и единственного друга» вновь вернуться на место проповедника, причем дают обещание «вести себя так, чтобы он имел все основания быть ими довольным».

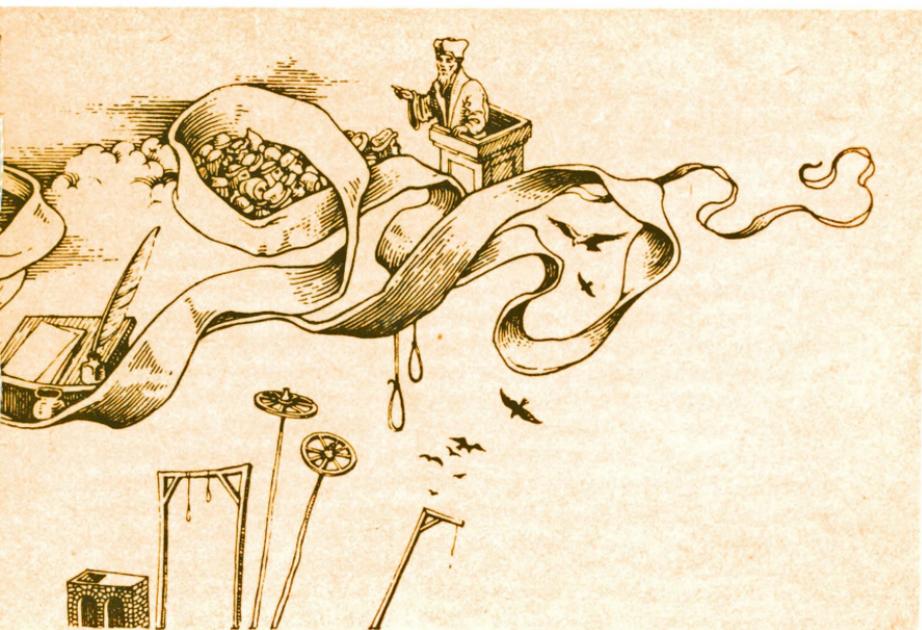
Если бы Кальвин был личностью заурядной, он довольствовался бы таким дешевым триумфом и принял бы мольбы о возвращении в город, из которого два года назад с таким позором был выброшен. Но тот, кто хочет иметь все, никогда не удовлетворится половиной, и в наисвященнейшем для Кальвина деле речь идет не о личном честолюбии, а о победе авторитета. Он не желает, чтобы вторично какая бы то ни было власть сдерживала его в деле, которому он так беззаветно предан. Он вернется в Женеву лишь тогда, когда в городе будет господствовать только одна власть—его. Пока город не отдастся ему со связанными руками и клятвенно не заверит, что готов во всем ему подчиняться (subordonner), Кальвин не дает своего согласия и тактически—с подчеркнутым отвращением—отправляет назад настоячивые приглашения. «Я соглашусь скорее сто раз умереть, чем вновь начать прежнюю мучительную борьбу»,— пишет он Фарелю. Ни шага не делает он навстречу своим противникам. Наконец магистрат становится на колени перед Кальвином, прося его вернуться, даже его ближайший друг Фарель теряет терпение и пишет ему: «Не ждешь ли ты, чтобы и камни возопили к тебе?» Кальвин же остается твердым, он не уступит, пока Женева не сдастся на милость победителя. Лишь тогда, когда они произнесут клятву придерживаться катехизиса и его учения, после того, как советники магистрата направят униженные письма в Страсбург, умоляя тамошних бюргеров братски помочь уговорить этого несокрушимого человека вернуться в Женеву, лишь тогда, когда Женева унижится не только перед самой собой, но и перед всем светом, Кальвин сдастся и объявит наконец, что согласен принять свою прежнюю должность с новыми полномочиями и с другими, неизмеримо большими правами. Женева, словно сдавшийся на милость завоевателя город, готовится к въезду Кальвина. Сделано все, что только можно измыслить, чтобы смягчить его недовольство. Поспешно вновь вводятся старые суровые эдикты, дабы Кальвин убедился в том, что его религиозные приказания уже исполняются; Малый совет выбирает для столь страстно ожидаемого человека соответствующее жилье с садом и обеспечивает дом всем необходимым в хозяйстве. Специально перестраивается старая кафедра в соборе св. Петра—чтобы с нее было удобнее произносить проповеди и чтобы Кальвина можно было видеть всем присутствующим в собо-

* учитель (франц.).

ре. Почести следуют за почестями: еще прежде, чем Кальвин отбыл из Страсбурга, ему навстречу выслан герольд, чтобы приветствовать его от имени города, семья Кальвина перевозится в Женеву на средства горожан. Наконец 13 сентября дорожная карета приближается к Корнавинским воротам, и тотчас же собираются огромные толпы людей, чтобы с ликованием ввести вернувшегося изгнанника в стены города. Мягким и податливым, словно глина, получил сейчас Кальвин город в свои руки, и теперь он его уже не выпустит, пока не создаст из него художественное произведение — свою овеществленную идею. С этого часа отделить их друг от друга невозможно — Кальвина и Женеву, дух и форму, творца и творение.



В тот час, когда этот тощий, черствый человек в черной развевающейся священнической рясе вошел через Корнавинские ворота в город, начался эксперимент, едва ли не самый значительный в истории человечества: государство, состоящее из бесчисленных живых существ, должно превратиться в механизм, народ со всеми своими чувствами и мыслями — в некую единую систему; это — предпринятая здесь, в центре Европы, во имя некоей идеи первая попытка полной унификации целого народа. С демонической последовательностью, с поразительной систематизированной продуманностью идет Кальвин к исполнению своего смелого плана, он желает создать в Женеве первое царство божье на земле: человеческое сообщество без человеческой низости, без коррупции, беспорядков, пороков и грехов, поистине новый Иерусалим, от которого должно исходить спасение всего мира — отныне только эта одна-единственная идея станет его жизнью, а жизнь его в свою очередь будет отдана беззаветному служению этой единственной идее. С чудовищно страшной строгостью, со священной честностью относится к этому Кальвин, этот железный идеолог, с его величественной утопией, и ни на одно мгновение за четверть века своей духовной диктатуры он не усомнится в том, что беспощадное лишение людей личной свободы им только полезно. Всеми своими требованиями, всеми своими невыносимыми сверхтребованиями этот благочестивый деспот будет добиваться



от людей лишь одного и ничего более — чтобы они жили правильно, то есть чтобы они жили в соответствии с волей и предписаниями божьими.

Действительно, как это звучит просто и предельно ясно. Но как распознать божью волю? И где найти их, божьи предписания? В Евангелии, отвечает Кальвин, только в Евангелии. Там, в непреходящем писании, присутствуют дыхание и жизнь божьей воли и божьего слова. Не случайно священные книги сохранились до нашего времени. Бог однозначно и недвусмысленно вложил в слова свою волю, свои предписания для передачи потомкам затем, чтобы его требования были хорошо известны всем людям и неукоснительно ими приняты. Евангелие существовало до церкви, стоит оно над церковью, по ту сторону и вне (*en dehors et au delà*) Писания никакой иной истины нет. Поэтому в истинно христианском государстве божье слово, *la parole de Dieu*, должно считаться единственной нормой морали, мышления, веры, права и жизни, ибо это — книга наивысшей мудрости, наивысшей справедливости, наивысшей истины. Альфа и омега всего для Кальвина — Библия, все решения и дела основываются на записанном в ней слове.

Похоже, этим возведением слова Священного писания на уровень наивысшей инстанции всего земного Кальвин лишь повторяет хорошо известное основное требование Реформации. В действительности же он делает гигантский

шаг в сторону от Реформации и даже полностью отходит от ее первоначального круга мыслей. Ведь Реформация началась как движение за религиозно-духовную свободу, она хотела, чтобы каждый без посредников разбирался в Евангелии; она хотела, чтобы не папа в Риме, не Синод, а сами люди формировали в себе христианство. Эту выраженную Лютером «свободу христианина»¹, как, впрочем, и другие формы свободы, Кальвин неумолимо отбирает у человека; слово божье совершенно понятно только ему, поэтому он диктаторски требует, чтобы было покончено с любыми толкованиями божьего учения, поскольку все они, по его мнению, превратны; чтобы церковь не прекратила свое существование, слово божье должно стоять неколебимо, как каменные устои кафедрального собора, «аки твердь земная». Не как *logos spermatikos*, не как вечно творящая и преобразовывающая Истина должно оно жить и действовать, нет, оно должно существовать в раз и навсегда определенном Кальвином изложении.

Этим требованием *de facto* вместо папской вводится новая, протестантская ортодоксия, и эту форму догматической диктатуры по праву назвали библиократией. Ибо теперь одна-единственная книга является законом Женевы — книга бога-законодателя, а Кальвин — ее проповедник, единственно призванный толкователь законов божьих. Он — законодатель (в смысле Библии Моисея), его власть над королями и над народом неоспорима. Не магистрат, не гражданское законодательство — исключительно лишь толкование Библии консисторией определяет теперь, что разрешено и что запрещено, и горе тому, кто осмелится противиться в чем бы то ни было этому принуждению, этому насилию! Каждый несогласный с диктатурой проповедника будет судим как бунтовщик, восставший против бога, и этот комментарий к Священному писанию будет написан вкратце кровью. [...]

* * *

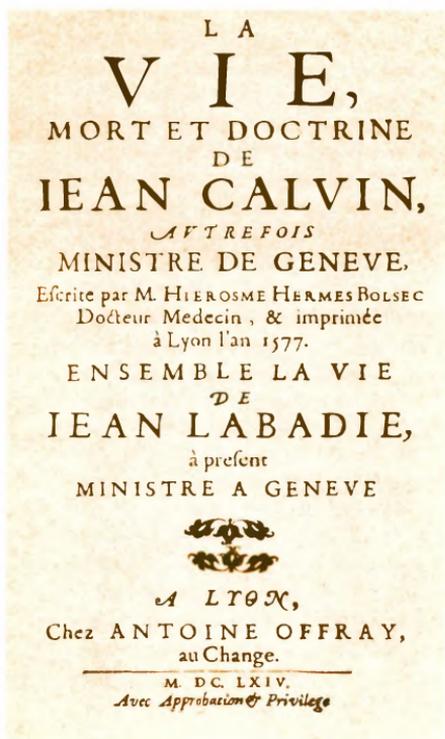
Все диктатуры начинаются с идеи. Но каждая идея приобретает форму и окраску человека, который ее осуществляет. И учение Кальвина, как творение духа, физиогномически неминуемо должно стать подобным своему создателю; и действительно, достаточно посмотреть на его портрет, чтобы уже наперед знать, что его учение неизмеримо более сурово, более мрачно и недоброжелательно, чем любая до сих пор существовавшая экзегеза, толкование христианства. Лицо Кальвина, подобное карсту, как некий одинокий, оторванный от жизни скалистый ландшафт, полно немой отрешенности: в нем ничего от человека, разве что — от бога. Все, что делает жизнь плодородной, обильной, цветущей,

теплой и чувственной, отсутствует в этом облике — недобром, безжалостном, аскетическом, лишенном признаков возраста. Все жестко и некрасиво, угловато и негармонично в этом мрачном продолговатом овале: узкий и суровый лоб, под которым, словно раскаленные угли, мерцают глубоко сидящие, утомленные бессонными ночами глаза, острый крючковатый нос, властно торчащий между впалыми щеками, узкий, словно ножом вырезанный рот — едва ли кто видел его смеющимся. Ни одного теплого пятна румянца нет на сухой, пепельной, увядшей коже; похоже, какая-то внутренняя лихорадка, словно вампир, высосала всю кровь щек, такие серые и впалые они, так болезненны и блеклы они, за исключением тех коротких мгновений, когда гнев воспламеняет их чахоточными пятнами. Конечно, длинная борода библейского пророка (все его ученики, рабски подражая ему, носят подобные бороды) не придает этому желчному лицу хотя бы видимость мужской силы. И эта борода, жидкая и скудная, не ниспадает могуче, окладисто, как у бога-отца, а торчит тонкими редкими пучками, словно тощий кустарник из трещин скалы.

Горячечным, сжигаемым своим духом, легко приходющим в экстаз выглядит Кальвин на портретах, и можно, пожалуй, посочувствовать этому очень усталому, находящемуся в состоянии крайнего возбуждения, разрываемому своей страстностью человеку; но внезапно ужасаешься, переведя взгляд ниже, увидев руки Кальвина, зловещие руки алчного человека, худые, костлявые, бесцветные руки, готовые холодно, железной хваткой, словно когтями, схватить все, что могут ухватить, и, уж коли захватили, сумеют яростно удержать своими жесткими, жадными суставами. Невозможно себе представить, чтобы эти костлявые руки когда-нибудь могли нежно держать цветок, ласкать теплое тело женщины, чтобы были хоть раз сердечно и весело протянуты навстречу другу; это руки беспощадного человека, и достаточно только на них посмотреть, чтобы почувствовать ту грандиозную и страшную силу властвования и удержания власти, исходящую от Кальвина на протяжении всей его жизни.

Какое мрачное, неприветливое, какое одинокое, отталкивающее лицо у Кальвина! Непостижимо, чтобы кто-либо захотел иметь в своей комнате на стене портрет этого неумолимо требующего и предостерегающего человека, сам воздух покажется тебе холодным, лишь почувствуешь на себе неотступно следящий, поразительно недоброжелательный взгляд. Представляется, что Кальвина лучше всех нарисовал бы Сурбаран² в испанско-фанатической манере, как он рисовал аскетов и анахоретов: темными красками на темном фоне, отрешенного от мира и живущего в пещере; перед ним

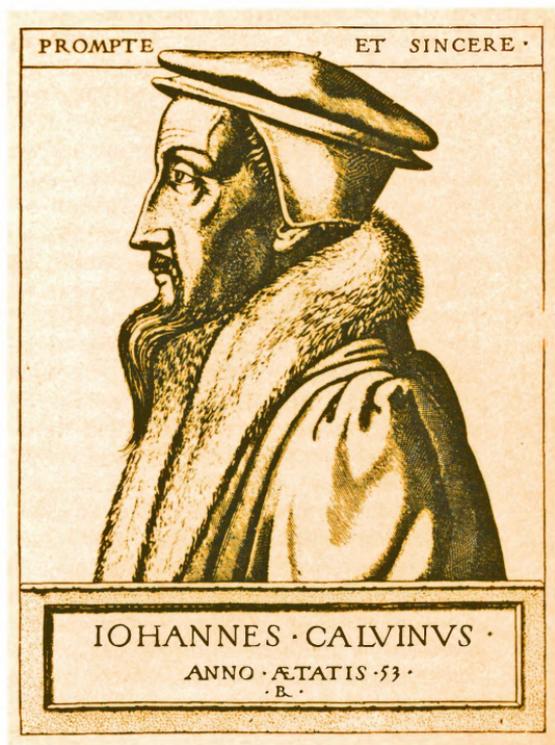
76 Библия, обязательно Библия, и, пожалуй, еще череп или крест — единственные символы духовной и священнической жизни; вокруг же — холодное и черное, надменное одиночество. Всю свою жизнь жил он в холодной атмосфере презрения к людям, атмосфере, изолирующей его от окружающего мира. С самой ранней юности он постоянно одевается в безжалостное черное. Черный берет на низком лбу, то ли клобук монаха, то ли шлем ландскнехта, черная широкая, спадающая до башмаков мантия — одеяние судьи, постоянно наказывающего людей, одеяние врача, который вечно должен излечивать их души, их плоть от язв. Все черное, всегда черное, краска суровости, краска смерти и беспощадности. Едва ли кто-нибудь видел Кальвина иначе, чем в вызывающем страхе священническом облачении, а он именно этого и хотел — чтобы его боялись, как слугу господнего, а не любили, как человека, как брата. Но жестокий ко всему миру, он был жесток и к себе самому. Всю жизнь держал он свое тело в строжайшем повиновении, лишь самое необходимое для питания, для отдыха позволял он себе, всегда ради духовного пренебрегая плотским. Три часа, самое большее —



Титульный лист сочинения
Иеронима Бользека
«Жизнь, смерть и учение
Жана Кальвина...», Лион,
1664

четыре, для сна ночью, единственная в день скромная еда, да и то принятая наспех, при раскрытой Библии. Никаких прогулок, никаких игр, никакой радости, ни минуты разрядки, никогда никаких удовольствий; в конечном счете фанатически самоотверженный, Кальвин существовал только для религии — думал, писал, проповедовал, но ни часу не жил для себя.

Эта абсолютная бесчувственность, эта старость с рождения наиболее характерны существу Кальвина; не удивительно, что именно он сам представлял собой наибольшую опасность для своего учения. Если другие реформаторы считают, что наиболее верно служат богу, с благодарностью принимая от него все дары жизни, если все они, от рождения здоровые люди, радуются своему здоровью и наслаждаются им, если Цвингли, священник, имеет внебрачного ребенка, а Лютер однажды смеялся создал новую поговорку: «Хозяйка не позволит, позволит служанка», если они лихо чревоугодничают и бражничают, у Кальвина все чувственное либо совершенно подавлено, либо сохранилась лишь слабая его тень, едва заметные следы. Как фанатический интеллектуалист, он



Жан Кальвин
Гравюра на меди.
Художник Рене Буавен

полностью проявляется в духе и слове; лишь логически ясное для него истинно, лишь упорядоченное понимает он и терпит, а не выдающееся, не исключительное. Ничто пьянящее — ни вино, ни женщины, ни искусство — его совершенно не интересует, ни от каких божьих даров земли этот фанатичный трезвенник не получает и не желает получать удовольствий. Когда в соответствии с требованиями Библии он решает жениться, сватовство происходит до комичного деловито и холодно, так, как если бы дело шло о приобретении книг или о покупке нового берета. Вместо того чтобы самому участвовать в смотринах, он поручает другу выбрать подходящую для него жену и при этом едва не попадает впросак: этому заклятому врагу чувственности сватают распущенную особу; только чудом не связывает он себя с ней на всю жизнь. Наконец этот человек, не верящий в радости жизни, женится на вдове обращенного им перекрещенца, но судьба не желает, чтобы он сделал кого-либо счастливым либо был счастлив сам. Зачатый с холодной страстью, их ребенок, с холодной кровью в жилах, оказывается, так и хочется сказать, естественно нежизнеспособным. Через несколько дней он умирает, вскоре умирает и жена³; для тридцатилетнего вдовца с супружескими обязанностями покончено навсегда. До своей смерти, двадцать лучших лет мужчины, этот добровольный аскет, преданный только духовному, только религиозному, только своему учению, не коснется ни одной женщины.

Но подобно духу телу человека надо дать возможность расцвести, проявить свои силы, и страшно наказывает оно того, кто его насилует. Любой орган человеческого тела инстинктивно стремится проявиться возможно полнее там, где ему предопределено природой. Кровь время от времени желает двигаться быстрее, сердце — горячей биться, легкие — расpirаться от ликования, мускулы — двигаться интенсивнее, сперма — извергнуться, и тот, кто сознательно и постоянно сдерживает эти жизненные проявления, противится им, очень скоро почувствует, что эти органы восстали против него. Страшна месть, которую тело приуготовило своему паразиту: если этот аскет, этот деспот не желает замечать свои нервы, не считается с ними, нервы, чтобы показать, что они существуют, доставляют ему невыносимые страдания. Вероятно, мало кого из людей интеллекта так мучили всевозможнейшие телесные недуги, как Кальвина. Бесперывно следует одна болезнь за другой, едва ли не в каждом письме Кальвин сообщает о новом вероломном нападении неожиданной болезни. То это мигрени, на дни бросающие его в постель, то боли в желудке, головные боли, геморрой, колики, простуды, нервные судороги и кровоизлияния, камни в печени и карбункулы, то это перемежа-

ющаяся лихорадка или лихорадочный озноб, ревматизм или заболевание мочевого пузыря. Постоянно должны быть возле него врачи, чтобы тот или иной орган этого нежного, непрочного тела не вызвал в нем жестоких страданий. И, тяжело вздыхая, Кальвин пишет однажды: «Моя жизнь подобна непрерывному умиранию!»

Но Кальвин девизом избрал себе слова: *per mediam disperationem progumpere convenit* (с растущими силами вырваться из глубин отчаяния); демоническая духовная энергия не позволяет ему ни часу оставаться без работы. Кальвин, несмотря на сопротивление тела, постоянно вновь и вновь доказывает телу нечеловеческую волю своего духа; если из-за лихорадки он не может добрести до кафедры, то, чтобы все же произнести проповедь, приказывает нести себя в церковь на носилках. Если он не в состоянии добраться до ратуши на заседание Совета, то члены магистрата проводят заседание в его доме. Лежит он в лихорадочном ознобе в постели под четырьмя-пятью одеялами, укутывающими сотрясаемое дрожью тело,—рядом сидят два или три служки, которым он попеременно диктует. Если едет он на день к друзьям в близлежащее поместье, чтобы подышать свежим воздухом, его сопровождают в повозке секретари, и, едва прибыв, он уже гонит посланцев назад в город. И вновь хватается за перо, вновь начинает работу. Невозможно представить себе Кальвина, этого демона прилежания, бездельным, всю свою жизнь работает он без единой передышки. Еще спят все дома города, еще не проснулось утро, но уже горит на Rue de Chancions лампа его рабочего стола, а потом, поздно за полночь, когда все кругом давно уже спит, все еще светит в его окне этот как бы вечный свет. Производительность Кальвина непостижима, можно подумывать, что работает он сразу четырьмя или пятью мозгами одновременно. И действительно, этот постоянно больной человек выполняет одновременно работу четырех или пяти человек разных специальностей. Собственно ему принадлежащая служба—быть проповедником церкви св. Петра—это всего лишь одна из принятых им на себя обязанностей, постепенно присваиваемых им, обуреваемым истерической жаждой власти; и хотя тома напечатанных проповедей, прочитанных им в этой церкви, уже заполняют целый стеной шкаф, и едва ли копиисту за всю его жизнь переписать их, это всего лишь малая часть всей работы Кальвина. Он—глава консистории, и та без его согласия не принимает ни одного решения, он—автор бесчисленных богословских и полемических книг, переводчик Библии, создатель университета и учредитель богословской семинарии, постоянный советник муниципалитета, офицер генерального штаба в религиозной войне, глава дипломатическо-

го корпуса и организатор протестантизма, он, этот «министр святого слова», управляет и руководит всеми министерствами своего теократического государства. Он проверяет сообщения проповедников из Франции, Шотландии, Англии и Голландии, организывает пропаганду своего учения за границей, а также книгопечатание и распространение книг в рамках секретной службы, своими щупальцами охватившей всю землю. Он диспутирует с другими протестантскими вождями, ведет переговоры с князьями и дипломатами. Ежедневно, чуть ли не ежечасно, посещают его люди из-за границы; ни один студент, ни один молодой богослов, проезжающий через Женеву, не преминет явиться к нему, чтобы получить у него совет или выказать ему свое уважение. Его дом подобен почтовой станции, сам же Кальвин является — в одном лице — постоянным справочным бюро по всем государственным и частным делам; вздыхая, пишет он однажды, что не может вспомнить, имел ли за свою службу в Женеве хотя бы пару часов, когда ему никто не мешал. От доверенных лиц из отдаленнейших стран, из Венгрии, Польши ежедневно приходят к нему письма; одновременно — священнический сан обязывает его к этому — он дает советы бесчисленным людям, обращающимся к нему за помощью. Вот эмигрант прибыл в Женеву и хочет привезти сюда свою семью; Кальвин собирает деньги, ищет ему жилье и средства к существованию. Вот кто-то собирается жениться, другой — развестись: обе дороги ведут к Кальвину, ни одно религиозное событие в Женеве не может совершиться без его согласия, без его совета. Но если бы эта страсть к автократии ограничилась только сферой религиозных вопросов! Нет, для такого человека, как Кальвин, в его жажде власти границы между религиозным и земным не существуют; как теократ, он все земное желает подчинить божественному, духовному. Тяжело кладет он свою жестокую руку на все в городе: едва ли найдется день, чтобы в протоколе муниципалитета отсутствовало замечание: «Здесь следует испросить разрешения у Maitre Кальвина». Ничего не пропустит, ничего не просмотрит это неусыпное око, и непрерывно работающий мозг был бы достоин удивления и восхищения как чудо, если б этот феномен не таил в себе чудовищные опасности. Ведь добровольно и полностью отрехнувшийся от радостей жизни, такой аскет духа пожелает это отречение от радостей жизни возвести в норму, в закон и для других, будет пытаться, что для него совершенно естественно, навязывать другим то, что им несвойственно. [...] Тот, кто сам полно и радостно не переживает человеческое, всегда будет бесчеловечным к людям.

Но надзор и безжалостная строгость — это фундамент той церкви, которую строит Кальвин. По воззрениям Каль-

вина, человек ни в коем случае не имеет права шагать по нашей земле с открытым взглядом и ясной совестью, нет, ему надлежит постоянно пребывать в «страхе божьем», быть подавленным, покорно согбенным под тяжестью чувства своей неизбывной ущербности. Пуританская мораль Кальвина — и в этом ее сущность — приравняет к «греху» понятие веселого и естественного наслаждения и все, что украшает и оживляет нашу земную жизнь, все, что хочет поднять душу, облегчить ее, освободить ее от напряженности; Кальвин отвергает, осуждает искусство как проявление тщеславия, как неприятные излишества. Даже в религиозную область, с незапамятных времен связанную с мистическим, Кальвин вносит свою идеологическую рационалистичность; из церкви, из культа изымается без исключения все, что воздействует на чувства, что может смягчить, успокоить их; по его представлениям, истинно верующий должен приблизиться к божественному началу не в облаках сладкого фимиама, не сбитым с толку музыкой, не обольщенным прелестью, казалось бы, прекрасных картин и скульптур (благочестивых с виду, но богохульных по сути своей). Истина лишь в ясности, лишь во вразумляющем слове божьей уверенности. Поэтому прочь все «преклонения перед кумирами», прочь из церкви все иконы, картины и статуи, прочь с престола господнего красочные орнаменты, трепники и дарохранительницы — роскошь богу не нужна. Долой весь расточительный дурман души, никакой музыки, никакой игры на органе во время богослужения! Даже церковные колокола в Женеве отныне должны молчать: не мертвой медью истинно верующему следует напоминать о его долге. Не внешним, показным поддерживается вера, не жертвами и дарами, только одним лишь глубоким, внутренним послушанием, поэтому никаких больше торжественных месс, никаких обрядов в церкви, долой все символы, все хитрые приемы, покончить надо с торжественностью, с празднествами! Единым махом вычеркиваются из календаря праздники. Отменяются пасха и рождество, которые праздновались еще в римских катакомбах, отменяются дни святых, запрещены давние обычаи: бог Кальвина не желает, чтобы его славил или любили, он требует одного — чтобы его боялись. Заносчивость это будет называться, если человек в экстазе, в избытке чувств пытается пробиться к богу, вместо того чтобы издали в смиренном благоговении служить ему. И во всем этом — глубочайший смысл переоценки ценностей Кальвина: для того, чтобы возможно выше поднять над миром божественное, необходимо неизмеримо принизить земное; для того, чтобы идея бога поднялась на недостижимую высоту, Кальвин унижает идею человечности, лишает ее всяческих прав. Никогда этот мизантроп-реформатор не видит в людях, да и

82 не пытается увидеть, ничего иного, кроме неисправимо распушенной толпы грешников, и, словно монах, всю свою жизнь будет возмущаться великолепно-безудержными, бьющими из тысяч источников радостями нашего мира, страшиться их. Как непостижимо решение божье — вновь и вновь стонет Кальвин — создать эти существа такими несовершенными, такими аморальными, постоянно склоняющимися к порокам, неспособными понять слово божье, нетерпеливо стремящимися предаться грехам! Каждый раз его охватывает ужас, когда он смотрит на своих ближних, и никогда, вероятно, ни один великий основатель религиозного учения не унизил так сильно достоинство человека; *bête indomptable et feroce** и еще хуже — *une ordure*** называет он его и буквально пишет в своей «*Institution Chrétienne*»: «Стоит лишь посмотреть на человека, на его естественные данные, и ты обнаружишь, что в нем от головы до пяток нет ни малейших следов добра. А то, что достойно хоть какой-то похвалы, исходит от милости божьей... Вся наша справедливость есть несправедливость, все наши заслуги — дерьмо, наша слава — позор. И лучшие дела, что мы свершаем, всегда заражены и порочны из-за скверны плоти и смешаны с грязью».

Тот, кто в философском смысле считает человека столь неудачным творением бога, естественно, как богослов и политик должен полагать, что человеку, такому чудовищу, бог не даст никакой свободы, никакой самостоятельности. Такое испорченное и опасное своей жадной жизни существо следует безжалостно брать под опеку, ибо, «если предоставить человека самому себе, душа его будет способна только на зло». Раз и навсегда следует сломать позвоночник высокомерию детей Адама, прежде чем они предъявят какие-либо претензии богу, и чем жестче сделать это, чем сильнее подчинить себе людей, обуздать их, тем для них же это будет лучше. Никакой свободы человеку, так как он всегда будет злоупотреблять ею! Лишь насилем следует принижать его перед величием божим! Лишь отрезвлять надо его, высокомерного, запугивать до тех пор, пока он без сопротивления не включится в набожное, покорное стадо, пока все строптивое без следа не растворится во всеобщем порядке, индивидуум — в массе!

Для этого драконовского лишения прав личности, для этого вандалского ограбления индивидуальности ради общности Кальвин применяет особую методику, пресловутый надзор, церковный «надзор». И более жестокой узды человечество, пожалуй, до наших дней не знало. С первого же часа этот гениальный организатор загоняет свое «стадо», свою

* зверь неукротимый и свирепый (франц.).

** мразь (франц.).

«общину» в сеть колючей проволоки параграфов и запретов, в так называемые «Ордонансы»⁴, и одновременно создает свою собственную службу, предназначенную контролировать проведение террора нравов, «консистирию», задача которой первоначально была сформулирована крайне неопределенно: «проверять общину, чтобы бог почитался чисто». Однако сфера влияния этого инспектора нравов лишь с виду ограничивается религиозной жизнью. Из-за неразрывной связи светского и мировоззренческого в предельно авторитарных взглядах Кальвина на государство все самое что ни на есть частные проявления жизни автоматически подпадают под контроль властей; ищейкам консистирии, *апсиенс**, ясно и недвусмысленно предписано «следить за жизнью каждого бюргера». Ничто не должно быть упущено ими, «проверяться должны не только сказанные слова, но также и мнения, и взгляды».

Само собой разумеется, с того дня, как в Женеве учреждается за горожанами такой всеохватывающий контроль, личной жизни у них более уже нет. Этим контролем Кальвин сразу же обогнал католическую инквизицию, которая направляла своих шпионов и соглядатаев для подготовки «дела» лишь по уведомлению с мест или по доносам. В Женеве же, поскольку человек в соответствии с мировоззренческой системой Кальвина постоянно хочет совершить зло, подозревается в греховности, должен находиться под наблюдением каждый. С возвращением Кальвина в Женеву во всех домах города двери сразу же раскрылись, все стены оказались прозрачными. В любой момент, днем и ночью, может жестко ударить в ворота молоток и заявиться «в гости» член духовной полиции, и горожанин не имеет права этому препятствовать. Богатые и бедные, простолудины и самые уважаемые в Женеве горожане должны не реже одного раза в месяц держать ответ перед этими профессиональными шпииками полиции нравов. Часами — ибо в «Ордонансе» сказано: «Следствие надобно вести не спеша, не жалея времени» — седые, заслуженные, проверенные люди должны, словно школяры, подвергаться допросу, знают ли они наизусть молитвы, или объяснять, почему пропустили такую-то проповедь господина Кальвина. Но подобными экзаменами по катехизису и нотацией визит никогда не заканчивается. Эта полиция нравов вмешивается во все. Она проверяет женскую одежду, не слишком ли та коротка или длинна, нет ли на ней рюшей больше, чем это положено, не слишком ли глубоки вырезы; она ощупывает волосы, не переусердствовала ли их обладательница, создавая себе прическу; она пересчитывает кольца, надетые на пальцы,

* старшим (франц.).

количество башмаков в шкафу. Из гардеробной гость переходит на кухню, смотрит, нет ли тут чего-нибудь недозволенного — а разрешены только суп да кусок мяса, — не припрятаны ли какие-либо сласти или мармелад. И дальше по дому шествует набожный полицейский. Он проверяет, нет ли на книжных полках книжки без штампа цензуры консистории, он перерывает лари в поисках утаенных икон или четок. Слуг выспрашивают о хозяевах, детей — о родителях. Одновременно «гость» выглядывает во двор, не поет ли там кто-нибудь из домочадцев или слуг нечестивую, мирскую песню, не играет ли что-нибудь на музыкальном инструменте или же, еще того хуже, не предается ли чертовскому пороку хорошего настроения. Ибо отныне в Женеве поставлены под запрет все виды удовольствий, любое *paillardise* *, а непрекращающиеся облавы держат горожан в постоянном страхе, и горе тому, кто попадется на том, что после работы разок зашел в таверну, чтобы выпить там стаканчик вина, или вдруг обнаружится, что он получает удовольствие от игры в карты или в кости. День за днем идет эта охота за человеком, и даже в воскресенье шпики полиции не имеют покоя. Вновь проходят они по всем улицам, вновь стучат в каждую дверь, чтобы убедиться, что ни один ленивый или равнодушный в вопросах веры человек не задержался, не нежится еще в постели, вместо того чтобы получать духовное наслаждение от проповеди господина Кальвина. У церкви между тем стоят другие соглядатаи, готовые донести на каждого, кто вошел в божий дом позже, чем положено, или покинул его раньше, чем следует. Вездесущие, неустанно работают эти официальные блюстители нравов; по вечерам прочесывают все укромные беседки на берегу Роны, проверяя, не милуется ли в какой из них греховная парочка, в гостиницах рожются в постелях и баулах проезжающих. Они вскрывают каждое письмо, пришедшее в Женеву или отправляемое из нее, и далеко за пределы городских стен распространяется прекрасно организованная бдительность консистории. Оплачиваемые ею шпионы сидят всюду — в дорожных экипажах, в лодках, на кораблях, на иностранных рынках и в гостиницах соседних городов; каждое слово, сказанное в Лионе или в Париже человеком, недовольным порядками, установленными Кальвином, непременно сообщается в консисторию. Но эту невыносимую слежку еще более невыносимой делает то, что вскоре к находящимся на службе оплачиваемым шпиикам присоединяются неоплачиваемые, незваные, ибо всюду, где государство держит своих граждан в состоянии террора, возникают крайне благоприятные условия для отвратительного цветения добровольного наущ-

* распутство (франц.).

ничества. Там, где принципиально разрешен и даже считается желательным донос, доносчиками из страха становятся даже в общем-то порядочные люди: лишь для того чтобы отвести от себя подозрение, каждый горожанин косится на своего соседа и спешит ради своей шкуры опередить его доносом. *Zelo della paura* (рвение от страха) нетерпеливо бежит впереди всех платных доносчиков. И через несколько лет консистория могла бы, собственно, прекратить всякое наблюдение, так как все горожане стали добровольными доносчиками. Дни и ночи несется мутный поток доносов, и мельничное колесо духовной инквизиции находится в непрерывном вращении.

Как же можно чувствовать себя спокойно при этом постоянном терроре нравственности, даже если никаких нарушений божьих заповедей и нет, ведь Кальвином запрещено по существу все, что делает жизнь радостной и значащей. Запрещены театры, увеселения, народные празднества, танцы и игры в любой форме; даже такой невинный спорт, как катание на коньках, вызывает у Кальвина желчные колики. Запрещены все другие, кроме чрезвычайно скромных, едва ли не монашеских, одеяния, запрещено, следовательно, портным делать без разрешения магистрата какую-либо новую одежду, девушкам до пятнадцати лет запрещены шелковые платья, а после пятнадцати лет — бархатные. Запрещены платья с золотым и серебряным шитьем, золотые позументы, пуговицы и пряжки, как вообще любое использование золота и украшений из драгоценных металлов. Мужчинам запрещено ношение длинных волос, расчесанных на пробор, женщинам — любое взбивание волос, прическа с завивкой, запрещены кружевные чепчики, перчатки, рюши и ботинки с разрезом. Запрещено пользование паланкинами и *voitures goulantes**. Запрещены семейные праздники более чем на двадцать человек, запрещено при крещении ребенка, при обручении большее, чем определенное, количество перемен за столом, а тем более запрещено подавать какие-либо сладости, например варенье, компоты. Запрещено пить другое вино, кроме красного вина местного изготовления, запрещено пить за чье-либо здоровье, запрещено употреблять дичь, птицу, паштеты. Запрещено супругам делать подарки при их свадьбе, а через шесть месяцев после свадьбы супруги не имеют права дарить что-либо друг другу. Само собой разумеется, запрещены всякие внесупружеские связи, и к обрученным в этом нет никакого снисхождения. Запрещено жителям города переступать порог гостиниц, запрещено хозяевам гостиниц, постоялых дворов, трактиров подавать приезжим еду и питье к столу, прежде чем те

* экипаж (франц.).

не прочитают соответствующую молитву, а кроме того, им строго вменено в обязанность шпионить за своими постояльцами и клиентами, *diligement** следить за каждым подозрительным словом или поступком. Запрещено давать в печать книгу без разрешения церкви, запрещено писать за границу, запрещено искусство в любых его формах, запрещены иконы и скульптуры, запрещена музыка. Даже при благочестивом пении псалмов инструкции приказывают «внимательно следить» за тем, чтобы обращалось внимание не на мелодию, а на дух и смысл слов, ибо «только живым словом следует славить бога». Отныне при крещении детей некогда свободные горожане лишены права свободного выбора имени. Запрещены уже столетия бытующие имена Клод и Амадей, так как их в Библии нет, но зато навязываются библейские имена, такие, как Исаак и Адам. Запрещено читать молитву «Отче наш» на латинском, запрещено празднование пасхи и рождества, запрещено все, что празднично разнообразит серую будничность существования, запрещена, само собой разумеется, любая тень, любое мерцание духовной свободы в печатном, в устном слове. И запрещена — как главное преступление, самое большое из тех, что могут быть свершены, — любая критика диктатуры Кальвина: ясно и недвусмысленно, под барабанный бой бюргеры оповещены, что «говорить об общественных делах можно лишь в Совете».

Запрещено, запрещено, запрещено — ужасный ритм. И, ошеломленный, спрашиваешь себя: что же после стольких запретов все-таки разрешено женеvским горожанам? Немного. Разрешено жить и умирать, работать и слушаться, ходить в церковь. Впрочем, последнее не только разрешено, а предписано законом, и неисполнение этого предписания жестоко карается. Горе бюргеру, который пропустит проповеди своего приходского священника — две в воскресенье, три на неделе — и назидательный час для детей! Ни разу за весь божий день не облегчается ярмо принуждения, неумолим круговорот долга, долга, долга. После дневных трудов ради хлеба насущного — служение богу: неделя — для работы, воскресенье — для церкви; так и только так можно убить сатану в человеке и, естественно, тем самым любую свободу и радость жизни.

* * *

И невольно с удивлением спрашиваешь: как же могло случиться, чтобы республиканский город, на протяжении десятилетий живший гельветической⁵ свободой, вынес подобную Савонаролову диктатуру, как мог южный веселый народ терпеть подобное удушение радостей жизни? Как смог один-единственный аскет-интеллектуал лишить радости бы-

* старательно (франц.).

тия тысячи и тысячи? [...] Не следует заблуждаться: насилие, которое ничего не страшится, которое высмеивает как слабость любое проявление гуманности,—ужасающая сила. Систематически продумываемый, деспотически проводимый террор парализует волю единиц, ослабляет, подтачивает любую общность. Словно изнуряющая болезнь, он вгрызается в души, и—в этом его сокровенная тайна—всеобщая трудность вскоре становится ему помощником и укрывателем, потому что, если каждый чувствует себя подозреваемым, он начинает подозревать и других, а уstraшенные из страха еще с большим рвением стремятся следовать запретам и приказам своих тиранов еще до того, как эти запреты и приказы обнародованы. Организованный режим ужаса всегда творит чудеса; а Кальвин, если речь идет о его авторитете, никогда не колеблется вновь и вновь свершить это чудо: едва ли кто-либо из духовных деспотов превзошел его в безжалостности, а присущую ему жестокость не оправдать тем, что она—как и все свойства Кальвина—была по существу лишь продуктом его идеологии. Лично этот человек духа, человек нервов, интеллигент, конечно же, испытывал чрезвычайное отвращение к крови и не был способен—как утверждает сам—наблюдать какие бы то ни было зверства, он никогда не мог присутствовать ни на одном истязании или сожжении «еретика» в Женеве. Но в этом-то и заключается страшная вина теоретика: не имея крепких нервов, которые позволили бы ему самому привести в исполнение казнь или хотя бы присутствовать на ней [...], он, едва почувствовав, что внутренне его защитит его идея, его теория, его система, не задумываясь вынесет сотни смертных приговоров. В системе Кальвина жестокость и безжалостность к любому «грешнику»—высший закон; в соответствии со своим мировоззрением Кальвин полагает, что именно ему предопределено богом проводить в жизнь этот закон, и поэтому он обязан, даже вопреки своей собственной природе, быть безжалостным; и вот он непрерывно, систематическим самовоспитанием ужесточает эту свою безжалостность, он словно в высоком искусстве «упражняет» себя в нетерпимости: «Я упражняюсь в суровости при борьбе со всевозможными пороками». Следует признать, что этот человек с железной волей весьма преуспел в своих упражнениях. Часто говорит он, что, если бы перед ним стояла альтернатива—предать мучениям невинного или дать одному-единственному грешнику ускользнуть от божьего суда, он предпочел бы первое, а когда однажды одна из многих казней по неопытности палача затянулась и причинила казнимому непредусмотренные мучения, Кальвин, как бы извиняясь, пишет Фарело: «Наверняка не без указания бога произошло то, что приговоренному пришлось претерпеть столько страданий». Когда дело касает-

88 ся «божьей чести», лучше пусть будет жестче, чем мягче, аргументирует Кальвин. Только непрерывными наказаниями можно создать нравственное человечество.

Нетрудно представить себе, как жестоко в этом еще средневековом мире внедрялась в жизнь идея о неумолимом Христе, о боге, постоянно «оберегающем свою честь». Уже в первые пять лет господства Кальвина в относительно небольшом городе тринадцать человек повешено, десять обезглавлено, тридцать пять сожжено, кроме того, семьдесят шесть человек изгнаны, не говоря уже о многих успевших бежать от террора. Очень скоро переполняются все тюрьмы «нового Иерусалима», и, как вынужден сообщить Совету смотритель тюрем магистрата, он не может принять более ни одного арестованного. Ужасным истязаниям подвергают не только приговоренных, но и просто подозреваемых, иные обвиняемые подвалам пыток предпочитают самоубийство; наконец Совет вынужден выпустить даже распоряжение: «дабы избежать происшествия подобного рода», арестованных надлежит денно и нощно содержать в ручных кандалах. Никогда, однако, не услышишь слова Кальвина, требующего приостановить подобные ужасы; наоборот, по его настоятельному совету кроме тисков для пальцев и приспособления для растяжки сухожилий при мучительных допросах начинают применять также *chauffement des pieds* — пытку поджариванием подошв. Ужасна цена, которую город платит за «порядок и воспитание», никогда за всю свою историю Женева не знала столько смертных приговоров, столько наказаний, пыток и изгнаний, сколько принес ей Кальвин, ставший во славу божью владельцем города. [...]

Однако не этими варварскими, кровавыми приговорами Кальвин сломал чувство свободы женецев; собственно разрушительную работу выполнили систематические мучения и непрерывные запугивания. На первый взгляд кажется, пожалуй, смехотворной та мелочность, с которой «учение» Кальвина вмешивается в быт женецев. Но изощренность этого метода переоценить трудно. Сеть запретов Кальвин предусмотрительно сплел такой мелкоючеистой, что проскользнуть через нее, остаться свободным было невозможно: запреты он с умыслом распространил на мелочи, на безделицы, чтобы каждый беспрепятственно чувствовал себя виновным и находился в непрерывном страхе перед всемогущим, всезнающим авторитетом. Чем больше капканов расставлено справа и слева на каждодневном пути человека, тем труднее ему свободно и смело идти, и вот вскоре в Женеве никто уже не чувствует себя в безопасности, так как консистория может объявить грехом даже любой беззаботный вздох. Стоит полистать протоколы Совета, чтобы убедиться в изощренности этого метода устрашения. Горожанин при крещении

ребенка усмехнулся—трое суток тюрьмы. Другой, сморенный жарой, уснул во время проповеди—тюрьма. Рабочие за завтраком ели паштет—трое суток на хлебе и воде. Два горожанина играли в кегли—тюрьма. Двое других разыгрывали в кости четвертушку вина—тюрьма. Один человек не желал дать ребенку имя Авраам—тюрьма. Слепой скрипач заиграл танцевальную мелодию—изгнать из города. Другой хвалил перевод Библии, сделанный Кастильо,—изгнать из города. Девушка каталась на коньках, женщина бросилась на гроб своего мужа, горожанин во время богослужения предложил соседу понюшку табаку—приглашение в консисторию, строгое предупреждение и покаяние. И далее, и далее, и без конца. Веселые, жизнерадостные люди в день богоявления запекли в праздничный пирог бобовое зерно—двадцать четыре часа на хлебе и воде. Горожанин сказал Monsieur Кальвин вместо Maitre Кальвин, два крестьянина, возвращаясь из церкви, говорили, как это издавна принято, о своих делах—тюрьма, тюрьма, тюрьма! Человек играл в карты—выставить с колодой карт на шею к позорному столбу. Другой задорно пел на улице—изгнание, «пусть поет вне города». Двое матросов подрались, никого при этом не убив,—казнить. Три несовершеннолетних мальчика, застигнутые при свершении безнравственных поступков, сначала были приговорены к сожжению на костре, но потом помилованы—они должны были публично стоять перед горящим костром. Наиболее ужасно наказываются, естественно, любые сомнения в государственной и духовной непогрешимости Кальвина. Человека, открыто высказавшегося против Кальвинова учения о преопределении, бичевали до крови на всех перекрестках города, затем изгнали. Прежде чем изгнать из города типографа, который во хмелю ругал Кальвина, ему раскаленным железом просверлили язык. Жака Груэ⁶ пытали и казнили лишь за то, что он обозвал Кальвина лицемером. Любой проступок, даже самый ничтожный, обязательно записывается в актах консистории, чтобы о частной жизни каждого бюргера всегда все было известно; полиции нравов Кальвина, так же как и ему самому, чужды такие понятия, как «забыть» или «простить».

Такой постоянно действующий террор неизбежно должен сломить внутренние силы и достоинство как отдельных людей, так и всего народа. Если в каком-нибудь государстве человек постоянно находится в состоянии ожидания, если его непрерывно допрашивают, обыскивают, порицают, если он постоянно чувствует на себе взгляд соглядатая, следящего за любым его движением, подслушивающего каждое его слово,—соглядатая, который в любой час суток может неожиданно вломиться к нему в дом с «визитацией», с обыском, его нервы постепенно сдают, возникает

массовый страх, заражающий даже самых отважных. Любая воля к самоутверждению в такой бесполезной борьбе неизбежно парализуется, и вследствие своей системы воздействия, вследствие этого «надзора» город Женева, действительно, вскоре становится таким, каким желал его видеть Кальвин,—богобоязненным, запуганным и прозаичным, лишенным воли к сопротивлению, рабски подчиненным одной-единственной воле—воле Кальвина.

* * *

Несколько лет такого порядка достаточно, чтоб Женева начала меняться. Как бы серая завеса ложится на некогда свободный и веселый город. Пестрые одежды исчезли, краски поблекли, колокола перестали звонить, на улицах не слышно бодрящих песенок, нищим, без каких-либо украшений, словно кальвинистская церковь, становится каждый дом. Гостиницы, постоялые дворы приходят в упадок с тех пор, как скрипка перестала наигрывать танцевальную мелодию, с тех пор, как исчезли веселые удары кеглей, как пропал легкий перестук костей на столах. Танцевальные площадки пустуют, темные аллеи, излюбленные места влюбленных парочек, заброшены; лишь голая, лишенная икон, картин, скульптур церковь собирает по воскресеньям людей—серьезное, молчаливое сообщество. Другим, суровым и мрачным, как лицо Кальвина, стал облик города, и постепенно все горожане из страха или из неосознанной приспособляемости приобретают суровые формы города, его мрачную замкнутость. Они уже не ходят более по улицам легко, их взгляды теряют человеческую теплоту из боязни, что сердечность может быть неправильно понята как проявление чувственности. Из страха перед человеком, у которого никогда не бывает хорошего настроения, они разучились быть естественными. Даже в тесном кругу они привыкли шептаться, а не говорить, ведь за дверьми могут подслушивать слуги и служанки, во всем чувствуется уже ставший хроническим страх перед невидимыми соглядатаями, ищейками. Только бы остаться незаметным. Только бы не выделяться ни одеждой, ни поспешным, необдуманном словом, ни веселым лицом! Лишь бы не оказаться под подозрением, только бы забыли тебя! Женевцы предпочитают сидеть дома, засов и стены в какой-то степени защищают их здесь от посторонних взглядов, от каких-либо подозрений. Но тотчас же в страхе отскакивают от окна и бледнеют, если случайно видят идущим по улице кого-нибудь из людей консистории: кто знает, что сообщил или сказал о них сосед? Если же им надо выйти на улицу, то идут они крадучись, с потупленным взором, молча, в своих темных плащах, как если бы шли они к проповеди или на похороны. Даже дети, выросшие под

этим новым суровым надзором, крепко припугнутые в «назидательные часы», уже не играют более, непринужденно и громко переключаясь, и они тоже как бы склонились в страхе перед невидимым ударом; словно цветы в холодной тени, а не на солнце растут они, запуганные, лишённые присущей детям веселости.

Ритм этого города, холодный и скучный, однотонный, упорядоченный и надежный, не прерываемый ни праздниками, ни какими-либо торжествами, регулярен, как ритм часового механизма. Чужому, только что прибывшему в город человеку может показаться, что в городе траур: так сумрачно и холодно глядят люди, такие немые, безрадостные улицы, так несправаднична и уныла духовная атмосфера. Воспитание и дисциплина — это, конечно, великолепно; но жестокое соблюдение мер и воздержание, навязанные Кальвином городу, куплены страшной ценой — огромными потерями всех священных сил, всегда возникающих именно от избытка, от чрезмерности. И хотя потом история этого города насчитает несметное количество набожных, богобоязненных бюргеров, прилежных богословов и серьезных ученых, но на протяжении двухсот лет после Кальвина Женева не подарит планете ни одного художника, ни одного музыканта, ни одного деятеля искусств с мировым именем. Необычайное принесено в жертву ординарному, творческая свобода — беспрекословному низкопоклонству. И когда, наконец, вновь в этом городе родится художник, то вся его жизнь будет бунтом против насилия над личностью; лишь в своем самом независимом гражданине — в Жан Жаке Руссо Женева полностью освободится от Кальвина.



Бояться диктатора совсем не означает любить его, и из того, что кто-либо внешне подчиняется террору, далеко еще не следует, что он признает его права. Правда, в первые месяцы после возвращения Кальвина в город восхищение им среди бюргеров и служащих магистрата было еще единодушным. Похоже, все группировки были за него, как если бы все эти люди были одного убеждения; большинство поначалу восторженно поддавалось опьянению унификацией. Но очень скоро начинается отрезвление. Само собой разумеется, все те, кого Кальвин призвал к порядку, тайно надеялись, что, как только «учение» восторжествует, этот ужасный диктатор ослабит узду драконовских мер сверхморальности. Вместо этого они видят, что вожжи день ото дня натягиваются все туже и туже. Ни разу не слышат они ни слова благодарности за те чудовищные жертвы личной свободой и безмятежным настроением, с горечью должны они слушать с церковной кафедры такие, например, слова: «Для того, чтобы в этом прогнившем до основания городе воцарились, наконец, нравственность и пристойность, следует вздернуть семь-восемь сотен парней». Лишь теперь обнаруживают женеццы, что вместо целителя духа, которого они так настойчиво вымаливали себе, они призвали в стены своего города тюремщика их свободы, а становящиеся все более суровыми, все более жестокими меры принуждения возмущают даже самых верных приверженцев Кальвина.



Прошло всего несколько месяцев, и в Женеве вновь зреет недовольство Кальвином: издали, на расстоянии, его «учение» представлялось, словно мираж, неизмеримо соблазнительнее, чем оказалось вблизи в своей императивной реализации. Поблекли романтические краски, и те, кто еще вчера ликовал, начинают тихо вздыхать. Но для того, чтобы нимб вокруг головы диктатора поблек, каждый раз требуется видимый и доступный пониманию всех повод, и этот повод вскоре появляется. В человечности людей консистории женеvцы впервые начинают сомневаться в ту ужасную эпидемию чумы, которая свирепствовала в городе с 1542 по 1545 год. Те самые проповедники, которые обычно под угрозой самого сурового наказания требовали, чтобы каждый больной в первые же три дня вызывал к своей постели священника, едва один из священников заразился и умер, оставили больных умирать в чумных бараках без духовного утешения. Умоляюще просит магистрат кого-нибудь из консистории «приободрить бедных больных, лежащих в чумных бараках, утешить их». Однако никто из членов консистории не решается вступить в чумной барак; правда, это готов взять на себя школьный врач Каstellio, но он лишен таких полномочий, так как не является членом консистории. Сам Кальвин, которого его коллеги считают «незаменимым», открыто утверждает, что нельзя подвергать опасности всю церковь ради того, чтобы помочь лишь ее части. Да и другие

94 проповедники, которые не высказываются по этому вопросу так же решительно, предпочитают переждать опасность в отдалении. Напрасными остаются все обращения Совета к трусливым духовным пастырям: один из них даже заявляет без обиняков, что «они предпочли бы виселицу чумному бараку»; и 5 января 1543 года бюргерам становится известным нечто поразительное: все проповедники реформированной церкви города во главе с Кальвином открыто и постыдно признаются на заседании Совета, что никто из них не имеет мужества войти в чумной барак, хотя они и понимают, что их долг — служить богу и его святой церкви равно как в хорошие, так и в трудные дни.

Ничто так убеждающе не действует на народ, как личное мужество вождя. В Марселе, в Вене, во многих других городах сотни лет свято чтится память героических священников, приносивших во время больших эпидемий утешение в больницы. Подобный героизм своих вождей народ не забывает никогда, но народ также не забывает и личное малодушие своих пастырей в решающие часы. С жестокой издевкой наблюдают и высмеивают теперь женеvцы поведение тех самых священников, которые с кафедры патетически требовали от прихожан величайших жертв, сами же оказались совершенно не готовыми к этим жертвам, и последующий постыдный спектакль, который разыгрывается, чтобы несколько уменьшить всеобщее возмущение, не достигает своей цели. По приказу Совета хватают нескольких нищих и подвергают их ужасным пыткам до тех пор, пока те не наговаривают на себя и не подтверждают, что именно они принесли в город чуму, обмазав дверные ручки домов мазью, изготовленной из экскрементов черта. Но Кальвин, постоянно обращенный своими мыслями в прошлое, не отвергает, как следовало бы поступить гуманисту, с презрением бабы сплетни, а, подтверждая их, выказывает себя убежденным защитником средневековых заблуждений. Впрочем, еще больше, чем открыто высказанное убеждение, что *semours de peste* * произошло именно так, его авторитету вредит высказанное им с кафедры утверждение, что якобы некий человек за свое безбожие был среди бела дня вытащен чертом из постели и брошен в Рону; впервые Кальвин чувствует, что некоторые его слушатели даже не пытаются скрыть свое ироническое отношение к этой суеверной побасенке.

Во всяком случае очевидно, что во время эпидемии чумы была утрачена большая часть той веры в непогрешимость, которая для любого диктатора является неотъемлемым элементом его психологической власти. Наблюдается

* распространение заразы (франц.).

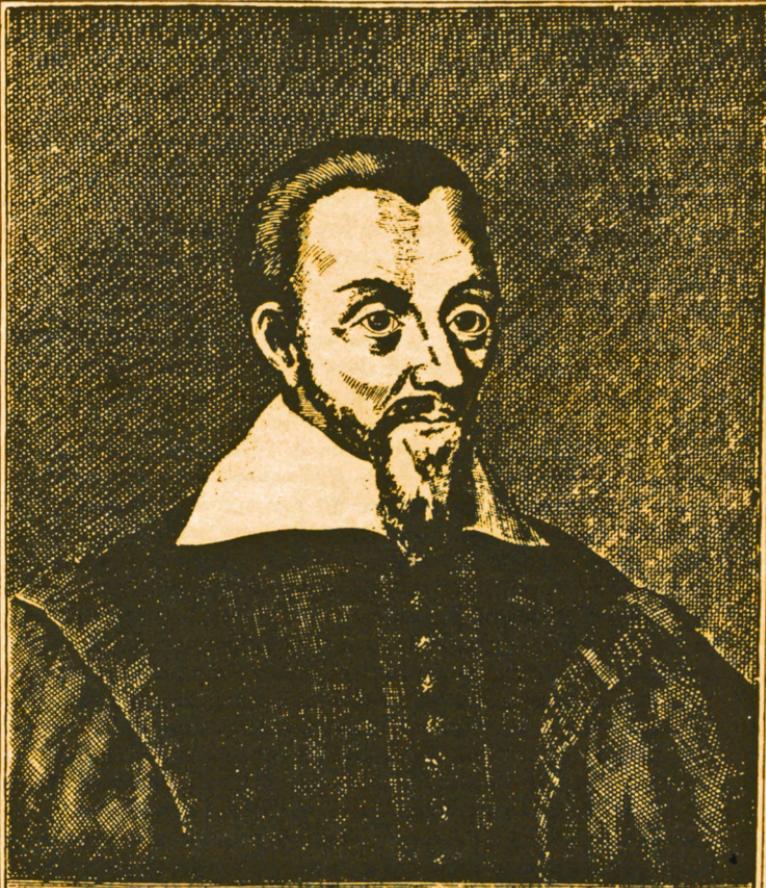
несомненное отрезвление: сильнее и во все более широких кругах распространяется сопротивление. Но к счастью для Кальвина, сопротивление лишь распространяется, а не концентрируется. Временное преимущество любой диктатуры, позволяющее ей существовать, даже если она находится в меньшинстве, определяется тем, что ее военная мощь выступает организованно, сплоченно, тогда как противная сторона, идущая с разных сторон и действующая по самым разным, отличающимся друг от друга мотивам, никогда не соберется в действенную ударную силу, а если и соберется, то произойдет это гораздо позже. То, что многие или очень многие из народа внутренне противятся диктатуре, не дает эффекта до тех пор, пока они не начнут действовать в каком-то однородном плане, в некоей единой замкнутой структуре. Поэтому-то между первым потрясением авторитета диктатора и его свержением часто лежит долгий и затяжной путь. Кальвин, его консистория, его проповедники и его приверженцы из эмигрантов представляют собой монолит воли, сплоченную, целеустремленную силу. Напротив, к противникам его примыкают люди из самых разных сфер и сословий и, следовательно, друг с другом внутренне не связаны. Тут и бывшие католики, еще тайно привязанные к своей старой вере, и пьяницы, у которых закрыли кабаки, и женщины, которым запрещено наряжаться, и старые женевские патриции, озлобленные тем, что люди, едва появившись в городе и не имея ни кола ни двора,—эмигранты—тотчас же заняли все должностные места; вся эта многочисленная оппозиция включает в себя и представителей аристократических слоев, и людей из самых низов города; но до тех пор, пока недовольство не связывается некоей общей идеей, оно остается бессильным ропотом, скрытой, потенциальной стихией, а не действенной силой. Но толпе никогда не одолеть армии, никогда неорганизованному недовольству не противостоять организованному террору. Вот поэтому Кальвину в первые годы было нетрудно обуздать эти расчлененные группы, поскольку они никогда не выступали против него как целое: ударом в спину он мог покончить сначала с одними, потом с другими.

Действительно, носителю некоей идеи опасным становится всегда лишь такой человек, который может противопоставить ему другую мысль, и Кальвин сразу уловил это своим проницательным и всех подозревающим взглядом. Ведь с первого до последнего часа он никого из своих противников не боится так, как Себастьяна Кастеллио, этого единственного человека, который равен ему и в моральном, и в духовном отношении и который со всей страстью свободной совести восстает против его духовной тирании.

Нам известен только один портрет Кастеллио, но и тот, к сожалению, очень посредственный. На нем изображен безусловно человек духа, серьезный и прямодушный и, я бы сказал, с правдивыми глазами под высоким, открытым лбом; более, пожалуй, физиогномического из портрета ничего нельзя извлечь. Это не портрет, позволяющий разглядеть глубины характера модели, но все же основные черты характера человека безусловно в нем распознать можно: внутреннюю убежденность и уравновешенность. Если портреты обоих противников—Кальвина и Кастеллио—положить рядом, то противоположности, которые позже таким решающим образом проявятся в их духовном облике, станут очевидными уже в чувственном: лицо Кальвина—это напряженность, это судорожно и болезненно сконцентрированная энергия, желающая нетерпеливо и своенравно разрядиться, лицо же Кастеллио доброжелательно и полно выжидающего спокойствия. Во взгляде одного—огонь, взгляд другого сдержан. Нетерпение против терпения, неуравновешенный пыл—у одного, твердая решимость—у другого, фанатизм против гуманизма.

О юности Кастеллио мы знаем почти так же мало, как и о его внешнем облике. Родился он в 1515 году, на шесть лет позже Кальвина, на границе трех стран—Швейцарии, Франции и Савойи. Его родители именовали себя Chatillon или Chataillon, возможно также, являясь подданными Савойи, порой Castellione или Castiglione, но родным языком Себастьяна был не итальянский, а французский. Вскоре, правда, его родным языком станет латынь: в двадцать лет Кастеллио—студент Лионского университета и в дополнение к двум языкам, которые он хорошо знает, французскому и итальянскому, изучает там латынь, греческий и еврейский, добываясь в этих языках совершенства. Позже он изучит также и немецкий, да и вообще, чем бы он ни занимался, он занимался с огромным рвением, и знания освоенных им дисциплин настолько велики, что гуманисты и богословы единодушно относят его к числу самых образованных людей своего времени. Сначала это искусства, увлекшие юного студента, добросовестно зарабатывающего себе скудный кусок хлеба частными уроками; в немногие же свободные часы он пишет на латыни стихи и прозу. Но вскоре его охватывает страсть еще более сильная, чем та, в плену которой он находился: изучая прошлое человеческой культуры, он проникается глубоким интересом к проблемам своего времени. Классический гуманизм, если его рассматривать в историческом аспекте, имел, собственно, очень короткое и славное цветение, всего несколько десятилетий между великими

Себастьян Каstellio
Гравюра на меди.
Библиотека Базельского университета



SEBASTIANUS CASTELLIO
Graec. litterar. in acad. Basili.
Prof. Publ.

Hel. Anno 1518

Druck. 1518. 10. 20.

временами Возрождения и Реформации. Лишь в эти исторические мгновения юность чаяла возрождения классиков, освобождения мира посредством систематического образования; но очень скоро самым страстным, самым лучшим из этого поколения копание в старых пергаментях Цицерона и Фукидида начинает казаться неблагодарной работой, работой для дряхлых стариков: ведь вспыхнувшая в Германии и распространившаяся с неслыханной быстротой, словно лесной пожар, по всей Европе религиозная революция заставила учащенно биться их сердца. Вскоре во всех университетах диспуты об Аристотеле и Платоне все интенсивнее вытесняются диспутами о старой и новой церкви, вместо законов римского права профессоры и студенты изучают Библию; как в более поздние времена властителями дум молодежи станут политические, национальные или социальные идеи, так в шестнадцатом столетии все юношество Европы охвачено неудержимой страстью думать, говорить, действовать во имя религиозных идей времени. И Кастеллио тоже охвачен этой страстью, решающим образом на него повлияло лично им пережитое. Впервые увиденное им сожжение еретика в Лионе потрясает его, потрясает и жестокость инквизиции, и — до самых сокровенных глубин души — мужественное поведение жертвы. С этого дня он решает жить и бороться за новое учение, в котором видит освобождение и свободу.

Само собой разумеется, с того момента, когда двадцатипятилетний молодой человек внутренне решил бороться за реформацию церкви, жизнь его во Франции оказывается под угрозой. Там, где государство или система насильственно подавляет свободу вероисповедания, для тех, кто не желает подчинить свою совесть насилию, имеются три пути: можно открыто бороться с государственным террором и стать мучеником; этот самый отважный путь открытого сопротивления выбрали Беркен и Этьенн Доле¹, заплатив за него мученической казнью на костре. Или же можно, чтобы сохранить и внутреннюю свободу, и жизнь, притвориться подчинившимся и свое собственное мнение замаскировать — по этому пути следовали и Эразм, и Рабле, которые сумели внешне сохранить мирные отношения с церковью и государством; облачившись в мантию ученого или прикрывшись шутовским колпаком, метали они ядовитые стрелы в спину и церкви, и государства, хитростью, подобно тому, как это делывал Одиссей, обманывали жестокость, искусно уклонялись от карающей десницы насилия. Третий путь — это эмиграция, попытка унести внутреннюю свободу из страны, где она преследуется и презирается, в другую землю, где она сможет беспрепятственно дышать. Кастеллио, прямая, но одновременно мягкая натура, выбирает этот наиболее мирный путь, — путь, который в свое время выбрал Кальвин.

Весной 1540 года, вскоре после сожжения первого евангелического мученика в Лионе, которое так жестоко ранило его сердце, покидает Кастеллио свою родину, чтобы отныне стать вестником и проповедником евангелического учения.

Кастеллио направляется в Страсбург, причем, как большинство религиозных эмигрантов того времени — *grorter Calvinum*, ради Кальвина. Ибо с тех пор, как этот человек в предисловии к «*Institutio*» так смело потребовал от Франциска I терпимости и свободы вероисповедания², он у всей французской молодежи — хотя сам еще молод, еще очень молод — считается герольдом и знаменосцем евангелического учения. Все эти беглецы надеются учиться у Кальвина, великого изгнанника, который блестяще формулирует требования и четко определяет цель жизни. Как ученик, как восторженный ученик — ибо пока еще свободомыслящая натура Кастеллио видит в Кальвине поборника духовной свободы — Кастеллио тотчас же отправляется к нему и неделю живет в студенческом общежитии, которое жена Кальвина организовала для будущих миссионеров нового учения. Однако более близкие отношения с Кальвином, которых очень хотел Кастеллио, не завязываются, поскольку Кальвина вскоре отзывают на соборы в Вормс и Хагенау. Возможность первых связей упущена. Однако то, что двадцатипятилетний Кастеллио произвел на Кальвина сильное впечатление, выявляется очень скоро. Едва становится очевидным окончательное возвращение Кальвина в Женеву, тотчас же по предложению Фареля и, без сомнения, с согласия Кальвина молодого ученого приглашают учителем в Женевскую школу. Ему дают, а это очень существенно, звание ректора, под началом у него — два младших учителя, и, кроме того, на него возлагается обязанность, которой он очень хотел, — обязанность проповедовать в женевской церкви прихода *Vandœuvres*.

Кастеллио блестяще справляется с порученной ему работой, его преподавательская деятельность дает ему дополнительно литературный успех. Чтобы сделать изучение латыни более привлекательным для своих учеников, Кастеллио переводит наиболее образные эпизоды из Ветхого и Нового завета на латинский и придает им форму диалогов. Вскоре маленькая книжечка, первоначально задуманная как подстрочник, шпаргалка для женевских школяров, приобретает мировую известность и по своей литературной и педагогической значимости подобна «Разговорам запросто» Эразма. Столетия будет переиздаваться эта маленькая книжечка, не менее сорока семи изданий ее увидят свет, сотни тысяч школяров изучат по ней основы классической латыни. И хотя для Кастеллио, который увлекался классицизмом, этот латинский букварь и останется случайным, малозначитель-

100 ным произведением, он все же был первой книгой, которая выдвинула этого человека на передний план людей духа своего времени.

* * *

Но честолюбие Каstellio стремится к целям более высоким, чем авторство хорошего и полезного учебного пособия для школяров. Не для того он отказался от занятий классицизмом, чтобы свои силы и свою эрудицию ученого растрчивать в небольших работах. Этот молодой идеалист лелеет в душе возвышенный план, который в известной мере должен повторить и превзойти грандиозные деяния Эразма и Лютера; он предполагает сделать новый перевод всей Библии на латинский и затем еще раз — на французский. И его страна, Франция, должна иметь всю истину на своем языке, как получили ее благодаря творческим усилиям Эразма и Лютера мир гуманистов и германский мир. И преисполненный настойчивой и смиренной набожности, свойственной его характеру, приступает Каstellio к решению этой грандиозной задачи. Ради куска хлеба для своей



Эразм Роттердамский
Гравюра на дереве
из книги
Себастьяна Мюнстера
(Базель, 1554)

семью днем делает он скверно оплачиваемую работу, по ночам же трудится над переводом, выполняет этот священный для него план, которому посвятит всю свою жизнь.

Но уже с первых шагов Кастеллио встречает решительное сопротивление. Женевский книготорговец согласен печатать первую часть его латинского перевода Библии. Но в Женеве Кальвин — неограниченный диктатор во всех духовных и религиозных делах. Без его одобрения, без его разрешения ни одна книга в стенах города не может быть напечатана.

Кастеллио отправляется к Кальвину, ученый — к ученому, богослов — к богослову, и как товарищ по призванию обращается к нему за разрешением. Но для авторитарной натуры мыслящая личность — всегда несносный противник. Первая реакция Кальвина — неудовольствие, едва прикрытое раздражение. Ведь он сам написал предисловие к французскому переводу Библии, выполненному его родственником, и, таким образом, этот перевод в известной степени, подобно «Вульгате»³, официально признан французскими протестантами. Какова «дерзость» этого «молодого человека», не признающего Библию, одобренную Кальвином и изданную с его участием, единственно законную и правильную, и предлагающего вместо нее свой, новый перевод книги. В письме к Вире⁴ отчетливо чувствуется раздраженная досада Кальвина, вызванная «надменностью» Кастеллио: «А теперь послушай о фантазии нашего Себастьяна: он дает нам повод посмеяться, но также и рассердиться. Три дня назад пришел он ко мне и попросил разрешение издать свой перевод Нового завета». Уже из этого иронического тона можно себе представить, как сердечно принял Кальвин своего соперника. Действительно, не долго думая, он отвечает Кастеллио: разрешение на печать он даст лишь при условии, что прежде перечтет перевод сам и исправит то, что считает нужным исправить.

Характеру Кастеллио абсолютно чужды такие черты, как самоуверенность или тщеславное самодовольство. Никогда не считает он подобно Кальвину, что его мнение — единственно правильное, что его точка зрения в каком-либо вопросе безупречна и неуязвима: его предисловие к переводу Библии являет собой как раз образец научной и человеческой скромности. Он открыто пишет, что не все места Священного писания понял сам и поэтому предостерегает читателей от бездумного доверия его переводу, ибо Библия — книга темная, полна противоречий, и он в своем переводе дает лишь толкование, но ни в коем случае не абсолютную определенность.

Однако, если Кастеллио так по-человечески скромно оценивает свой труд, он в то же время неизмеримо высоко чтит чувство собственного достоинства. Убежденный в том,

что как гебраист, как специалист по греческому языку, как ученый он стоит не ниже Кальвина, он видит в стремлении навязать ему свою цензуру, в авторитарном притязании на «улучшение» его перевода унижение его человеческого достоинства. В свободной республике — такой же ученый и богослов, как Кальвин, — он не желает становиться перед Кальвином в положение школяра, не хочет, чтобы его произведение, словно ученическая работа, правилось красным карандашом. Ища выход, достойный гуманиста, и желая показать Кальвину свое личное уважение, он предлагает прочесть ему рукопись в любой удобный для Кальвина час и наперед подтверждает свое согласие принять каждое отдельное предложение Кальвина. Но Кальвин принципиально против любой формы соглашения. Он не желает советовать, нет, он будет лишь приказывать. Коротко и резко он отказывается от предложения Кастеллио. «Я заявил ему, что даже если он пообещает мне сотню крон, я не смогу связывать себя определенным часом для обсуждения рукописи, а затем, возможно, еще тратить уйму времени на споры из-за одного какого-нибудь слова. С тем он и ушел, обиженный».

Впервые скрестились клинки. Кальвин почувствовал, что Кастеллио ни в духовных, ни в богословских вопросах не склонен безвольно ему подчиняться, среди окружающих его лизоблюдов Кальвин распознал независимого человека, принципиального противника насилия. И с этого часа Кальвин решил, что человека, желающего служить не ему, а лишь своей совести, при первом же удобном случае необходимо будет снять с занимаемой им должности и по возможности убрать из Женевы.

* * *

Кто ищет повод, всегда найдет его. Долго ждать Кальвину не приходится. Кастеллио, который не может прокормить свою многочисленную семью на весьма и весьма скудное жалованье школьного учителя, мечтает о внутренне более ему соответствующем и лучше оплачиваемом месте «проповедника слова божьего». С того часа, как он покинул Лион, его жизненной целью было стать служителем и провозвестником евангелического учения; вот уже несколько месяцев этот высокоэрудированный богослов проповедует в церкви Vandœuvres; проповеди его не вызывают ни единого упрека, а для города со столь строгими моральными правилами, как Женева, это значит очень много. Ни один человек в Женеве, кроме него, не может рассчитывать на это место. И действительно, на просьбу Кастеллио о предоставлении ему места проповедника магистрат 15 декабря 1543 года принимает единогласное решение: «Поскольку Себастьян — ученый

муж и может превосходно отправлять богослужение, настоящим ему вверяется испрашиваемая им должность».

Но, вынеся это решение, магистрат не учел мнения Кальвина. Как? Не обратившись предварительно покорнейше к нему, к Кальвину, магистрат распорядился определить Кастеллио проповедником и тем самым членом консистории! А человек этот вследствие присущей ему независимости может быть очень и очень неудобен Кальвину. Тотчас же Кальвин опротестовывает назначение Кастеллио и обосновывает свой неколлегиальный образ действий в письме Фарелю неясными словами: «Имеются серьезные основания, которые мешают его назначению... Впрочем, я на эти основания лишь намекнул Совету, а не высказался с полной ясностью, но в то же время выступил против всяких ложных подозрений, чтобы на имя его не пала тень... Я стремился пощадить его».

* * *

Читаешь эти темные и полные изворотливого иносказания слова, и в сознание прокрадывается ощущение, которое точнее всего можно охарактеризовать как неприятное. Действительно, не звучит ли это так, что есть нечто порочащее Кастеллио, не дающее ему права облачиться в одеяние проповедника, нет ли в самом деле на совести Кастеллио какого-нибудь пятна, которое Кальвин с самыми лучшими намерениями, из христианского снисхождения прикрывает, чтобы «пощадить его»? В каком правонарушении, спрашиваешь себя, так великодушно замалчиваемом Кальвином, виновен этот высокоуважаемый ученый? Может, он нечист на руку, может, он находился в недозволенных отношениях с женщинами? Не скрываются ли за его хорошо известным городу безупречным поведением какие-либо тайные пороки? Нет, намеренной неясностью своего высказывания Кальвин бросает на Кастеллио лишь тень какого-то подозрения, а для чести, для престижа человека ничего нет более рокового, чем «щадящая» двусмысленность.

Но Себастьян Кастеллио не желает быть «пощаженным». У него чистая совесть, и едва он узнает, что Кальвин за его спиной хочет отменить приглашение его на должность проповедника, он требует, чтобы Кальвин публично разъяснил магистрату, на каких основаниях его назначение подлежит отмене. Кальвин должен раскрыть свои карты и изложить сущность таинственных правонарушений Кастеллио; и Кальвин вынужден сообщить о так деликатно замалчиваемых им проступках Кастеллио: мнение Кастеллио в двух несущественных богословских комментариях к Библии — заблуждение это ужасно! — не полностью совпадает с мнением Кальвина. Во-первых, он придерживается точки зрения — и здесь, пожалуй, все богословы с ним согласны, одни

104 открыто, другие тайно,— что Песнь песней Соломона не духовное, а мирское произведение; гимн о Суламифи, груди которой, словно два олененка пляшут на пастбище, бесспорно, является любовной песней и к прославлению церкви никакого отношения не имеет⁵. И второе отклонение ничтожно: сошествию Христа в ад Кастеллио дает толкование, отличное от Кальвина.

Итак, имеются незначительные расхождения в мнениях по двум сугубо частным вопросам, а «великодушное замалчивание», позволяющее предполагать за Кастеллио любые грехи, всего лишь повод отклонить назначение на должность проповедника не угодного Кальвину человека. Но здесь требуется уточнение. Расхождения в побочных вопросах, действительно, ничтожны. Для всех. Но не для Кальвина. Для него в вероучении нет никаких пустяков, никаких мелочей. Для его методической природы, мечтающей о наивысшем единстве и авторитете новой церкви, малейшее отклонение так же опасно, как и величайшее. Кальвин желает, чтобы в его основательно заложенном логическом строении новой веры каждый камень, каждый камешек стоял неколебимо на своем месте, и подобно тому, как он не допускает никаких свобод в политической жизни, нравах, вопросах права, он считает принципиально нетерпимым любое проявление свободы и в своем религиозном учении также. Если его церковь желает существовать вечно, она должна остаться авторитарной от краеугольных камней до самого последнего, самого маленького орнамента, а человеку, который не признает этот принцип вождя учения, человеку, который пытается думать самостоятельно в духе свободомыслия, такому человеку в государстве Кальвина места нет.

Совет вызывает Кастеллио и Кальвина для открытого обмена мнениями, с тем чтобы они мирно уладили свои расхождения во взглядах. Но никакого мирного улаживания конфликта быть не может. Надо вновь и вновь напоминать: Кальвин желает исключительно только учить, но не учиться; он никогда ни с кем не спорит, он — предписывает. Первыми же своими словами он предлагает Кастеллио «признать наше мнение» и предостерегает его от опасности «доверяться своим суждениям», то есть ведет себя в полном соответствии со своим миропониманием о необходимости в церкви единства и авторитета. Но и Кастеллио остается верен себе. Свобода совести для Кастеллио — наивысшее духовное благо, и ради этой своей свободы он готов уплатить любую цену. Он знает определенно: стоит ему лишь согласиться с Кальвином в этих двух ничтожных вопросах, и он тотчас же получит доходное место в консистории. Но неподкупный в своей независимости, Кастеллио отвечает: он не может обещать что-либо, что не в состоянии выполнить, так как это

противоречит его совести. Бесплезным оказывается, таким образом, этот обмен мнениями. Встреча этих двух людей была встречей свободомыслящей Реформации, требующей для каждого человека свободы в религиозных вопросах, и Реформации ортодоксальной; после этого неудачного обсуждения Кальвин с правом пишет о Кастеллио: «Как я могу судить по моим встречам с этим человеком, он имеет обо мне такое представление, что, вероятно, мы никогда не придем к примирению».

* * *

Какое же «представление» имеет Кастеллио о Кальвине? Кальвин выдает сам себя, когда пишет: «Себастьян вбил себе в голову, что я стремлюсь властвовать». Правильнее положение вещей действительно не объяснить. Кастеллио за очень короткое время узнал то, что другие узнают несколько позже, а именно что Кальвин в соответствии со своей тиранической натурой решил терпеть в Женеве лишь одно мнение, свое, что на земле, исповедующей его веру, можно жить лишь в том случае, если подобно Безу и другим его последователям рабски подчиниться каждой буквке его доктрины. Но Кастеллио не желает дышать этим тюремным воздухом духовного порабощения. Не затем он бежал от католической инквизиции из Франции, чтобы поклониться новому протестантскому надзору за совестью, не потому он отказался от старых догм, чтобы стать слугой новых. Для Кальвина Христос — неумолимый, педантичный судья, а его Евангелие — книга застывших, мертвых законов; Кастеллио же в Христе видит самого человеческого человека, этический образец, которому каждый должен смиренно следовать в себе самом и на свой лад, а не дерзко утверждать, что только он, и никто более, знает истину. Этому свободному человеку противна решительная озлобленность, когда он видит, как надменно, заносчиво и самонадеянно новые проповедники излагают в Женеве слово божье, излагают так, как будто оно только им одним и ведомо; гнев охватывает его против этих высокомерных, непрерывно восхваляющих свое священное призвание zelотов, говорящих о всех других людях как об отвратительных, недостойных божьего внимания грешниках. И когда однажды в общине комментировались слова апостола: «Мы, как посланцы божьи, должны во всем проявлять великое терпение», внезапно встает Кастеллио и предлагает «посланцам божьим» самим хоть раз испытать себя, вместо того чтобы все время испытывать других, судить и наказывать их. Вероятно, Кастеллио стало известно кое-что (это выявится позже — из протоколов Совета), подтверждающее не больно-то пуританское поведение женевских проповедни-

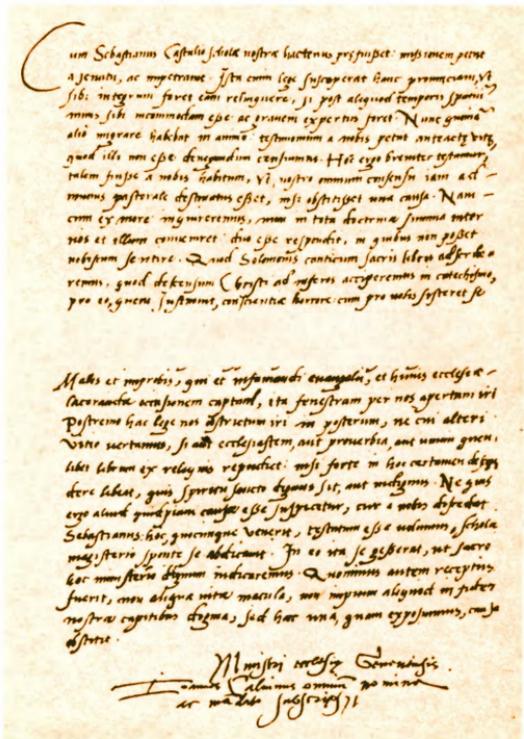
ков в их частной жизни, и он счел поэтому необходимым открыто наказать это ханжество. Обвинения, с которыми выступил Кастеллио, мы, к сожалению, знаем лишь по высказываниям Кальвина (ради своей выгоды всегда готово приписать противнику слова, которых тот никогда не говорил). Но даже из этого необъективного изложения можно заключить, что Кастеллио, признавая общую греховность, не делал для себя исключения, так как сказал: «Павел был слугой божьим, мы же служим сами себе, он был терпелив, мы же очень нетерпеливы. Он от других терпел несправедливое, мы же — преследуем невиновных».

Кальвина, которого при этом не было, выступление Кастеллио, похоже, ошеломило. Страстный, сангвинический спорщик, такой, например, как Лютер, немедленно возмутился бы и в зажигательной речи дал бы противнику отповедь; гуманист, подобный Эразму, вероятно, спокойно вступил бы в ученый спор; Кальвин же — прежде всего реалист, человек тактики и практики, он умеет держать свой темперамент в узде. Он чувствует, как сильно подействовали на присутствующих слова Кастеллио и что возражать ему теперь неразумно. Он молчит, сжимая еще уже свои и без того узкие губы. «Я на некоторое время промолчал, — извиняет он позже эту удивительную сдержанность, — но лишь затем, чтобы не развизывать горячий спор перед многими посторонними».

Будет ли он позже вести этот спор в более тесном кругу? Будет ли он вести его с Кастеллио наедине? Поставит ли он Кастеллио перед консисторией, потребует ли от него подтвердить свое расплывчатое обвинение именами и фактами? Конечно, нет. Кальвину всегда чужда любая лояльность в политике. Любая попытка критики для него не просто теоретическое расхождение в мнениях, нет, это государственное преступление, государственная измена. Преступления же подлежат юрисдикции светских властей. Туда, а не в консисторию потянет он Кастеллио, превратив дискуссию по моральному вопросу в дисциплинарный процесс. Его жалоба магистрату города Женевы гласит: «Кастеллио имеет намерение умалить престиж духовных лиц».

С большой неохотой собирается Совет. Он не очень-то любит подобные богословские свары; более того, даже создается впечатление, что светским властям не так уж и неприятно, что наконец-то нашелся один, открыто, энергично и смело выступивший против надменно-самоуверенной консистории. И на этот раз советники сначала на длительное время откладывают свое решение, окончательный же их приговор обращает на себя внимание своей неясностью. Кастеллио устно выносят порицание, но не наказывают и не освобождают от должности; однако его деятельность проповедника в *Vandœuvres* до времени прекращается.

Казалось бы, такой приговор должен был бы удовлетворить Каstellлио. Но внутренне он уже принял решение. Вновь он утверждает в мнении, что свободному человеку невозможно жить возле такой тиранической личности, как Кальвин. И он испрашивает у магистрата освобождение от должности. Но при первой пробе сил он уже достаточно хорошо изучил тактику своего противника и понял, что, если фанатичным приверженцам какой-либо идеи нужно, чтобы истина служила их политике, они найдут способы заставить истину служить этой политике. Он правильно предвидит, что его свободный и мужественный отказ от места и звания задним числом можно будет недобросовестно объяснить какими-то неблагоприятными причинами. И поэтому, прежде чем покинуть Женеву, он требует от магистрата письменное свидетельство об имевшем место инциденте. И Кальвин вынужден собственноручно подписать — и сейчас еще можно увидеть этот документ в библиотеке Базеля, — что Каstellлио не назначен проповедником лишь потому, что придерживается своего, неканонического мнения по двум частным богословским вопросам; и далее в документе буквально



Первые и последние строки свидетельства, выданного Каstellлио Кальвином Библиотека Базельского университета

108 написано следующее: «И чтобы никто не мог ложно приписать какую-либо иную причину отъезда Себастьяна Каstellио, мы все заверяем, что он добровольно (sponte) сложил с себя обязанности учителя, а до этого выполнял их так, что мы почли бы его достойным предоставить ему должность проповедника. Если же это не произошло, то ни в коем случае не потому, что его поведение было запятнано безнравственными поступками, а исключительно по вышеуказанным причинам».

* * *

Вынужденный отъезд из Женевы единственного равного Кальвину по эрудиции ученого для деспота Кальвина означает победу, впрочем, победу пиррову. Ибо в самых широких кругах об отъезде высокоуважаемого ученого сожалеют как о большой потере. Ученые единодушно решили, что «учителю Каstellио Кальвином была учинена несправедливость», в космополитическом мирке гуманистов этот инцидент укрепил ученых в мнении, что Кальвин в Женеве терпит лишь лизоблюдов, лишь людей, повторяющих его слова, да и через две сотни лет Вольтер будет рассматривать случай притеснения Каstellио как решающее подтверждение тиранического нрава Кальвина. «Кальвина можно оценить по тем преследованиям, которым он подверг Каstellио, ученого, несравненно более эрудированного, чем он сам; зависть изгнала того из Женевы».

Но Кальвин чрезвычайно чувствителен к малейшим упрекам и порицаниям. Он не может не заметить общее недовольство, которое вызвал удалением Каstellио. И едва достигнув своей цели, прогнав из Женевы этого единственного независимого человека с именем, он опасается общественного мнения, которое поставит ему в вину то, что Каstellио блуждает по свету совершенно без средств к существованию. Действительно, решение Каstellио покинуть Женеву было продиктовано отчаянием. Ведь как открытый противник вождя политически наиболее сильного религиозного движения Швейцарии, он не может рассчитывать на немедленное получение в этой стране места в реформированной церкви: его вспылчивость бросила его в горькую нужду. Как нищий, как бедняк, бредет бывший ректор школы женевской реформированной церкви от двери к двери. Кальвин достаточно дальновиден, чтобы понимать, что это всем очевидное бедственное положение вытесненного из Женевы противника ему, Кальвину, должно будет принести тяжелейший вред. И поскольку Каstellио уже не обременяет его своей непосредственной близостью, он попытается несколько облегчить участь добровольному изгнаннику. С бросающимся в глаза рвением единственно для того лишь,

чтобы оправдаться, пишет он письмо за письмом своим друзьям о том, как много стараний прилагает к тому, чтобы обеспечить бедному и нуждающемуся Кастеллио (который лишь по своей вине стал бедным и нуждающимся) место, соответствующее его эрудиции: «Я хотел бы, чтобы он смог устроиться где-нибудь без помех, и со своей стороны приложил бы к этому усилия». Кальвин хотел бы, чтобы Кастеллио молчал о женевском инциденте. Но Кастеллио свободно и открыто рассказывает всюду, что вынужден был оставить Женеву из-за властолюбия Кальвина, и тем самым ранит Кальвина в самое чувствительное место, так как Кальвин никогда открыто не признает своего стремления властвовать и постоянно желает, чтобы им восторгались как наискромнейшим, наисмиреннейшим слугой тяжелого долга, возложенного на него богом. Но едва Кальвин узнает о поведении Кастеллио, тон его писем тотчас же меняется; покончено с только что высказанным сочувствием к Кастеллио. «Если бы ты знал,—жалуется Кальвин другу,—что лает эта собака, я имею в виду Себастьяна, в мой адрес. Он рассказывает, что прогнан со своей должности только моей тиранией, прогнан затем, чтобы я мог один править городом». В течение немногих месяцев тот самый человек, которого Кальвин, собственноручно расписавшись, почел безусловно достойным нести священную службу слуги божьего, вдруг оказался «скотиной», chien *, и метаморфоза эта произошла по единственной причине: Кастеллио предпочел горькую нужду и право говорить правду тепленькому местечку и благодарному молчанию.

* * *

Эта добровольно выбранная бедность Кастеллио уже у современников вызвала восхищение. То, что Кастеллио, человеку с большими заслугами, пришлось испытать столь глубокую нужду, Монтень считает фактом, достойным сожаления, и добавляет, что многие были бы готовы ему помочь, если бы узнали об этом своевременно. Но действительность говорит другое: люди не проявляют желания дать Кастеллио хотя бы самое необходимое. Пройдут годы и годы, прежде чем добровольный изгнанник получит место, хоть в какой-то степени соответствующее его эрудиции; его не приглашает ни один университет, ни одна община верующих не предлагает ему место проповедника, политическая зависимость швейцарских городов от Кальвина к этому времени уже слишком велика, чтобы кто-либо осмелился открыто помогать противнику женевского диктатора. С трудом находит, наконец, изгнанник средства к существованию, заняв место

* собакай (франц.).

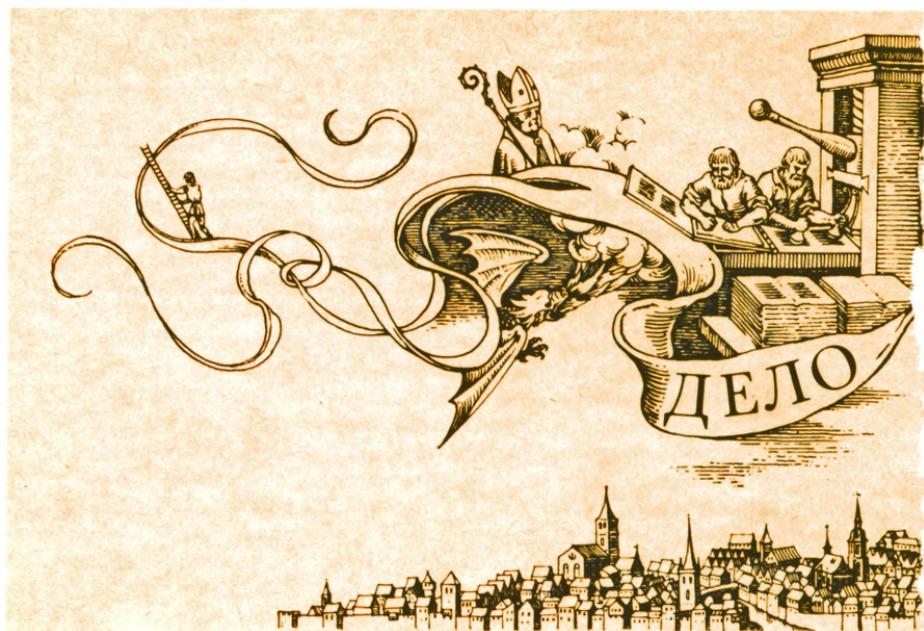
110 простого корректора в базельской книгопечатне Опорина; но нерегулярная работа совершенно не позволяет ему обеспечить самым необходимым жену и детей, и Кастеллио вынужден, чтобы прокормить шесть или восемь ртов, недостающие гроши зарабатывать изнурительным, нетворческим трудом домашнего учителя. Ему придется прожить еще много мрачных лет в несказанно унижительной, жалкой, каждодневно парализующей душу и физические силы нужде, прежде чем, наконец, университет пригласит универсально образованного ученого на должность преподавателя греческого языка! Но и эта, скорее почетная, чем доходная, должность не освободит Кастеллио от ярма поденщины; всю свою жизнь этот большой ученый, признаваемый некоторыми современниками едва ли не самым значительным ученым своего времени, вынужден будет выполнять простую черную работу. Сам копает он лопатой землю в огороде своего маленького двора, расположенного в пригороде Базеля, а поскольку для пропитания семьи дневной работы недостает, Кастеллио ночами корпит над корректурой печатных текстов, над редактированием чужих работ, над переводами со всех языков. Тысячи, тысячи листов переводит он для базельских издателей ради куска хлеба с греческого, еврейского, латинского, итальянского, немецкого.

Но эта длаящаяся годы и годы нужда подточит лишь его тело, лишь его слабую, чувствительную плоть, но никогда — его независимость, решительность его гордой души. Ибо, даже выполняя необозримо большую подневольную работу, Кастеллио не забывает свою жизненную задачу. Неколебимо работает он над трудом своей жизни, над переводом Библии на латинский и французский, пишет журнальные статьи, памфлеты, комментарии и диалоги, нет дня, нет ночи, чтобы Кастеллио не работал; никогда этот вечный ломовой извозчик не испытал радости путешествия, милосердия отдыха, никогда его современники не воздали ему за его труды ни славой, ни богатством. Но этот свободный дух предпочитает оставаться вечным рабом нищеты, предпочитает недосыпать за рукописями, но никому не отдавать свою независимую совесть — вот великолепный пример тех таинственных, невидимых свету героев духа, которые даже во тьме неизвестности ведут борьбу за самое святое для них дело — за неприкосновенность слова, за незыблемое право на свои убеждения.

* * *

Собственно единоборство Кастеллио и Кальвина еще не началось. Но два человека, две идеи уже взглянули друг другу в глаза и поняли, что они — непримиримые враги. Они не смогут жить хотя бы час в одном городе, в одном и том же

духовном пространстве; но даже в отдалении друг от друга (один — в Базеле, другой — в Женеве) они бдительно следят друг за другом. Каstellio не забывает Кальвина, Кальвин — Каstellio, и их молчание — всего лишь ожидание решающего слова. Столь глубокие противоположности выражают собой антагонистические мировоззрения; длительное время такие мировоззрения сосуществовать не могут; никогда свобода духа не сможет находиться в тени диктатуры, никогда диктатура не будет чувствовать себя беззаботной, пока в границах ее влияния имеется хотя бы один независимый человек. Чтобы произошел разряд скрытно накапливаемых напряжений, всегда необходим повод. И вот только тогда, когда Кальвин подожжет костер Сервета, с губ Каstellio сорвется пламенно обвиняющее слово. Лишь когда Кальвин объявит войну каждой свободной совести, Каstellio не на жизнь, а на смерть выступит против него от имени совести.



Иногда История из миллионов и миллионов людей выбирает одного, чтобы пластически показать на нем спор мировоззрений. И совсем не обязательно, чтобы этот человек был гением. Зачастую для этого судьба довольствуется совершенно случайным именем и вписывает его в память потомков на вечные времена. И не из-за своей гениальности, но вследствие лишь своей ужасной кончины Мигель Сервет стал личностью выдающейся. Дарования очень многосторонние, но не совсем счастливо организованные смешались в этом удивительном человеке: сильный, деятельный, всем интересующийся, своевольный, но мечущийся от проблемы к проблеме интеллект; чистая, но неспособная к творческой ясности воля к истине. Ни в одной науке этот фаустовский дух не может задержаться основательно, несмотря на то что к каждой из них этот франтирёр тянется одновременно к философии, к медицине, к теологии, иногда блеснет смелыми наблюдениями, затем, раздосадованный, обращается к легкомысленному шарлатанству. Однажды, впрочем, в его книге проповеднических провозглашений вспыхивает наблюдение, открывающее путь к великим медицинским истинам, обнаруживая существование так называемого малого круга кровообращения, но Сервет не думает о том, чтобы тщательно оценить свое открытие, научно углубить его; словно единичная, до срока вспыхнувшая зарница, гаснет эта молния гения во тьме своего века. В этом одиночке много духовных сил, но



в творческую личность сильный дух может быть преобразован лишь внутренней целеустремленностью.

До надоедливости часто к месту и не к месту говорят, что в каждом испанце имеется щепотка от Дон Кихота, но применительно к Мигелю Сервету это наблюдение поразительно справедливо. И не только внешне этот тощий, бледный, остробородый араговец очень похож на героя из Ламанчи; и внутренне он горит подобной же великолепной и гротескной страстью, готовый бороться за абсурд, в слепом от ярости идеализме атаковать все и всякие препятствия реального мира. Совершенно лишенный самокритичности, что-то открывший или утверждающий, наскакивает этот странствующий рыцарь богословия на все валы и ветряные мельницы своего времени. Его возбуждают лишь приключения, лишь абсурдное, необычное, опасное, и в неистовой страсти сражения он ожесточенно бьется со всеми другими упрямами, не связывая себя ни с какой партией, не принадлежа ни к какому клану, всегда одинокий, всегда преданный очередной фантазии, всегда полный невероятных планов — уникальная, эксцентричная, сумасбродная личность.

Тот, кто постоянно противопоставляет себя другим, кто всегда чрезмерно переоценивает себя, непременно должен испортить со всеми отношения; примерно одних лет с Кальвином, Сервет еще подростком впервые столкнулся с

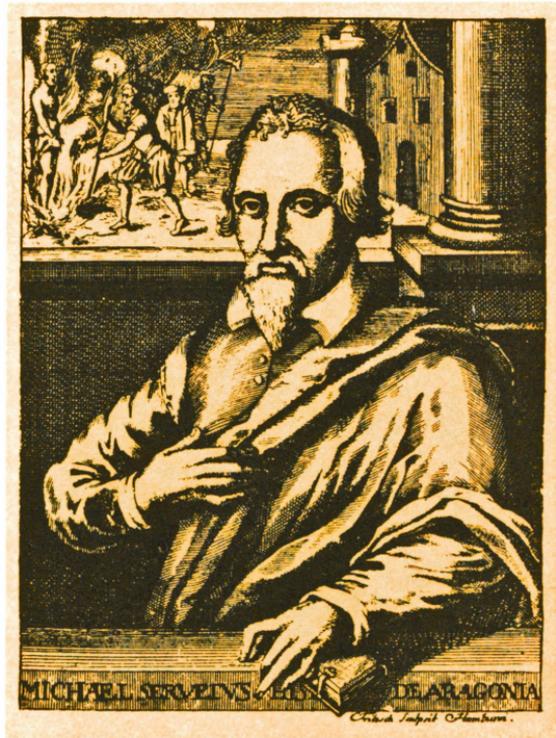
миром; пятнадцатилетний, он вынужден бежать от инквизиции из родной Арагонии в Тулузу, чтобы там продолжить свои занятия. Духовник Карла V берет его из университета секретарем в Италию, а позже — на Аугсбургский конгресс¹; там подобно своим современникам юный гуманист изменяет политическим страстям ради большой битвы богословов. Став свидетелем всемирно-исторической полемики между старым и новым учениями, его беспокойный дух приходит в чрезвычайное волнение. Там, где спорят все, он тоже хочет спорить, где все пытаются реформировать церковь, он тоже хочет принимать в этом участие, и с крайностью, присущей возрасту, этот юнец с горячей кровью все прежние решения и разрешения вопросов старой церкви считает слишком робкими, индифферентными. Даже Лютера, Цвингли и Кальвина, этих смелых новаторов, он не считает достаточно решительными в деле очищения Евангелия: ведь они принимают в свое новое учение догму о триединстве! Сервет же с непримиримостью двадцатилетнего объявляет Никейский собор² просто не имеющим силы, а догму о трех вечных ипостасях — несовместимой с единством божьей сущности.

Подобное радикальное воззрение само по себе не было таким уж бросающимся в глаза в это религиозно возбужденное время. Всегда, когда переоцениваются все ценности и колеблются законы, каждый пытается мыслить самостоятельно, нетрадиционно. Но роковым образом Сервет перенимает от всех спорящих друг с другом богословов не только страсть к спору, но и самое скверное их свойство — фанатическое упрямство. И двадцатилетний юноша желает немедленно доказать вождям Реформации, что они реформировали церковь совершенно недостаточно и что конечную истину знает только он, Мигель Сервет. Нетерпеливый, посещает он великих ученых своего времени: в Страсбурге — Мартина Буцера и Капито, в Базеле — Эколампадия³, чтобы побудить их как можно быстрее устранить из евангелической церкви «ошибочную» догму о триединстве. Можно очень живо представить себе ужас достойнейших, зрелых проповедников и профессоров, когда безбородый испанский студент, внезапно появившись в их доме, со всей неистовостью сильного и истеричного темперамента требует, чтобы они немедленно отказались от всех своих взглядов и послушно присоединились к его радикальному тезису. Как если бы сам черт из преисподней послал к ним в кабинет своего собрата, так открещиваются они от этого дикого еретика. Эколампадий гонит его, как собаку, из дому, называя его «иудеем, турком, богохульником, одержимым демоном». Буцер клеймит его с кафедры как слугу дьявола, а Цвингли открыто предостерегает от «кошунственного испан-

ца, чье ложное, злое учение хочет разделаться с нашей христианской религией».

Но подобно тому, как рыцарь из Ламанчи в своих странствиях не дает запугать себя руганью и побоями, так же мало его соотечественник-богослов обращает внимания на любые аргументы, выдвигаемые в спорах против его учения, так же непоколебим остается он в своей убежденности. Если его не понимают вожди, если мудрые и ученые не желают слушать его в своих кабинетах, тогда битву следует продолжить открыто; пусть весь христианский мир читает его доказательства в книге! Двадцатидвухлетний Сервет собирает последние деньги и отдает в Хагенау свои тезисы в печать. Но как только издаются эти тезисы, на него обрушивается ураган. Буцер с кафедры объявляет, что этот богохульник заслуживает того, «чтобы у него, живого, были вырваны все внутренности», и с этого часа протестанты считают Сервета изощренным посланцем сатаны.

Само собой разумеется, человеку, который так подстрекательски ведет себя по отношению ко всему свету, человеку, тезисы которого и католическая, и протестантская



Мигель Сервет
Гравюра на меди.
Центральная
библиотека Цюриха.
Художник К. Фрич

116 церкви объявили ложными, на всем христианском Западе не найти ни спокойного места, ни дома, ни крыши. С тех пор как Мигель Сервет со своей книгой впал в «арианскую ересь»³, его преследуют, словно дикого зверя. Для него возможно единственное спасение — бесследно исчезнуть, сделаться невидимым и незаметным, сорвать с себя свое имя, словно горящую одежду; отверженный, он возвращается во Францию как Мигель Вилленев и под этим псевдонимом устраивается в одну из лионских типографий. Не имея фундаментальных знаний в какой-либо науке, являясь по существу дилетантом, он обладает сильно развитой способностью проникать в глубинную сущность иных ее вопросов и находить новые побуждающие стимулы и возможности для полемики. Корректируя «Географию» Птолемея, Сервет — в одну ночь! — превращается в географа и снабжает книгу обстоятельным введением. При корректурной сверке медицинских книг живой ум усваивает основы медицины, и вскоре уже Сервет серьезно начинает изучать искусство врачевания, отправляется в Париж, чтобы продолжить образование, и работает одновременно препаратором на лекциях



Мартин Буцер
Гравюра на дереве,
1544

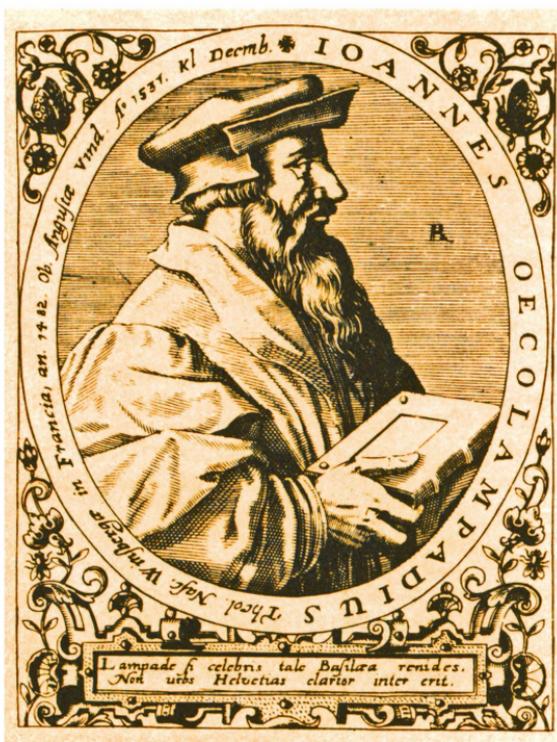
Везалия⁴. Но опять же, как до того в богословии, не доучившись и, вероятно, не получив даже ученой степени, нетерпеливый человек начинает поучать других в этой новой для себя области. Смело берется он читать в медицинской школе Парижа множество курсов: математику, метеорологию, астрономию, астрологию,—но раздражает врачей эта универсальность, это смешение учения о врачевании с учением о звездах и некоторые его шарлатанские приемы; Сервет-Вилленев вступает в конфликт с авторитетами, и, наконец, его коллеги подают в парламент жалобу на то, что его занятия астрологией, наукой, порицаемой божескими и гражданскими законами,—неприкрытое шарлатанство. И вновь, чтобы избежать при следствии идентификации Вилленева с Серветом, со скрывающимся и всюду разыскиваемым еретиком, Сервету приходится спасаться бегством. И преподаватель Вилленев исчезает из Парижа, как в свое время богослов Сервет исчез из Германии. Длительное время ничего о нем не было слышно. И вновь появляется он уже под другой маской: кто бы мог подумать, что новый врач архиепископа Польмира во Вьенне, этот набожный католик, каждое воскресенье посещающий мессу, является гонимым архиеретиком, человеком, осужденным парижским парламентом за шарлатанство? Впрочем, свои еретические тезисы Мигель де Вилленев разумно остерегается распространять во Вьенне. Он держит себя тихо и незаметно, у него очень большая практика, он хорошо зарабатывает, и ничего не подозревающие славные горожане Вьенна уважительно приподнимают свои шляпы, когда врач его архиепископского преосвященства *Monsieur le docteur* Мигель де Вилленев с достоинством испанского дворянина проходит мимо них: какой благородный, набожный, ученый и скромный человек!

* * *

Но в этом страстно честолюбивом человеке архиеретик конечно же не умер; в глубине души Мигеля Сервета таится старый, неумный, беспокойный дух, дух исканий. Если мысль хоть однажды овладела человеком, овладела им полностью, до последнего фибра его существа, то человека не удержишь, он охватывает внутренняя лихорадка. Живая мысль никогда не удовлетворится жизнью в одном-единственном смертном человеке; чтобы вместе с ним и умереть, ей необходимы пространства, ей нужны мир и свобода. Поэтому для каждого мыслителя наступает час, когда идея его жизни прорывается наружу, словно заноза из нарывающего пальца, словно ребенок из лона матери, словно плод из скорлупы. Страстная личность, человек, обладающий развитым чувством собственного достоинства, Сервет не может долго держать в себе идею фикс; он не может не желать, чтобы

118 весь мир, наконец, думал так же, как и он. Как и прежде, он испытывает постоянные муки совести, видя, что вожди евангелического учения с кафедр объявляют ложные — по его мнению — догмы о крещении детей и о триединстве, христианство все еще запятнано этими «нехристианскими» заблуждениями. Разве не его это задача — выступить, наконец, и принести всему миру весть об истинной вере? Страшно тяжелыми должны быть для Сервета эти годы вынужденного молчания. Из глубины души рвутся невысказанные слова, а он, преследуемый, гонимый и скрывающийся под чужим именем, обязан плотно сжимать губы. В таком мучительном состоянии пытается Сервет — вполне понятное стремление — найти хотя бы вдали собрата по мыслям, человека, с которым он мог бы вести диалог; поскольку он не решается ни с кем духовно общаться здесь, он хочет иметь возможность хотя бы в письмах высказывать свои богословские убеждения.

Ослепленный своей идеей, Сервет роковым образом отдает свое доверие Кальвину. Именно у этого самого крайнего, самого смелого обновителя евангелического учения надеется Сервет найти понимание своего еще более строгого,



Иоганн Эколампадий
Гравюра на меди
из книги Боссарда
«Портреты
знаменитых людей»
(Франкфурт, 1599)

еще более дерзкого изложения Священного писания: возможно, он предполагал продолжить таким образом прежнюю дискуссию. Ведь уже занимаясь в университете, оба этих студента-сверстника встречались в Париже; но лишь годы спустя, когда Кальвин стал владыкой Женевы, а Мигель де Вилленев — врачом архиепископа Вьенна, через посредство лионского книготорговца завязывается между ними переписка. Инициатива исходит от Сервета. Настойчиво, пожалуй, даже несколько навязчиво обращается он к Кальвину, чтобы привлечь на свою сторону в борьбе против догмы о триединстве этого едва ли не самого сильного теоретика Реформации, и пишет ему письмо за письмом. Как вождь церкви, Кальвин почитает своим долгом поучать заблуждающихся, как пастырь — вновь собирать в стадо отбившихся овец паствы; он вначале отвечает доктринерски, пытаясь объяснить Сервету его ошибки; но еретические тезисы и высокомерный, самонадеянный тон писем Сервета возмущают наконец и ожесточают Кальвина. Писать такие, например, слова: «Я часто объяснял тебе, что ты стоишь на ложном пути, соглашаясь с чудовищным различием трех божьих



Фронтиспис из книги
Мигеля Сервета
«Диалоги о Троице...»
Гравюра на дереве

120 ипостасей» — авторитарной личности, Кальвину, которого даже ничтожные возражения в ничтожной мелочи выводят из себя, означает раздражать опасного противника самым опасным образом. Но когда автору всемирно известного «*Institutio religionis Christianae*» Сервет посылает экземпляр этой книги, на полях которой, как школьный учитель ученику, делает указания о предполагаемых им, Серветом, ошибках, легко представить себе настроение, с которым владыка Женевы принимает эту дерзость богослова-дилетанта.

«Сервет кидается на мои книги, словно собака, кусающая камень, и марает их оскорбительными заметками», — пишет с презрением Кальвин своему другу Фарелю. Зачем терять время на споры с таким неисправимым путаником? Пинком ноги отбрасывает он аргументы Сервета. «На слова этой личности я обращаю столько же внимания, сколько на крик осла (*le hin-han d'un anê*)».

Но, не понимая, на какую железную броню самоуверенности кидается он со своей тонкой пикой, несчастный Дон Кихот не сдается. Он не отступает — именно этого единственного, ничего не желающего о нем знать человека он страстно хочет любой ценой сделать приверженцем своей идеи; действительно, похоже, что он, как пишет Кальвин, «одержим сатаной». Вместо того чтобы остерегаться Кальвина как самого, какой только мыслим, опасного врага, он нетерпеливо посылает ему для прочтения листы рукописи подготавливаемого им к печати богословского произведения. Не стоит даже говорить о содержании книги, достаточно заглавия, чтобы представить себе, как должна была вывести Кальвина из себя эта новая работа Сервета. Ибо свое вероучение Сервет называет «*Christianismi Restitutio*»*, чтобы подчеркнуть перед всем миром, что труду Кальвина «*Institutio*» («Установление») следует противопоставить труд его, Сервета, «*Restitutio*» («Восстановление»). Патологическая страсть к обращению в свою веру Кальвина и неумная назойливость Сервета становятся Кальвину поперек горла. Категорически заявляет он книготорговцу Фреллону, через посредство которого до сих пор осуществлялся обмен письмами, что у него слишком много действительно неотложных и важных дел, чтобы терять время на переписку с таким самодовольным дураком. Одновременно пишет он своему другу Фарелю, и эти ужасные слова окажутся пророческими: «Сервет недавно написал мне письмо и приложил к нему толстый пакет своих измышлений, с невероятной наглостью утверждая, что из этого материала я вычитаю поразительные истины. Он пишет, что если я этого пожелаю, готов немедленно приехать сюда... Но я и пальцем не пошевелю»

* «Восстановление христианства» (лат.).

ради этого, а если он все же придет, то, поскольку я еще имею некоторое влияние в этом городе, уж постараюсь не выпустить его отсюда живым».

Может быть, Сервет узнал какими-то путями об этой угрозе, а может быть (в одном из не дошедших до нас писем), Кальвин сам предостерег его — в любом случае, похоже, наконец-то он стал подозревать, какого убийственного врага заполучил; впервые он испытывает неприятное чувство, зная, что та опасная рукопись, посланная Кальвину *sub sigillo secreti**, находится в руках человека, так открыто высказавшего свою ненависть к нему. «Поскольку ты придержишься того мнения, — пишет перепуганный человек Кальвину, — что я для тебя сатана-искуситель, я решил переписку с тобой прекратить. Верни мне мою рукопись и прощай. Но если ты честно полагаешь, что папа — антихрист, то должен быть так же уверен в том, что триединство и таинство крещения детей — догматы, образующие часть католической веры, — являются догматами демона».

Но Кальвин остерегается отвечать, еще менее того думает он о возврате Сервету изобличающей того рукописи. Заботливо, как опасное оружие, прячет он еретическое произведение в ларь, чтобы в нужный час оттуда его извлечь. Оба они, и Кальвин и Сервет, после этого резкого обмена мнениями понимают, что вот-вот начнется борьба, и в темном предчувствии Сервет пишет в эти дни одному богослову: «Теперь мне совершенно ясно, что за это я поплачусь жизнью. Но эта мысль не победит мое мужество. Как ученик Христа, я иду по следам моего Учителя».

* * *

Каждый в свое время поймет, и Каstellio, и Сервет, и сотни других, что выступить против Кальвина, этого фанатичного упряма, хотя бы по самому ничтожному пункту его учения — дело отважное и опасное для жизни. Ненависть Кальвина, как все в его характере, непреклонна и методична, это не импульсивная, быстро угасающая вспышка гнева, как яростные неистовые взрывы Лютера или грубияна Фареля. Его ненависть — это жестокая, острая, режущая, словно сталь, вражда. Если ненависть Лютера порождена кровью, желчью, вспыльчивостью, темпераментом, то упорная, холодная мстительность Кальвина порождена мозгом, его ненависть имеет ужасающе безупречную память. Кальвин не забывает ничего и никому — *quand il a le dent contre quelqu'un se ne'st jamais fait*, говорит о нем пастор де ла Мар, и имя, однажды занесенное Кальвином в памяти этим жестким грифелем ненависти, не стереть, пока сам человек не будет

* Здесь: секретно (лат.).

122 вычеркнут из Книги судеб. И хотя Кальвин на многие годы прекратил переписку с Серветом и ничего о нем не слышал, это не означает, что Кальвин забыл Сервета. Молча хранит он в своем ларе компрометирующие письма, в своем колычانه — стрелы, в своей жесткой, неумолимой душе — старую, непрекращающуюся ненависть.

Похоже, что всю эту долгую передышку Сервет держится совершенно тихо. Он отказался перевоспитывать не поддающегося перевоспитанию человека; всю свою страстность он отдает теперь своему произведению. С упорной и истинно потрясающей самоотдачей врач архиепископа продолжает тайно работать над своей «Restitutio», которая, как он надеется, по правдивости, по истинности значительно превзойдет реформированные Кальвином, Лютером и Цвингли учения и откроет миру, наконец, истинное христианство. Ни в коем случае Сервета нельзя отнести к тем «чудовищным пренебрегателям» Евангелия, каковым попытается позже заклеить его Кальвин, в равной степени он не был также ни вольнодумцем, ни атеистом, к которым иные подчас желают его теперь причислить. Все время Сервет

TRIGINTA TRES
SECTIONES

EPISTOLÆ SEV
ABJURATIONIS HÆ-
reticis Calvinianæ Domini de *Villa
Nova*, antehac Verbi Ministri in Gal-
lia, ad Illustrissimam D: Ducissam TRIMO-
VILLANAM idiomate Gallico
scriptæ.

IN EA RATIONES ET
*Argumenta, revocata hæresis, & ad gremium
Ecclesie Catholicae reditum Anno 1630.
aperiuntur.*

EA NVNC EPISTOLA
in gratiam eorum, qui veritatem sa-
luti consequendæ necessariam cogno-
scere, & errorem exuere desiderant,
Latinitate donata est.

VIENNÆ AVSTRIÆ,
Excusa typis & impensis GREGORII
GELVINAAR, Cæsarei Typo-
graphi.

Анно, М, DC, XXXII,

Титульный лист
сочинения Мигеля Сервета
«Послание в тридцати трех
частях, или Отрицание
ереси Кальвина ...»
(Вена, 1632).
Вышла под псевдонимом

оставался в области религиозного, а насколько убежденно он сам считал себя верующим христианином, обязанным отдать свою жизнь за веру и божество, подтверждает призыв его в предисловии к книге: «О Иисусе Христос, сын божий, Ты, который дан нам с неба, откройся своему слуге так, чтобы это великое откровение было явным для всех нас. Ведь это Твое дело, которое я решил защищать, следуя внутреннему божескому порыву. Еще раньше сделал я первую попытку; теперь же я вновь понуждаем к этому, ибо время, истинно, пришло. Ты учил нас не утаивать наш свет; горе мне поэтому, если я не возвещу истину!»

То, что Сервет совершенно ясно представляет себе опасность, которую он на себя навлечет публикацией книги, подтверждают сверх всего прочего те меры предосторожности, которые он принял при ее печати. Действительно, каким отчаянно смелым, каким безумным поступком является предпринятое им дело: врач архиепископа в маленьком болтливом городке печатает большое — на семьсот страниц — архиеретическое произведение! Тут рискуют головой все работники книгопечатни, участвующие в таком чрезвычайно

CHRISTIANI-
SMI RESTITV-
TIO.

*Totius ecclesie apostolica est ad sua limina vocatio, in integrum restituta a cognitione Dei, fidei Christi, iustificationis nostrae, regenerationis baptis-
mi, & caena domini manducationis. Restitueo de-
nique nobis regno caelesti, Babylonis impie captivi-
tate soluta, & Antichristo cum suis penis de-
structo.*

כַּעַת הַהוּא יַעֲמֹד מִיְבֹאֵל הַשָּׂר-
וַיִּגְמֹדוּ הַבְּלִיַּיִם עַל תּוֹ הַשָּׂרָיִם.

M. D. LIII.

Титульный лист
сочинения
Мигеля Сервета
«Восстановление
христианства ...»
(1553)

опасном предприятии, а не один только издатель. Но чтобы подкупить колеблющихся рабочих и под носом у инквизиции тайно напечатать свое произведение, Сервет жертвует всем своим состоянием, с трудом накопленным за многие годы врачебной деятельности. Осторожности ради печатные станки из книгопечатни переносятся в уединенный дом, специально для этого нанятый Серветом. Там работают лишь надежные люди, клятвенно обязавшиеся сохранить тайну печати еретической книги, и само собой разумеется, что в готовой книге отсутствуют все указания о месте издания и о фамилии типографа. Лишь на последней странице над годом выпуска Сервет роковым образом оставляет предательские инициалы MSV (Мигель Сервет Вилановус) и тем самым дает ищейкам инквизиции неопровержимое подтверждение своего авторства.

* * *

Но дело не только в том, что Сервет выдал сам себя, свою роль сыграла, казалось бы, дремлющая, а в действительности зорко следящая за ним ненависть неумолимого врага. Великолепно организованная служба слежки и шпионажа, созданная Кальвином в Женеве, имеет чрезвычайно развитую сеть агентов во всех соседних государствах, она работает методически и четко, а во Франции даже более четко и исправно, чем соответствующие службы папской инквизиции. По существу книга Сервета еще не вышла в свет, почти весь тираж — тысяча книг — еще лежит связанный в пачки в Лионе или еще катят эти пачки в книжных фургонах на ярмарку во Франкфурт, еще сам Сервет дал только считанные экземпляры своей книги друзьям, так что до наших дней вряд ли сохранилось более трех экземпляров, а у Кальвина эта книга уже в руках. И сразу же он принимает решение: уничтожить одним ударом их обоих — и еретика, и его произведение.

Это первое малоизвестное покушение Кальвина на Сервета по своему коварству неизмеримо отвратительнее того открытого убийства на рыночной площади Шампель, которое произойдет позже. Ведь Кальвин, получив книгу своего врага и сочтя ее еретической, мог бы, если б того пожелал, не пятая себя, передать дело Сервета инквизиции. Для этого ему достаточно было бы с кафедры предостеречь христианский мир от этой книги, а католическая инквизиция сама бы очень быстро открыла издателя, даже такого, который притаился в тени архиепископского дворца. Но вождь Реформации не желает утруждать папские службы розыском и делает грязное дело сам, причем особенно подлым образом. Напрасно панегиристы Кальвина пытаются защитить его в этом одном из самых дурно пахнущих его дел,

так как этим они, нарушая психологическую правду, показывают, что совершенно не понимают его характера; конечно, и это никто не отрицает, Кальвину присущи и глубочайшее рвение в вопросах веры, и чистейшая религиозная воля, но он тотчас же становится бессовестным, как только дело касается его догм, его «дела». Для своего учения, для своей партии (и вот здесь-то его полярность по отношению к Лойоле оборачивается идентичностью) он, ни минуты не колеблясь, готов одобрить любое средство, если это средство кажется ему полезным. Едва книга Сервета попадает в руки Кальвина, как уже 16 февраля 1553 года один из его ближайших друзей — протестантский эмигрант Гийом де Три пишет из Женевы письмо во Францию своему родственнику Антуану Арнэ, оставшемуся таким же фанатичным католиком, каким протестантом стал Три. В этом письме де Три восторженно пишет, сначала не вдаваясь в подробности, как удачно протестантская Женева подавила все происки еретиков, тогда как в католической Франции эта сорная трава продолжает бурно произрастать. Но внезапно дружественная болтовня становится опасно серьезной. «У вас во Франции, — пишет де Три, — имеется, к примеру, сейчас один еретик, заслуживающий быть сожженным, где бы его ни схватили» (*qui mérite bien d'être brûlé partout où il sera*).

Непроизвольно содрogaешься от ужаса. Очень уж эта страшная фраза напоминает ту, которую в свое время Кальвин обронил в своем письме Фарелю: если Сервет появится в Женеве, он, Кальвин, позаботится о том, чтобы не выпустить его живым из города. Но де Три, приспешник Кальвина, пишет еще более определенно. Он доносит теперь совершенно открыто и ясно: «Речь идет о некоем испанце из Арагона, которого зовут Мигелем Серветом, но он именует себя Мигелем Вилленевым и практикует как врач». И далее он пишет, как называется книга Сервета, излагает ее содержание и прилагает четыре первые страницы. Затем с сочувственным вздохом по поводу греховности мира отсылает свое смертоносное письмо.

Эта женевская мина заложена искусно и должна взорваться в заданный час в желаемом месте. Все происходит именно так, как было предусмотрено доносчиком. Набожный католический родственник Арнэ в беспокойстве и в полной растерянности спешит с письмом к церковным властям Лиона, кардинал срочно вызывает к себе папского инквизитора Пьера Ори.⁵ Колесо, приведенное Кальвином в движение, начинает раскручиваться с огромной, зловещей скоростью. Донос поступил в Лион 27 февраля, а 16 марта Мигеля де Вилленева уже вызывают к себе духовные власти Вьенны.

Однако — какое горькое разочарование для набожно-ревностных доносчиков Женевы — искусно заложённая мина

126 не взрывается. Вероятно, какая-то милосердная рука перерезала провода управления. Возможно, архиепископ Вьенна своевременно лично намекнул своему врачу, и тот сумел подготовиться к вызову. Как бы то ни было, но, когда во Вьенне появляется инквизитор, набора фантастическим образом в книгопечатне уже не найти, рабочие клянутся, что никогда не печатали книгу подобного рода, а глубокоуважаемый врач Вилленев возмущен тем, что его желают идентифицировать с Мигелем Серветом. Удивительно, но инквизиция довольствуется бездоказательным протестом, и эта бросающаяся в глаза снисходительность подкрепляет нас в предположении, что чья-то сильная рука защитила тогда Сервета. Суд, который обычно в подобных случаях начинает применять орудия пыток, отпускает Вилленева на свободу, инквизитор возвращается не солоно хлебавши в Лион, где Арнэ извещают, что сведения, которые он сообщил инквизиции, к сожалению, для предъявления обвинения на человека недостаточны. Похоже, что женевская попытка, рассчитанная на то, чтобы окольными путями, с помощью католической инквизиции покончить с Серветом, жалким образом провалилась. И возможно, все обстоятельства этого темного дела понемногу забылись бы, если бы Арнэ вторично не обратился в Женеву, чтобы от своего родственника де Три испросить новые, на этот раз более достоверные доказательства.

* * *

До сих пор, пожалуй, можно еще было с какой-то, правда, малой степенью вероятности принять, что де Три сообщил своему родственнику-католику о ему лично неизвестном авторе лишь из чисто религиозного рвения и что ни он, ни Кальвин и не подозревали, что их личные письма могут быть переданы папским службам. Теперь же, поскольку машина инквизиторской юстиции уже запущена и женевские блюстители чистой веры точно знают, что Арнэ обращается к ним за дополнительными подтверждениями не из чистого любопытства, а по поручению инквизиции, они не остаются в неведении относительно того, кому эти сведения полезны. По всем земным представлениям, протестантский священник должен был бы тут же содрогнуться от ужаса, убедившись, что дошел до пособничества тому ведомству, в котором неоднократно поджаривали на медленном огне друзей Кальвина. Действительно, у Сервета будут все основания бросить своему убийце Кальвину вопрос: «А не знал ли он, что, став на путь официального обвинения и преследования, он действовал вопреки Евангелию?»

Но когда дело касается его учения—это следует вновь и вновь повторить,—Кальвин теряет и чувство чело-

вечности, и всякую меру нравственности своих поступков. С Серветом надо покончить, а каким оружием и каким способом, упрямому ненавистнику в этот момент совершенно безразлично. И действительно, все дальнейшее происходит самым коварным, самым мерзким образом. Новое письмо, которое де Три (без сомнения, под диктовку Кальвина) пишет своему родственнику Арнэ, является образцом лицемерия. Сначала де Три разыгрывает крайнее удивление по поводу того, что корреспондент передал его сообщение инквизиции. Ведь писал он его конфиденциально, частным образом, *privément à vous seul*. «Моим намерением было просто показать, какого характера рвение в вере у иных, именующих себя столпами церкви». Но, прекрасно зная, что костер уже сооружен и сейчас очень опасно давать католической инквизиции какой-либо дополнительный материал, этот жалкий доносчик с набожным взором заявляет, что на этот раз осечки не будет и «бог почел за благо позаботиться о том, чтобы очистить христианство от подобной грязи и смертоносной чумы», и происходит немыслимое: свершив подлость, втянув бога в дела человеческой, или, вернее, нечеловеческой ненависти, убежденный бравадой протестант передает католической инквизиции самый убийственный для Сервета материал, подтверждающий его виновность,— собственноручные письма Сервета и фрагменты рукописи его книги. Теперь судья инквизиции может спокойно приступить к своей работе.

Письма Сервета, собственноручно им написанные? Но как и откуда может де Три, которому Сервет никогда не писал, достать письма, написанные собственноручно Серветом? Пора кончать игру в прятки: Кальвину следует выйти из-за кулис, где он до сих пор хотел ловко притаиться. Само собой разумеется, это письма и рукопись, посланные в свое время Серветом Кальвину, и Кальвин—а это является решающим—великолепно знает, для кого он вытащил теперь их из своего ларя. Он знает, кому будут переданы эти письма: тем самым «папистам», которых он каждодневно с кафедры именует сатанинскими слугами и которые подвергают его учеников неслыханным мучениям, казням. И Кальвин точно знает, для какой цели так нужны Великому инквизитору эти письма: для того, чтобы довести Сервета до костра.

Поэтому напрасны предпринятые позже Кальвином попытки фальсифицировать эти ясные факты, эти очевидные улики. И действительно, как неубедительны, как фальшивы строки его письма: «Ходят слухи, что я предпринял необходимое, чтобы Сервета схватила папская инквизиция, а некоторые говорят, я вел себя неблагородно, передав его смертельным врагам веры, бросив его волкам на съедение. Но прошу Вас, подумайте только, каким это образом я вдруг

128 смог бы войти в сношения с сателлитами папы. Это же невероятно, чтобы мы общались друг с другом и чтобы те, которые так же относятся ко мне, как Велиал к Христу, оказались со мной в сговоре». Но этот логический кунштюк возле правды очень уж неловок, ибо когда Кальвин лепечет «каким это образом я смог бы войти в сношения с сателлитами папы», то на этот риторический вопрос документы дают убийственно однозначный ответ: прямым путем, через своего друга де Три, который, впрочем, сам в своем письме очень наивно подтверждает пособничество Кальвина: «Должен признать, что мне стоило немало усилий получить от господина Кальвина прилагаемые к письму документы. Не потому, что он полагал, будто ему следует скрывать столь ужасное кощунство, а потому лишь, что он почитал своим личным долгом не преследовать еретика мечом правосудия, а переубеждать его своим учением». Совершенно напрасно (разумеется, под диктовку Кальвина) пытается неловкий корреспондент всю вину истинного виновника принять на себя, когда пишет: «Но я так наседал на господина Кальвина и так убедительно доказывал ему, что если он не поможет мне, то меня упрекнут в легкомыслии, что он, наконец, сдался и передал мне посылаемый Вам материал». Документы же говорят здесь лучше, чем все самые ловкие слова: сопротивлялся Кальвин или не сопротивлялся, однако все лично ему адресованные письма Сервета он передал «сателлитам папы» для его убийства. Лишь через его осознанное пособничество де Три смог послать Арнэ — а в действительности папской инквизиции — письма с убийственно уличающим материалом и заключить это свое послание ясным указанием: «Надеюсь, я вооружил Вас хорошим материалом, и теперь никаких трудностей одолеть Сервета и возбудить против него дело у Вас не будет».

* * *

Говорят, кардинал де Турнон и магистр Ори, получив эти неопровержимые доказательства против еретика Сервета через любезное посредничество своего смертельного врага, архиеретика Кальвина, хохотали до упаду, и прекрасное настроение князей церкви можно очень хорошо понять: слишком неловко прикрито ханжескими словесными ухищрениями несмыаемое пятно на совести Кальвина, и им абсолютно очевидно — из доброжелательности, товарищеских, братских чувств к де Три, но, еще раз но и еще раз но им, и прежде всего им, вожь протестантизма самым наилучшим образом помогает сжечь еретика. Учивость и услужливость подобного рода, впрочем, не очень-то бытовали между вождями двух церквей, которые железом, огнем, виселицами и колесованием во всех странах земного шара

жестоко боролись друг против друга. После кратковременной веселой разрядки инквизиторы тотчас же приступают к своему ужасному делу. Сервета хватают, сажая в тюрьму и начинают немедленно допрашивать. Полученные от Кальвина письма — улики его виновности столь ошеломляющей и поразительной убедительности, что обвиняемый более уже не может отрицать идентичности Мигеля де Вилленева и Мигеля Сервета и тем самым авторства книги. Его дело проиграно. Вот-вот во Вьенне запылает костер.

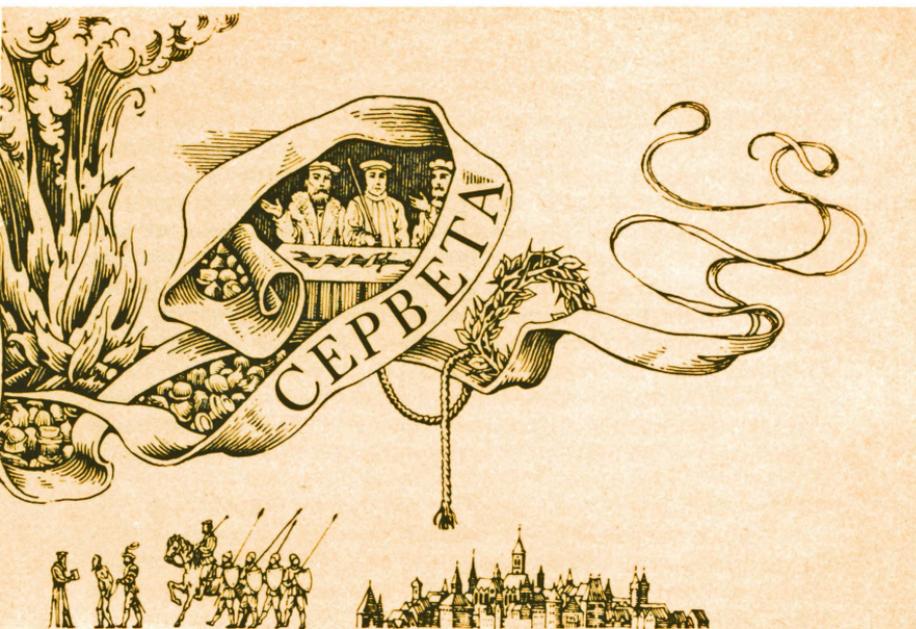
Но страстная надежда Кальвина на то, что заклятый враг поразит заклятого врага, снова оказывается преждевременной. Либо Сервет, который за много лет врачебной практики снискал в городе и его окрестностях большую любовь и уважение и, следовательно, имел много доброжелателей, или же, что еще более вероятно, церковные авторитеты решили доставить себе удовольствие спустя рукава отнестись к этому делу именно потому, что Кальвин уж очень настойчиво хотел отправить этого человека на костер; вероятно, они решили, пусть лучше от казни уйдет один не слишком значительный еретик, чем будет оказана услуга в тысячу раз более опасному организатору и распространителю всей ереси — *Maitre* Кальвину в Женеве! Стерегут Сервета очень небрежно. Обычно еретика запирают в камере и приковывают к кольцу, вмурованному в стену. Сервету же разрешено все дни проводить в саду, на свежем воздухе. И 7 апреля во время такой прогулки Сервет исчезает, тюремщику остаются лишь его халат да лесенка, которой он воспользовался, чтобы перебраться через стену, окружающую сад. Вместо живого человека сжигают на рыночной площади Вьенна его портрет и пять пачек книг. Так жалким образом провалился тонко задуманный, коварный план женевских протестантов физически покончить с духовным противником руками своих врагов, сохранив при этом свои руки чистыми. Кальвину впредь самому придется на собственную ответственность преследовать Сервета и затем предать смерти этого человека единственно за его убеждения, тем самым замарав в крови руки, вызвав ненависть всех гуманистов.



После побега Сервета из тюрьмы несколько месяцев о нем ничего не было слышно. Невозможно представить себе, какие душевные терзания испытал гонимый, пока в один из августовских дней на нанятой лошади не появился он в самом опасном на свете для него месте, Женеве, остановившись на постоялом дворе «У Розы».

Никогда не будет известно, почему этот *malis auspiciis arripulsus*, как позже скажет Кальвин, этот ведомый скверной звездой, решил искать пристанище именно в Женеве. Хотел ли он провести здесь только одну ночь, чтобы на следующий день продолжить свое бегство на лодке, по озеру? Рассчитывал ли он личным общением со своим смертельным врагом добиться больших успехов в его переубеждении, чем письмами? А может, его поездка в Женеву была лишненным логической целесообразности действием человека перевозбужденного неким чертовски сладким и жгучим азартом игрока с опасностью, который нападает иногда на людей, находящихся в состоянии крайнего отчаяния? Никто этого не знает, никто никогда этого не узнает. Допросы и протоколы не бросят свет на тайну, зачем он прибыл в Женеву, именно в Женеву, где он мог ожидать от Кальвина только самого ужасного¹.

Но неразумное и бравирующее мужество гонит несчастного еще дальше. Едва прибыв в Женеву, Сервет в воскресенье отправляется в церковь, где собирается вся



кальвинистская община, и даже — дальнейшая глупость — из всех церквей города он выбирает именно церковь св. Петра, в которой проповедует Кальвин, единственный в городе человек, знающий его в лицо по давно забытым дням в Париже. Здесь действует духовный гипнозизм, не подчиняющийся никакому логическому объяснению: ищет ли змея взгляда своей жертвы, или жертва ищет взгляда змеи, ее неотразимого, ее ужасного притягательного взгляда? Во всяком случае какая-то непреложность, какая-то таинственная непреложность заставила Сервета выйти навстречу своей судьбе.

Неумолимо притягивает его к себе город, в котором государство понуждает всех бюргеров следить друг за другом, где каждый вновь прибывший привлекает к себе любопытствующие взгляды. И конечно же происходит то, чего и следовало ожидать: Кальвин узнает в своем набожном стаде хищного волка и отдает своим палачам безотлагательный приказ — схватить Сервета, когда тот будет выходить из церкви. Час спустя Сервет уже в кандалах².

Разумеется, этот арест Сервета противоречит всем юридическим нормам и является грубейшим нарушением священного для всех стран мира закона гостеприимства. Сервет — иностранец, испанец, в Женеву он прибыл впервые и, следовательно, не мог совершить в этом городе никаких преступлений, дающих городским властям право на его

132 задержание. Все изданные им книги печатались и распространялись за границей, значит, он не мог совратить своими еретическими взглядами ни одной набожной души Женевы. Кроме того, «проповеднику слова божьего», являющемуся лицом духовным, никто не давал полномочий без предварительного решения суда задерживать кого-либо в городе Женеве и заковывать в кандалы; с какой бы точки зрения это событие ни рассматривать, нападение Кальвина на Сервета является всемирно-историческим актом диктаторского произвола, по своему открытому издевательству над всеми общепринятыми соглашениями сравнимым с нападением Наполеона на герцога Энгиенского и его убийством³; здесь — с противоречащим закону лишением свободы начинается не справедливый процесс против Сервета, а заранее обдуманное убийство, не завуалированное никакой ложью.

* * *

Если Сервет арестован и брошен в тюрьму без предварительного обвинения, то по крайней мере хоть задним числом следует состряпать заключение, формулирующее его вину. Логичным было бы, чтобы человек, на совести которого лежит этот арест (ме автоге, по моему указанию, как позже признаёт сам Кальвин), сам выступил бы как обвинитель. Но в соответствии с действительно образцовым законом Женевы всякий бюргер, обвиняющий кого-нибудь в преступлении, тоже обязан одновременно с обвиняемым отправиться в тюрьму и оставаться там до тех пор, пока власти не подтвердят справедливость его обвинения. Кальвину, следовательно, после обвинения Сервета надлежало бы отдаться властям. Но Кальвин, теократический властелин Женевы, считает ниже своего достоинства подчиняться такой мучительной для его самолюбия процедуре; ведь если суд установит невиновность Сервета, он, Кальвин, как доносчик должен будет остаться в заключении! Какая катастрофа для престижа, какой триумф для всех его противников! Поэтому Кальвин, как всегда дипломатически, предпочитает неприятную роль обвинителя поручить своему секретарю, Никола де ла Фонтену, и действительно, *secretarius* тихо и браво отправляется вместо Кальвина в тюрьму, передав властям — естественно, составленное самим Кальвином обвинительное заключение против Сервета, — заключение, состоящее из двадцати трех пунктов; ужасная трагедия начинается как комедия. Во всяком случае теперь, после явного нарушения законов, хотя бы внешне все обстоит законно. Сервета подвергают допросу, ему сообщают предъявленные ему обвинения. На вопросы и обвинения Сервет отвечает спокойно и умно, его энергия еще не сломлена темницей, его нервы еще не сдали. Пункт за

пунктом отклоняет он обвинения; так, например, когда ему говорят, что он в своих сочинениях задевал личность Кальвина, он отвечает, что это — искажение фактов, так как Кальвин первым задел его, что и Кальвин в своих обвинениях не безупречен. Когда Кальвин обвиняет его в том, что он, Сервет, очень уж упрямо держится за некоторые свои тезисы, тот — встречно — обвиняет Кальвина в такой же твердолобости. Между Кальвином и им речь идет лишь о различии мнений в богословских вопросах, разрешить которые ни один светский суд не в состоянии, и если Кальвин тем не менее его арестовал, то это не что иное, как акт личной мести. Именно Кальвин, вождь протестантизма, в свое время донес на него католической инквизиции, и лишь по причинам, не зависящим от этого проповедника слова божьего, Сервету удалось избежать неминуемого сожжения.

Позиция, на которой стоит Сервет, неуязвима, юридическая невинность его настолько очевидна, что расположение Совета очень скоро склоняется на его сторону, и, вероятно, все могло бы кончиться лишь изгнанием Сервета из страны. Но по каким-то признакам Кальвин начинает понимать, что затеянное им дело вот-вот провалится и что жертва, чего доброго, ускользнет из цепких лап обвинения. И вот 17 августа Кальвин внезапно появляется в Совете и оканчивает комедию своей мнимой непричастности к этому делу. Ясно и откровенно открывает он карты; он не отрицает более, что сам является обвинителем Сервета, и просит Совет разрешить ему принимать участие в допросах, «чтобы обвиняемый лучше понял свои заблуждения», на самом же деле, пользуясь этим лицемерным предлогом, он желает, пустив в ход свой авторитет, лишить жертву возможности уйти от подготавливаемой над ней расправы.

С момента, когда Кальвин самовластно и активно вмешивается в судебный процесс, положение Сервета опасно ухудшается. Опытный логик и ученый-юрист, Кальвин поведет наступление иначе, чем маленький *secretarius de la Fonten*, и обвиняемый станет терять свою уверенность в такой же степени, в какой обвинитель — проявлять свою силу. Нервы легко возбудимого испанца сдают, едва он видит своего обвинителя и смертельного врага сидящим рядом с судьями. Кальвин холодно, жестко, с кажущейся абсолютной объективностью задает вопросы, но Сервет нутром чувствует железную решимость поймать, подавить его этими вопросами. Сумасшедший, боевой задор овладевает беззащитным человеком, и, вместо того чтобы без волнений, спокойно и твердо держаться своей юридически надежной позиции, он поддается на провокационные вопросы Кальвина, втягивается в вязкое болото богословских дискуссий, вредит себе своим необузданным упрямством. Уже одного его утвержде-

ния, например, что и черт — частичка божьей субстанции⁴, совершенно достаточно, чтобы у набожных судей волосы стали дыбом. Но, раздраженный в своем философском честолюбии, Сервет без удержу начинает распространяться по самым деликатным и каверзным вопросам веры, как если бы эти сидящие перед ним господа судьи были самими просвещенными богословами, перед которыми он должен, не забываясь о последствиях для себя, раскрыть всю истину. Но как раз это неистовое желание говорить и этот страстный дискуссионный зуд вызывают у судей подозрение к Сервету; все больше и больше склоняются они к мнению Кальвина: верно и в самом деле этот чужак с горящими глазами и сжатыми кулаками, во всем противоречащий учению их церкви, — опасный противник духовной свободы, и весьма, весьма вероятно, что он — ужасный еретик; во всяком случае крайне желательно провести основательное расследование. Принимается решение считать его задержание обоснованным и, следовательно, его обвинителя Никола де ла Фонтена из заключения отпустить. Кальвин навязал свою волю суду и, довольный, пишет своему другу: «Надеюсь, что его приговорят к смерти».

* * *

Почему Кальвин так настойчиво домогается смертной казни для Сервета? Отчего ему недостаточен умеренный триумф — например, изгнание из города этого противоречащего ему человека или какое-нибудь другое, не предельно жестокое наказание? Сначала произвольно создается впечатление, что здесь прорвалась личная ненависть. Но Кальвин в общем-то ненавидит Сервета не более, чем Каstellлио или любого другого восстающего против его авторитета; для его тиранической натуры безоговорочная ненависть к любому, кто осмеливается учить другой истине, отличающейся от его истины, есть чувство абсолютно инстинктивное. То, что он всеми мыслимыми путями пытается в настоящий момент так решительно, так непримиримо выступить именно против Сервета, имеет не личные основания, а основания политики диктата: Мигель Сервет, восставший против его авторитета, должен расплатиться и за других противников его, Кальвина, ортодоксии, в частности за бывшего монаха-доминиканца Иеронимуса Бользека⁵, которого он тоже хотел казнить как еретика. Однако тому удалось избежать карающей десницы церкви, к величайшей досаде Кальвина. Этот Иеронимус Бользек, домашний врач очень почтенной женевской семьи, пользовался всеобщим уважением горожан; он открыто высказывался против самого слабого, самого уязвимого пункта учения Кальвина — против закоснелого учения о предопределении, причем пользовался аргументами, подоб-

ными тем, с которыми по этому же вопросу в споре с Лютером выступал Эразм, объявивший абсурдным мнение своего противника, что бог — олицетворение добра — может, зная это и желая этого, направлять людей на сквернейшие поступки, заставляя людей совершать их. Известно, как взбешен был Лютер упреками Эразма, сколько грязных ругательств адресовал этот мастак на грубости старому, мудрому гуманисту. Но темпераментный Лютер, человек, пользующийся подчас насильственными приемами, ограничивается спором с Эразмом, пусть он в этом споре бестактен, недопустимо груб, но ему и в голову не может прийти мысль привлечь своего идейного противника к суду, обвинить его в ереси только из-за того, что тот не согласен с его учением; тех, кто возражает ему, Кальвин причисляет к еретикам, любые возражения против его церковного учения равнозначны государственной измене. И поэтому, вместо того чтобы ответить Иеронимусу Бользеку как богослову, он предпочитает бросить того в темницу.

Но неожиданно, к великой досаде Кальвина, урок запугивания Иеронимуса Бользека не удастся. Слишком многие в Женеве знают ученого богобоязненного врача, и подобно тому, как это произошло в случае с Каstellлио, у Совета зашевелилось подозрение, не хочет ли Кальвин просто избавиться от неудобного ему самостоятельного мыслящего, не во всем рабски ему подчиненного человека, чтобы остаться в Женеве единственным неколебимым авторитетом. Написанная Бользеком в тюрьме Скорбная Песнь, в которой он излагает свою невинность, ходит в списках по всему городу, и, как горячо ни настаивает Кальвин перед магистратом, советники боятся подтвердить обвинение врача в ереси, которое он требует от них. Чтобы снять с себя ответственность за мучительное решение, они объявляют себя несостоятельными в духовных вопросах; считая себя некомпетентными в поднятых богословских вопросах, они отказываются вынести приговор. По этому трудному делу они желают получить юридическое экспертное заключение от церкви других городов Швейцарии. И этот опрос спасает Бользека. Реформированные церкви Цюриха, Берна и Базеля очень рады поводу дать небольшой щелчок непогрешимому самомнению своего фанатичного коллеги; они единогласно отказываются подтвердить существование чего-либо кощунственного в высказываниях Бользека. Совет выносит оправдательный приговор; Кальвин должен довольствоваться тем, что по решению магистрата Бользек покидает город.

Это явное поражение богословского авторитета Кальвина должен в какой-то степени смягчить новый процесс против другого еретика (разумеется, в том лишь случае, если на этот раз еретик будет признан виновным и понесет

136 суровую кару). За Бользека должен ответить Сервет, и здесь шансы Кальвина неизмеримо более выигрышны. Ведь Сервет — чужак, испанец, у него нет в Женеве, как у Каstellio, как у Бользека, ни почитателей, ни друзей, никого другого, способного ему помочь; кроме того, уже многие годы его ненавидят во всех реформированных церквях за дерзкие нападки на догмат о триединстве и за вызывающее поведение. С таким чужаком, с человеком, не имеющим прикрытия, урок запугивания провести намного проще; поэтому с первого же часа процесс Сервета был однозначно политическим процессом, на котором для Кальвина решался вопрос власти, был испытанием, решающим испытанием его воли к духовной диктатуре. Если б Кальвин не хотел ничего иного, как только просто расправиться с личным противником-богословом Серветом, как легко мог он воспользоваться сложившимися обстоятельствами! Ведь едва лишь началось женевское расследование, как тотчас же явившийся в Женеву посланец французского правосудия потребовал выдачи осужденного во Вьенне беглеца: там его давно уже ждет костер. Какой неповторимо удобный случай для Кальвина показать себя перед всем миром великодушным человеком и в то же время покончить с ненавистным противником! Женевскому Совету следует лишь санкционировать выдачу, и с крайне неприятным делом Сервета было бы покончено. Но Кальвин против выдачи. Для него Сервет — не живой человек, не субъект, а прежде всего объект, на котором он жаждет со всей очевидностью продемонстрировать всему миру неприкосновенность своего учения. Не солоно хлебавши возвращается восвояси посланец французских властей; диктатор протестантизма жаждет сам на своей территории провести этот процесс и покончить с еретиком, чтобы сделать официальным закон, по которому каждый пытающийся ему, Кальвину, противоречить рискует головой.

* * *

То, что Кальвин в деле Сервета думает только о демонстрации своей власти, в Женеве тотчас же замечают не только его друзья, но и враги. Совершенно естественно, что враги хотят испортить Кальвину затеянную им игру. Разумеется, этим политикам совершенно безразлична судьба Сервета; и для них несчастный — только игрушка, орудие в их борьбе, всего лишь ничтожный рычаг, с помощью которого можно попытаться опрокинуть власть диктатора; им по существу совершенно безразлично, будет рычаг при этом сломан или нет. Действительно, эти опасные друзья Сервета оказывают ему очень скверную услугу, возбуждая колеблющуюся самонадеянность истеричного человека лживыми слухами, тайно посылая ему в тюрьму письма, в которых

настоятельно советуют ему решительно сопротивляться Кальвину. В их интересах только одно—чтобы процесс прошел по возможности более остро и привлек к себе как можно больше внимания; чем энергичнее Сервет будет защищаться, чем яростнее он будет наступать на ненавистного противника, тем для них будет лучше.

Но к несчастью, и без этого не очень-то много требуется, чтобы безрассудного сделать еще более безрассудным. Многомесячное, очень тяжелое заключение в темнице давно уже сделало все, чтобы довести экзальтированного человека до состояния неукротимой ярости, ибо Сервет, и Кальвин не может этого не знать, содержится в ужасающе тяжелых условиях, все мелочи бессердечного обхождения с ним продуманы с утонченнейшей жестокостью. Уже несколько недель больного, нервного, истеричного, чувствующего себя совершенно невиновным человека содержат, словно убийцу, с цепями на руках и ногах в очень сырой и холодной камере. Гниющие от сырости лохмотья едва прикрывают его мерзнувшее тело, в камеру запрещают передать чистую рубашку, не обеспечиваются элементарнейшие требования гигиены, никому не разрешено оказать ему хотя бы минимальную помощь. И, находясь в безмерно тяжелом состоянии, Сервет обращается к Совету с потрясающим письмом, прося проявить к нему немного человечности: «Блохи пожирают меня живого, башмаки мои разорваны, у меня нет одежды, нет белья».

Но тайная рука, известная всем своей жестокостью, бесчеловечно, словно тиски, раздавливающая всякое сопротивление, предотвращает любую попытку Совета исполнить некоторые просьбы Сервета: никаких улучшений условий его содержания не будет. Пусть, словно шелудивый пес на навозной куче, подыхает в своей сырой яме этот смелый мыслитель, этот свободомыслящий ученый. И еще ужаснее, словно крик о помощи, звучит через несколько недель второе письмо, ведь Сервет буквально задыхается в своих нечистотах: «Я прошу вас Христа ради не отказать мне в том, в чем вы не отказали бы турку или преступнику. Ничего из того, что вы приказали, чтобы содержать меня в чистоте, не исполняется. Состояние мое—более плачевное, чем раньше. Какая страшная жестокость, что здесь нет условий отправлять естественные физические потребности».

Но ничего не меняется! Так чему же здесь удивляться, если извлеченный из своей сырой ямы человек каждый раз приходит в бешенство, когда, униженный, с цепями на ногах, в зловонных лохмотьях, он видит перед собой за судейским столом человека в черной, хорошо вычищенной рясе, холодного и расчетливого обвинителя, хорошо подготовленного, прекрасно отдохнувшего, с которым ему следова-

138 ло бы вести диалог как ученому с ученым, как человеку интеллекта с человеком интеллекта, но который, издеваясь над ним, ведет себя хуже, чем с убийцей? Можно ли найти человека, уязвленного подлыми и каверзными вопросами и клеветой, который не потеряет при этом благоразумие, осторожность, не набросится с ужаснейшими ругательствами на фарисея? В лихорадке от бессонных ночей он уличает виновника своего бесчеловечного положения, крича: «И ты отрицаешь, что ты убийца? Я докажу тебе, что твои поступки говорят обратное. Что касается меня, то я убежден в правоте своего дела и не страшусь смерти. А вот ты вопишь, словно слепец в пустыне, потому что дух мести сжигает твое сердце. Ты лгал, ты лгал, невежда, клеветник! В тебе клокочет ярость, когда ты преследуешь кого-либо, когда толкаешь его к смерти. Я хотел бы, чтобы все твое колдовство находилось еще во чреве твоей матери и у меня была бы возможность показать все твои заблуждения!» Потеряв голову от гнева, несчастный совершенно забывает о своей беспомощности; звеня цепями, с пеной у рта требует этот безумец от Совета, который должен судить его, чтобы тот вынес приговор не ему, а нарушителю законов, Кальвину, диктатору Женевы. «Поэтому его, колдуна, ибо он — колдун, следует не только признать виновным и осудить, но и изгнать из этого города, а имущество его передать мне в возмещение за мое, потерянное по его вине».

Такие слова, конечно, должны привести славных советников в ужас. Кем должен казаться членам Совета этот тощий, бледный, изможденный иностранец с всклокоченной бородой, с горящими глазами, в бешенстве выкрикивающий слова на чужом языке, обвиняющие в чудовищных преступлениях христианского вождя города, как не безумцем, одержимым сатаной? И от допроса к допросу отношение к обвиняемому становится все враждебнее. Собственно, процесс уже подошел к концу, осуждение Сервета неотвратимо. Но тайные враги Кальвина стремятся продлить, затянуть процесс, они не желают уступить Кальвину победу, не желают, чтобы его противник стал добычей закона. Еще раз пытаются они спасти Сервета, потребовав, подобно тому как это было в случае с Бользекком, мнения других реформированных швейцарских синодов о его взглядах, тайно рассчитывая на то, что и теперь удастся в последнюю минуту вырвать из лап смерти жертву фанатизма Кальвина.

* * *

Но Кальвин сам прекрасно знает, что теперь решается вопрос его авторитета. Вторично он не допустит, чтобы его переиграли. На этот раз он заблаговременно и с необычайным рвением принимает свои меры. Пока его

беззащитная жертва гниет в темнице, он пишет послание за посланием главам церквей Цюриха, Базеля, Берна и Шаффхаузена, чтобы повлиять на их заключение. Во все концы направляет он посланцев, просит всех своих друзей, чтобы те предостерегли своих коллег от содействия преступному богохульнику в попытках уйти от справедливого приговора! На этот раз речь идет о пресловутом нарушителе богословского спокойствия Сервете, о котором известно, что еще со времен Цвингли и Буцера «наглого испанца» ненавидели во всех общинах реформированных церквей; мнение глав этих церквей должно быть неблагоприятным для Сервета. И действительно, все швейцарские синоды объявляют взгляды Сервета ошибочными и греховными, и, хотя ни одна из четырех общин не требует смертной казни и даже не одобряет ее, все же все они в принципе подтверждают целесообразность применения всех суровых мер. Цюрих пишет: «Какому наказанию подвергнуть этого человека, должна решить Ваша мудрость». Берн взывает к богу, который «придаст Вам мудрость и силу, чтобы Вы могли служить своей церкви и другим церквям и освободили бы их от этой чумы». Однако этот скрытый призыв к насильственным мерам тут же ослабляется предостережением: «...но так, чтобы при этом Вы не сделали ничего такого, что может показаться неподобающим христианскому магистрату». Ни одно послание не советует Кальвину применить смертную казнь. Но так как церкви подтвердили предъявленное Сервету обвинение, они—и это Кальвин чувствует—подтвердят и дальнейшее, ибо своими неопределенными словами они оставляют ему руки свободными для любого решения. А рука Кальвина, если она свободна, всегда бьет жестоко и решительно. Напрасно тайные «доброжелатели» Сервета, едва узнав о заключении церквей, пытаются в последний момент оттянуть несчастье. Перрен⁶ и другие республиканцы предлагают запросить высшую инстанцию общины— «Совет 200». Но уже поздно, сопротивление противников Кальвина становится для них слишком опасным: 26 октября Сервета единогласно приговаривают к сожжению заживо, и этот ужасный вердикт должен быть приведен в исполнение на площади Шампель уже на следующий день.

* * *

Изолированный в своей темнице от всего света, Сервет недели и недели предается экзальтированным надеждам. По своей природе крайне подверженный фантазированию и, кроме того, еще сбитый с толку тайными нашептываниями своих мнимых друзей, он все более и более одурманивается иллюзией, что уже давно убедил судей в истинности своих тезисов и что узурпатор Кальвин не нынче так завтра

под ругательства и проклятия будет с позором изгнан из города. Тем более ужасным является пробуждение Сервета, когда в его камеру входят секретари Совета и один из них с каменным лицом, обстоятельно, развернув пергаментный свиток, зачитывает приговор. Как удар грома разражается этот приговор над головой Сервета. Словно каменный, не понимая, что произошло нечто чудовищное, слушает он объявляемое ему решение, по которому уже завтра его сожгут заживо как богохульника. Несколько минут стоит он, глухой, ничего не понимающий человек. Затем нервы истязаемого человека не выдерживают. Он начинает стонать, жаловаться, плакать, из его гортани на родном испанском языке вырывается леденящий душу крик ужаса: «Misericordias!»* Его бесконечно уязвленная гордость полностью раздавлена страшным известием: несчастный, униженный человек неподвижно смотрит перед собой остановившимися глазами, в которых нет искры жизни. И упрямые проповедники уже считают, что за мирским триумфом над Серветом придет триумф духовный, что вот-вот можно будет вырвать у него добровольное признание в своих заблуждениях.

Но удивительно: едва проповедники слова божьего касаются сокровеннейших фибр души этого почти мертвого человека — веры, едва требуют от него отречения от своих тезисов, мощно и гордо вспыхивает в нем прежнее его упорство. Пусть судят его, пусть подвергают мучениям, пусть сжигают его, пусть рвут его тело на части — Сервет не отступится от своего мировоззрения ни на дюйм; именно эти последние дни возвысят этого странствующего рыцаря науки, именно в эти дни станет он мучеником за свои убеждения, героем в наших глазах. Резко отклоняет он настойчивые уговоры Фареля, спешно приехавшего из Лозанны в Женеву, чтобы вместе с Кальвином отпраздновать победу; Сервет утверждает, что земной приговор никогда не решит, прав человек в божеских вопросах или не прав. Убить — не значит убедить. Ему ничего не доказали, его душили. Ни угрозами, ни обещаниями не добиться Фарелю слова от закованного в цепи, приговоренного к казни человека. Сервет, мученик за свои убеждения, желает покаяться и другим, что он не еретик, а глубоко верующий христианин и готов примириться со своим врагом-убийцей. Поэтому он хочет перед смертью увидеться с Кальвином.

Об этом посещении Кальвином своей жертвы мы знаем по свидетельству лишь одной стороны — по сообщению самого Кальвина. Но даже в этом изложении раскрывается до отвращения отталкивающая внутренняя непреклонность и черствость его души. Палач спускается вниз, в сырую

* Здесь: «Милосердия прошу!» (исп.).

камеру, к своей жертве, но не для того, чтобы успокоить обреченного на смерть, не затем, чтобы дать братское или христианское утешение человеку, которому предстоит умереть в страшных мучениях. Холодно и обстоятельно начинается Кальвин разговор вопросом, зачем Сервет позвал его к себе и что желает он ему, Кальвину, сказать. Вероятно, он ожидает, что Сервет бросится перед ним на колени и начнет умолять, чтобы всемогущий диктатор отменил приговор или хотя бы смягчил его. Но приговоренный отвечает очень просто—и уже это должно потрясти любого человеческого человека,—что он позвал к себе Кальвина только затем, чтобы попросить у него прощение. Жертва просит у человека, приносящего его в жертву, христианского примирения. Но каменный, бесчувственный Кальвин никогда не увидит в политическом и религиозном противнике христианина, человека. Далее у Кальвина записано очень холодно: «На это я просто ответил ему, что никогда, и это соответствует правде, не имел против него личной ненависти». Не понимая или не желая понять христианское в предсмертном жесте Сервета, он отклоняет любой вид христианского умиротворения между ними; пусть Сервет оставит в стороне все, что касается его, Кальвина, и единственно лишь признаёт свое заблуждение перед богом, его триединую сущность, которую он отрицает. Сознательно или несознательно идеология Кальвина отказывается заметить в человеке, уже отданном в жертву, ближнего, собрата, в человеке, которого завтра, словно какое-то полено, бросят в костер; так в Сервете закоснелый догматик Кальвин видит лишь его, Кальвина, понимание бога, т. е. отрицающего бога вообще. Для него, одержимого упрямством, важно теперь только одно—выдавить, вырвать из обреченного на смерть Сервета перед его последним вздохом признание, что тот не прав, а он, Кальвин, прав. Но Сервет чувствует, что этот бесчеловечный зелот желает отнять у него единственное, что в его обреченном теле еще живо и составляет его бессмертие, его веру, его убеждения,—и несчастный возмущается. Решительно отказывается он дать трусливое признание. А раз так, то продолжать разговор Кальвину представляется излишним: человек, полностью отказывающийся подчиниться ему в религиозных вопросах, более не брат во Христе, а сатанинский слуга и грешник, и поэтому любое дружеское слово, обращенное к нему, было бы потрачено зря, без пользы. К чему бросать горчичное семя добра в душу еретика? Сурово отворачивается Кальвин, без слов и сердечного взгляда покидает свою жертву. За ним скрипят железные запоры, и свою запись этот зелот-обвинитель заключает удивительно бесчувственными словами, позорящими его самого на вечные времена: «Так как уговорами и предостережениями я ничего добиться

142 не смог, я не захотел быть более мудрым, чем это разрешает мне мой Учитель. Я последовал правилу святого Павла и ушел от еретика, который сам вынес себе приговор».

* * *

Смерть на костре при малом огне — самая мучительная из всех казней; даже средневековые, известные своими ужасами, пользовались ею многие сотни лет в редчайших случаях; чаще всего осужденного, привязав к столбу, душили или лишали сознания. Именно этот самый ужасный, самый чудовищный вид смертной казни был выбран для первого еретика, для первой жертвы протестантизма; и можно понять, почему после взрыва возмущения гуманистов всего мира Кальвин примет все меры к тому, чтобы, пусть с опозданием, с очень большим опозданием, попытаться снять с себя ответственность за эту чудовищную жестокость. Он и другие из консистории приложили много усилий, рассказывает он (после того, как тело Сервета давно уже превратилось в прах), к тому, чтобы мучительную казнь сожжением человека заживо на медленном огне заменить более милосердной казнью — отсечением головы, но «их усилия были напрасны» (*genus mortis conati sumus mutare, sed frustra*).

В протоколах Совета не упоминается ни об одном таком безрезультатном усилии, а какому беспристрастному человеку покажется достойным доверия тот факт, что Кальвин, сам создавший этот процесс и едва ли не орудиями пыток выдавивший из податливых советников смертный приговор Сервету, что этот самый Кальвин вдруг превратился в личность, не имеющую в Женеве ни власти, ни влияния, чтобы добиться замены бесчеловечной казни казнью более милосердной?! Впрочем, если быть точным, действительно Кальвин имел намерение смягчить казнь Сервета, но — и вот тут-то диалектический сдвиг в его утверждении — лишь при одном условии, что это смягчение Сервет купит в последний час *sacrificio d'intelletto**, своим отречением; не из человечности, а по голому политическому расчету Кальвин — впервые в своей жизни — проявил бы милосердие к своему противнику. Ибо каким бы триумфом для женевской веры было бы то, что перед костром удалось вырвать у Сервета еще и признание, что он не прав, а Кальвин — прав! Какая победа — добиться того, что осужденный мученически не умрет за свое учение, а в последний момент объявит всему народу, что только учение Кальвина, а не его правильное и единственно правильное на земле!

Но и Сервет знает о цене, которую он должен заплатить. Упорство — против упорства, фанатизм — против

* отказом мыслить (*итал.*).

фанатизма. Он предпочтет умереть в страшных мучениях за свои убеждения, чем принять не столь мучительную смерть за догмы Майге Жана Кальвина! Предпочтет полчаса невыносимо страдать, но обрести славу мученика идеи и на вечные времена покрыть позором своего бесчеловечного противника! Резко отклоняет Сервет предложение и готовится оплатить свое упорство страшной ценой невыносимых страданий.

* * *

Конец ужасен. 27 октября в одиннадцать утра приговоренного выводят в лохмотьях из темницы. Впервые за долгое время и в последний раз глаза, на веки вечные отвыкшие от света, видят небесное сияние; со всклокоченной бородой, грязный и истощенный, с цепями, лязгающими на каждом шагу, идет, шатаясь, обреченный, и на ярком осеннем свету страшно его пепельное одряхлевшее лицо. Перед ступенями ратуши палачи грубо, с силой толкают с трудом стоящего на ногах человека, за недели, проведенные в камере, разучившегося ходить,—он падает на колени. Склоненным обязан он выслушать приговор, который объявляет синдик перед собравшимся народом, приговор, заканчивающийся словами: «Мы приговорили тебя, Мигель Сервет, вести в цепях к площади Шампель и сжечь заживо, пока тело твое не превратится в пепел, а вместе с тобой как рукопись твоей книги, так и напечатанную книгу; так должен ты закончить свои дни, чтобы дать предостерегающий пример всем другим, кто решится на такое же преступление».

Дрожа от нервного потрясения и холода, слушает приговоренный решение суда. В смертельном страхе подползает он на коленях к членам магистрата и умоляет их о малом снисхождении—быть казненным мечом, с тем чтобы «избыток страданий не довел его до отчаяния». Если он и согрешил, то сделал это по незнанию; всегда у него была одна только мысль—способствовать божьей славе. В этот момент между судьями и человеком на коленях появляется Фарель. Громко спрашивает он приговоренного к смерти, согласен ли тот отказаться от своего учения, отрицающего триединство, в этом случае он получит право на более милосердную казнь. Но—и именно последний час морально возвышает облик этого, в остальном обыкновенного, человека—Сервет вновь решительно отказывается от предложенного торга и повторяет ранее сказанные им слова, что ради своих убеждений готов вытерпеть любые муки.

Теперь предстоит трагическое шествие. И вот оно двинулось. Впереди, охраняемые лучниками, идут сеньор лейтенант и его помощник, оба со знаками отличия; в конце процессии теснится вечно любопытная толпа. Весь путь

144 лежит через город мимо бесчисленных, робко и молчаливо глядящих зрителей; не унимается идущий рядом с осужденным Фарель. Бесперывно, не умолкая ни на минуту, уговаривает он Сервета в последний час признать свои заблуждения, отречься от своих ложных взглядов. И услышав истинно набожный ответ Сервета, что, хотя ему мучительно тяжело принимать несправедливую смерть, он молит бога быть милосердным к его, Сервета, обвинителям, догматик Фарель приходит в неистовство: «Как?! Свершив самый тяжкий из возможных грехов, ты еще оправдываешься? Если ты и впредь будешь так же себя вести, я предам тебя приговору божьему и покину, а ведь я решил было не покидать тебя до последнего твоего вдоха».

Но Сервет уже безмолвен. Ему противны и палачи, и спорщики: ни слова более с ними. Беспрестанно, как бы одурманивая себя, бормочет этот мнимый еретик, этот человек, якобы отрицающий существование бога: «О боже, спаси мою душу, о Иисус, сын вечного бога, прояви ко мне милосердие». Затем, возвысив голос, просит он окружающих вместе с ним молиться за него. Даже на площади, где должна свершиться казнь, в непосредственной близости от костра, он еще раз становится на колени, чтобы сосредоточиться на мыслях о боге. Но из страха, что этот чистый поступок мнимого еретика произведет на народ впечатление, фанатик Фарель кричит толпе, указывая на благоговейно склонившегося [Сервета]: «Вот вы видите, какова сила у сатаны, схватившего в свои лапы человека! Еретик очень учен и думал, вероятно, что вел себя правильно. Теперь же он находится во власти сатаны, и с каждым из вас может случиться такое!»

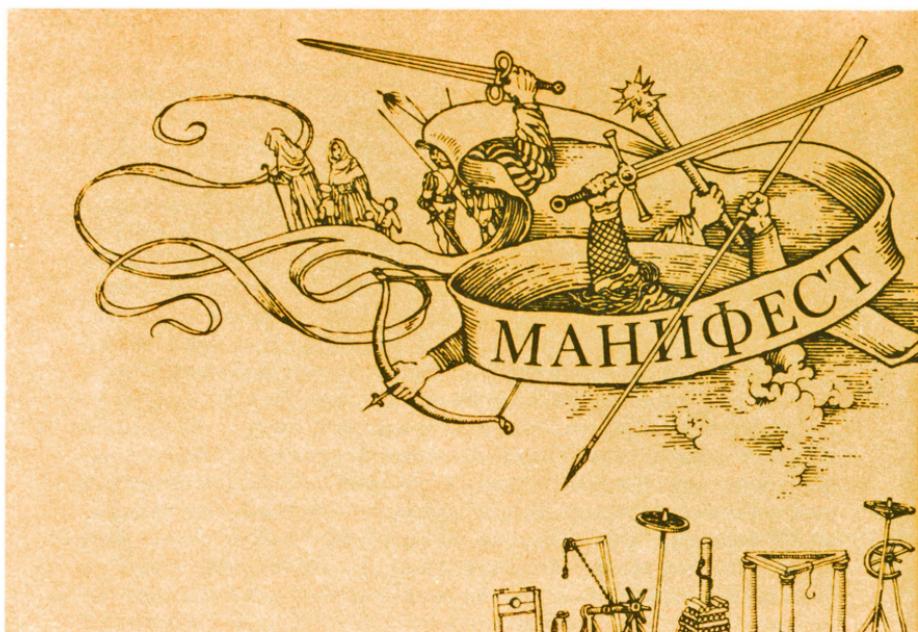
Между тем начинаются отвратительные приготовления. Уже дрова нагромождены возле столба, уже лязгают железные цепи, которыми Сервета привязывают к столбу, уже палач опутал приговоренному руки. К тихо вздыхающему «Боже, боже мой!» Сервету в последний раз пристает Фарель, громко выкрикивая жестокие слова: «Больше тебе нечего сказать?» Все еще надеется упрямец, что при виде места своих последних мучений Сервет признает истину Кальвина единственно верной. Но Сервет отвечает: «Могли бы я делать иное, кроме как говорить о боге?»

Обманутый в своих ожиданиях, отступает Фарель от своей жертвы. Теперь очередь страшной работы другого палача—палача плоти. Железной цепью Сервет привязан к столбу, цепь обернута вокруг истощенного тела несколько раз. Между живым телом и жестко врезавшимися в него цепями палачи втискивают книгу и ту рукопись, которую Сервет некогда *sub sigillo secreti* послал Кальвину, чтобы получить от него братское мнение о ней; наконец, в издевку

надевают ему позорный венец страданий — венок из зелени, осыпанной серой. Этими ужасными приготовлениями работа палача завершена. Ему остается лишь поджечь груды дров, и убийство начнется.

Пламя вспыхивает со всех сторон, раздается крик ужаса, исторгнутый из груди мученика, на мгновение люди, окружающие костер, отшатываются в ужасе. Вскоре дым и огонь скрывают страдания привязанного к столбу тела, но непрерывно из огня, медленно пожирающего живое тело, слышны все более пронзительные крики нестерпимых мук, и, наконец, раздается мучительный, страстный призыв о помощи: «Иисус, сын вечного бога, сжался надо мной!» Полчаса длится эта неописуемо жуткая агония смерти. Затем огонь, насытившись, спадает, дым рассеивается, и на закоптелом столбе видна висящая в раскаленных докрасна цепях черная, чающаяся, обуглившаяся масса, мерзкий студень, ничем напоминающий человеческое существо. Только что мыслящее, страстно стремящееся к вечному земное существо, думающая частичка божественной души превратилась в страшную, противную, зловонную массу, один взгляд на которую, вероятно, тотчас отвратил бы Кальвина, если бы он понял вдруг всю бесчеловечность своего высокомерия, от намерения быть когда-либо еще судьей и убийцей своего ближнего.

Но где в этот час ужаса Кальвин? То ли, чтобы сохранить видимость своей непричастности, то ли для того, чтобы пощадить свои нервы, он предпочел остаться дома. Поручив ужасное дело жестокому собрату по вере — Фарелю и палачу, он при закрытых окнах сидит в своей рабочей комнате. Когда требовалось выследить, обвинить, довести до невменяемости, толкнуть в костер невинного, Кальвин неизменно был впереди всех. В час же казни видят лишь наемных палачей, а не истинного виновника, не того, кто хотел этого «благочестивого убийства», кто приказал его совершить. Лишь в следующее воскресенье торжественно взойдет он в своей черной рясе на кафедру, чтобы перед молчащей общиной восхвалить свершившееся дело как великое, справедливое, необходимое и достойное дело, которому сам он, правда, не решился открыто и свободно посмотреть в глаза.



Все современники восприняли сожжение Сервета как моральное поражение Реформации. Правда, в тот век насилия сама по себе казнь одного человека не была из ряда вон выходящим событием; в те времена во всей Европе — от берегов Испании до Северного моря и на Британских островах во славу Христа сжигали бесчисленное множество еретиков. Во имя различных, единственно истинных церквей и сект многих, очень многих безвинных, беззащитных людей волокли на эшафоты, сжигали, обезглавливали, душили или топили. «Если бы они, обреченные на гибель, были, я не скажу — лошадьми, а хотя бы свиньями, — пишет Кастеллио в «Книге еретиков», — то каждый властелин хорошенько подумал бы, прежде чем идти на такой убыток». Но ведь истребляются всего лишь люди, и поэтому никто жертв не считает. «Я не знаю, — восклицает в отчаянии Кастеллио, который, впрочем, ничего не мог знать о нашем столетии войн, — проливалось ли когда-либо так много крови, как в наше время».

Но всегда, в каждом столетии одно из бесчисленных чудовищных злодеяний пробуждает, казалось бы, спящую совесть мира. Пламя костра мученика Сервета пылает ярче всех других костров своего времени, и даже Гиббон¹ два столетия спустя признает: это жертвоприношение потрясло его глубже, чем тысячи жертвоприношений на кострах инквизиции. Ибо казнь Сервета, говоря словами Вольтера, —



первое в рамках Реформации «религиозное убийство» и первое красноречивое отрицание ее основополагающей идеи. Само по себе понятие «еретик» для евангелического учения — абсурд, поскольку Реформация каждому обещала право свободного толкования Священного писания, и действительно, в самом начале религиозного движения и Лютер, и Цвингли, и Меланхтон с отвращением говорят о всех насильственных мерах по отношению к тем, кто не принимает их движение. Лютер категорически заявляет: «Я не больно-то люблю смертные приговоры, даже заслуженные, а что в этом деле меня пугает, так это прецедент, который создается этим случаем. Поэтому я никоим образом не могу одобрить то, что творят лжепророки». С необычайной лаконичностью он формулирует: «Еретиков нельзя угнетать или подавлять силой, побеждать их следует только словом божьим. Ведь ересь — это духовная категория, на которую ни земным огнем, ни земной водой воздействовать невозможно». Так же недвусмысленно заявляет и Цвингли: в вопросах веры невозможны никакие апелляции к магистрату, невозможны любые применения насилия.

Но вскоре новое учение, ставшее за это время уже церковью, вынуждено будет признать — старая церковь знала это уже давно, — что авторитет без насилия долговременно не удержать; и, чтобы отодвинуть необходимость решения вопроса, Лютер сначала предлагает компромисс: он вводит

148 различие между понятиями Haereticis и Sediticis, между «возражающими», которые имеют по отдельным духовно-богословским вопросам мнение, отличное от мнения реформированной церкви, и мятежниками, собственно «бунтовщиками», желающими изменить вместе с религиозным и социальный порядок. Вот против этих последних — здесь имеются в виду и общины анабаптистов — руководство церкви санкционирует применение насилия. На решительный шаг, на выдачу инакомыслящих и свободомыслящих палачу, никто, однако, из вождей реформированных церквей не идет. Живет еще в них воспоминание о временах, когда новаторами духа стояли они против папы и императора за право иметь собственные убеждения как за священнейшее право человека. Поэтому невозможным представляется им введение новой, протестантской инквизиции.

И вот предав Сервета казни, Кальвин совершает этот имеющий всемирно-историческое значение шаг к протестантской инквизиции, бесцеремонно растапывая провозглашенное Реформацией право «свободы христианина», одним рывком догоняя католическую церковь, которая, надо отдать ей должное, более тысячи лет колебалась, прежде чем заживо смогла сжечь первого человека за его собственные толкования в вопросах веры. Кальвин же этим презренным актом своей духовной тирании обесчестил Реформацию уже на втором десятилетии своего господства, и в моральном смысле его поступок, вероятно, еще более отвратителен, чем все преступления Торквемады², вместе взятые. Ибо если католическая церковь изгоняет из своей общины еретика и предаст его земному суду, то этим она никогда не совершает акт личной ненависти, а, высвобождая вечную душу из ее грешной брэнной оболочки, считает, что выполняет акт очищения, спасения души для бога. В холодном же правосудии Кальвина эта мысль освобождения от греха совершенно отсутствует. Костер на площади Шампель зажжен не ради спасения души Сервета, а исключительно для того, чтобы сохранить неприкосновенной концепцию Кальвина о боге. Сервет умирает страшной смертью не потому, что отрицал бога, — он никогда бога не отрицал, — а только потому, что отрицал некоторые тезисы Кальвина. Напрасно надпись на памятнике «Жертве своего времени», столетия спустя поставленном свободным городом Женевой свободному мыслителю Сервету, пытается оправдать Кальвина. Нет, не ослепление, не безумные иллюзии того времени — и Монтень живет в эти дни, и Каstellio — толкнули Сервета в костер, а только один-единственный личный деспотизм Кальвина. Никакое оправдание не снимет с протестантского Торквемады тяжести этого преступления. Ибо хотя всегда можно обосновать характерные для любой эпохи суеверия и неверие, но за

каждое отдельное преступление ответственность обязательно несет свершивший его человек.

* * *

С первого же часа после ужасной смерти Сервета стало расти возмущение, и даже сам де Без, восхвалявший Кальвина в своих жизнеописаниях, признает: «Еще не остыл пепел несчастного, как стали возбужденно ставить вопрос, следует ли наказывать еретиков. Одни были того мнения, что их следует подавлять, но не смертной казнью. Другие требовали, чтобы наказание их было делом бога». Даже в голосе безоговорочного панегириста Кальвина мы слышим странные нотки сомнения; и это еще более характерно для остальных друзей Кальвина. Правда, Меланхтон, который в свое время ругал Сервета, пишет «своему возлюбленному брату» Кальвину: «Церковь благодарна тебе и в последующем будет тебя благодарить. Приговорив этого богохульника к смертной казни, ваши судьи вынесли правильное решение». Находится даже — вечное *trahison des clercs** — рьяный борзописец по имени Мускулюс, накропавший на этот случай набожную праздничную песню. Но других письменных свидетельств, одобряющих эту казнь, мы не знаем. Цюрих, Шафхаузен и другие синоды высказываются о мученической смерти Сервета совсем не так восторженно, как этого хотелось бы Женеве³. Хотя, возможно, им и пришлось по душе запугивание «экзальтированных людей», но они все же были очень рады, что первое в истории сожжение протестантского еретика произошло не в стенах их города и что не они, а Жан Кальвин, приняв это ужасное решение, запятнал себя перед человечеством на вечные времена.

Вместе с тем, однако, поднимаются голоса, говорящие совсем другое. Крупный правовед своего времени Пьер Будэн публично заявляет: «Я считаю, что Кальвин не имел права начинать уголовное преследование религиозного спора». Но потрясены и возмущены не только свободомыслящие гуманисты Европы; даже в кругах протестантского духовенства растет протест. Всего в каком-нибудь часе езды от ворот Женевы проповедники Вадта (Vo), защищенные бернскими властями от ищеек и палачей Кальвина, с кафедр церкви объявляют его поведение в деле Сервета нерелигиозным и незаконным, и даже в своем собственном городе Кальвину приходится подавлять критику полицейскими мерами. Женщину, открыто сказавшую, что Сервет был мучеником Иисуса Христа, бросают в тюрьму, в тюрьму бросают также печатника за утверждение, что магистрат приговорил Сервета к

* предательство мелких чиновников (франц.).

150 смертной казни лишь ради удовольствия одного человека. Некоторые выдающиеся иностранные ученые демонстративно покидают город, в котором не могут более чувствовать себя в безопасности, с тех пор как в нем свободомыслию стала угрожать деспотия взглядов. И скоро Кальвин поймет, что Сервет своей жертвенной смертью стал ему опаснее, чем живой — своими произведениями.

* * *

Ухо Кальвина чрезвычайно чувствительно к любым протестам и возражениям. И хотя в Женеве остерегаются открытых высказываний, сквозь стены, сквозь стекла окон Кальвин чувствует с трудом сдерживаемое возбуждение. Но дело сделано, а что сделано, то сделано, и, поскольку Кальвину от него не уйти, остается одно — открыто встать в его защиту. И Кальвин, который так воинственно, так наступательно начал это дело, незаметно переходит в оборону. Все его друзья единодушно поддерживают его в этом, утверждая, что пришло время оправдать привлекающий всеобщее внимание акт сожжения; и наконец Кальвин



Вольфганг
Мускулюс
Гравюра на дереве

решается против своей воли объяснить всему миру сущность дела Сервета, которого он предусмотрительно заставил навсегда замолчать, решается оправдать свои действия в этом деле.

Но в деле Сервета совесть у Кальвина нечиста, а с нечистой совестью пишется плохо. Поэтому-то его апология «Защита истинной веры и триединства против ужасного еретика Сервета», которую он, как скажет Кастеллио, «писал еще с кровью Сервета на руках»,— одно из самых слабых его произведений. Кальвин сам пишет, что он его *tumultuarie*, то есть писал в спешке и волнуясь; а чувство неуверенности, испытываемое им в этой навязанной ему защите, подтверждается примечательным фактом—чтобы не нести одному ответственность за свои тезисы, он дал подписать их всем духовным лицам Женевы. Очень уж не хочется ему считаться единолично убийцей Сервета, и поэтому в его аполонии прослеживаются две мысли, крайне неловко переплетающиеся друг с другом, противоречащие друг другу. С одной стороны, Кальвин под давлением общего недовольства пытается снять с себя ответственность, взваливая ее на «власти», с другой стороны, он должен доказать, что магистрат поступил правильно, уничтожив подобное чудовище, *monstrum*. Чтобы представить себя особенно добросердечным человеком, противником любого насилия, он, ловкий демагог, добрую часть своей книги заполняет жалобами на ужасы католической инквизиции, которая, не давая верующим возможности защищаться, приговаривает их к смерти и казнит страшными способами («А ты,—ответит ему позже Кастеллио,—дал ты Сервету защитника?»). Затем он поражает удивленного читателя сообщением, что непрерывно пытался тайно вернуть Сервета к правильному образу мыслей (*Je n'ai pas cessé de faire mon possible, en secret, pour le ramener à des sentiments plus saints*); значит, вопреки тому что Кальвин склонялся к снисхождению, по существу только магистрат приговорил Сервета к смертной казни, к тому же особенно ужасной. Но эти мнимые усилия Кальвина в защиту Сервета, усилия убийцы в защиту жертвы, были слишком «тайными», чтобы нашлась хоть одна душа на земле, которая поверила бы этой задним числом придуманной сказке, и Кастеллио с презрением разъясняет истинное положение вещей. «Первыми твоими увещеваниями были оскорбления, вторыми—тюрьма, и вот Сервета, потащив на костер, сожгли заживо».

Но одной рукой снимая с себя ответственность за мучительную казнь Сервета, Кальвин другой рукой расписывается в полном оправдании «властей» за их приговор. И тогда же, едва лишь требуется оправдать право на подавление инакомыслящих, Кальвин становится красноречивым.

152

Недопустимо, аргументирует он, дать каждому свободу говорить все, что он думает (*la liberté à chacun de dire ce qu'il voudrait*), ибо тогда эпикурейцы, атеисты и пренебрегающие богом дадут себе волю. Возвещаться должна лишь истинная доктрина (доктрина Кальвина). Но такая цензура— всегда деспоты мышления повторяют одни и те же нелогичные аргументы— ни в коем случае не означает ограничения свободы. *Ce n'est pas tyranniser l'Eglise que d'empêcher les écrivains mal intentionnés de répandre publiquement ce qui leur passe par la tête.* Заткнуть рот другим, имеющим свое мнение,— по Кальвину и ему подобным— отнюдь не означает насилия; это всего лишь правильное поведение и служение более высокой идее— на этот раз «славе божьей».

Но не моральное понуждение еретика является уязвимой точкой, которую Кальвин, собственно, хочет защитить— как тезис понуждение заимствовано у первых вождей протестантизма,— нет, решающим является вопрос, можно ли убивать или санкционировать убийство инакомыслящих. Так как Кальвин на этот вопрос заранее уже ответил утвердительно казнью Сервета, он должен свой ответ задним числом

DEFENSIO ORTHODOXAE

fidei de sacra Trinitate, cōtra prodigiosos errores Michaelis Serueti Hispani: vbi ostenditur hæreticos iure Gladii coercendos esse, & nominatim de homine hoc tam impio iustè & meritò sumptū Genevæ fuisse supplicium.

Per Iohannem Calvinum.



Oliua Roberti Stephani.

M. D. L I I I I.

Титульный лист
сочинения Кальвина
«Defensio orthodoxae
fidei...» (Защита истинной
веры...), 1554

обосновать. А чтобы показать, что Сервета он уничтожил лишь «по указанию свыше», «послушный божьему требованию», защиту свою он, естественно, ищет в Библии. Так как в Евангелии слишком много говорится о том, что следует «любить врагов своих», он пытается привлечь закон Моисея и приводит примеры казней еретиков, но убедительного-то материала у него нет: ведь Библии еще не было известно понятие «еретик», она знала только «богохульника», отрицающего существование бога; Сервет же, выкрикивающий в последние минуты своей жизни из огня имя Христа, никогда атеистом не был. Но Кальвин, опирающийся на Библию всегда, когда ему это особенно удобно, объявляет тем не менее физическое истребление инакомыслящих «святым» делом «властей». «Повинен был бы человек, не обнаживший меч, если б его дом оказался запятнан идолопоклонством и кто-либо из его домочадцев восстал против бога, но несравненно более мерзкой была бы эта трусость со стороны властелина, пожелай он закрыть глаза, когда религия предается поруганию». Меч дан властям затем, чтобы они использовали его «во славу божью» (всегда в своих призывах к

Huic Libro subscripserunt Geneuensis Ecclesiae
Ministri ac Pastores,

Iohannes Caluinus.
Abelus Pouppinus.
Iacobus Bernardus.
Nicolaus Galafius.
Franciscus Bourgonius.
Nicolaus Paruus.
Reimondus Caluetus.
Matthæus Malefianus.
Michael Copus.
Iohannes Pyrerius.
Iohannes à Sancto Andrea.
Iohannes Baldinus.
Iohannes Faber.
Iohannes Macarius.
Nicolaus Colladonius.

Последняя страница
сочинения Кальвина
«Defensio orthodoxae fidei...»,
содержащая имена (подписи)
духовных лиц Женевы

154 насилию Кальвин злоупотребляет этими словами); он наперед оправдывает любой поступок, который совершается в набожном рвении, в *saint zèle*. Защита ортодоксии, истинной веры, должна, по Кальвину, рвать все кровные связи, все требования человечности; даже самого близкого своего родственника следует уничтожить, если сатана гонит его к отрицанию «истинной» религии, к ужасному кощунству — *On ne lui fait point l'honneur qu'on lui doit, si on ne préfère son service à tout regard humain, pour n'épargner ni parentage, ni sang, ni vie qui soit et qu'on mette en oubli toute humanité quand il est question de combattre pour sa gloire.*

Страшные слова, трагическое подтверждение того, как может фанатизм ослепить человека, в остальном трезво рассуждающего. Ибо с циничной откровенностью сказано здесь, что набожным, по Кальвину, можно считать лишь того, кто за «учение», за его, Кальвина, учение «*tout regard humain*», должен убить в себе все человеческие чувства, должен добровольно выдать инквизиции жену, друга, брата, весь свой род, едва они по какому-либо пункту или подпункту религиозного учения выскажутся иначе, чем это принято

DECLARATION

POUR MAINTENIR LA
vraye foy que tiennent tous Chrestiens
de la Trinite des personnes en un seul Dieu.

PAR JEAN CALVIN.

Contre les erreurs detestables de Michel Seruet Espagnol. Ou il est aussi monstré, qu'il est licite de punir les heretiques: & qui à bon droit ce mechant a esté exccuté par iustice en la ville de Geneue.



CHEZ JEAN CRESPIN

A GENEVE,

M. D. LIIII.

Титульный лист
сочинения Кальвина
«Защита истинной веры...»
на французском языке
(Женева, 1554)

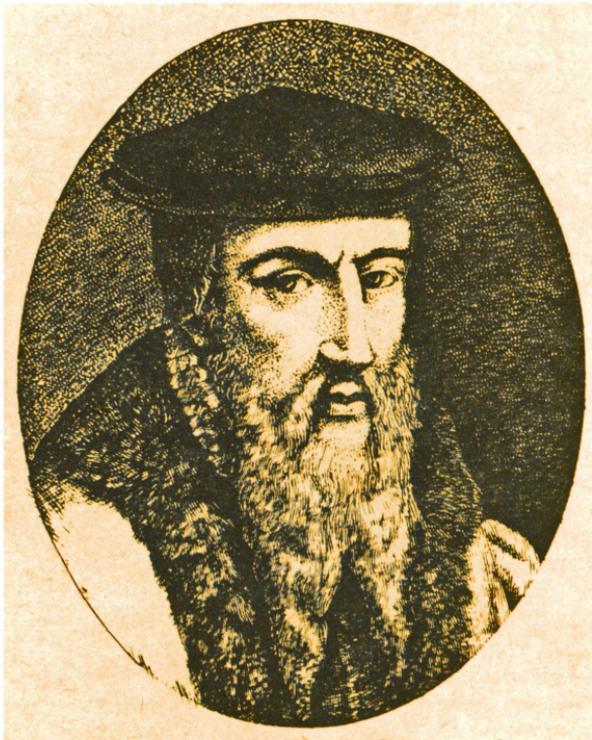
консistorией. А для того, чтобы никто не восстал против этого кровавого тезиса, Кальвин обращается к своему последнему, самому любимому аргументу — террору. Он заявляет, что каждый защищающий еретика, каждый простивший ему его ересь сам становится еретиком и поэтому подлежит наказанию. Кальвин не терпит противоречий и хочет каждому, кто может решиться на возражения, заранее внушить страх, угрожая ему участью Сервета: либо молчи и беспрекословно слушайся, либо сам иди на костер! Раз и навсегда желает Кальвин покончить с мучительным для него обсуждением вопроса об убийстве Сервета.

Но обвиняющий голос убиенного не заглушить, как бы громко, как бы яростно Кальвин ни выкрикивал свои угрозы миру, и защитительное сочинение Кальвина с призывом к охоте за еретиками производит наисквернейшее впечатление; отвращение охватывает самых честных протестантов, им противно видеть инквизицию, защищаемую ех cathedra реформированной церкви. Иные считают, что такой драконовский тезис, пожалуй, больше к лицу магистрату, нежели проповеднику слова божьего, слуге Христа; великолепно звучит благородное и убедительное письмо Кальвину секретаря магистрата города Берна, Церхинтеса, который позже станет вернейшим другом и защитником Кастеллио. «Открыто утверждаю,— пишет он,— что и я принадлежу к тем, которые хотят возможно сильнее ограничить применение смертной казни для противников религиозного движения и даже для тех, кто желает остаться в своем заблуждении. Меня к этому мнению в особенности побудили не только те места Священного писания, которые убедительно говорят против применения насилия, но и отношение в нашем городе к анабаптистам. Я сам видел, как волокли на эшафот восьмидесятилетнюю женщину вместе с ее дочерью, матерью шестерых детей; эти женщины не свершили иного преступления, кроме отрицания догмата о крещении детей. Под впечатлением такого примера я страшусь, что судейские власти не будут держаться в строгих границах, в которые ты сам хотел бы их заключить, и за малые заблуждения станут карать, как за большие преступления. Поэтому я предпочел бы, чтобы власти оказались скорее повинными в избытке милосердия и снисхождения, чем в суровости меча... И по мне лучше пусть прольется моя кровь, чем я запятнаю себя кровью человека, смерть которого не безусловно заслужена им».

* * *

Так во времена фанатизма говорит маленький, незначительный секретарь магистрата и так думают многие; но все они только думают так, но не высказываются. Даже славный

156 Церхинтес, как и его учитель Эразм, избегает открытого спора и, пристыженный, признается Кальвину, что сообщает ему свое мнение лишь письменно, публично же предпочел бы молчать. «Я не сойду на арену, пока совесть не понудит меня к этому. Вместо того, чтобы развязывать споры и кого-нибудь при этом ненароком оскорбить, я предпочитаю остаться немым, пока моя совесть разрешает мне это». Гуманные личности всегда слишком быстро смиряются, облегчая тем самым насильникам их гнусную деятельность; все они ведут себя, как этот благородный, но невоинственный Церхинтес: они молчат и молчат, эти гуманисты, люди интеллекта, ученые: одни — потому, что им противны свары, другие — из страха, что их самих сочтут еретиками, если они лицемерно не сочтут казнь Сервета благородным деянием. И уже создается впечатление, будто чудовищное требование повсеместного, всеобщего преследования инакомыслящих ни у кого не встретит отпора. Но неожиданно поднимается голос — Кальвин хорошо знает и ненавидит его лютой ненавистью, — чтобы открыто от имени поруганной человечности обвинить Кальвина в преступлении, в убийстве Миге-



Давид Йорис
Гравюра на меди
из книги
«Портреты
знаменитых
швейцарцев»
(Цюрих, 1799)

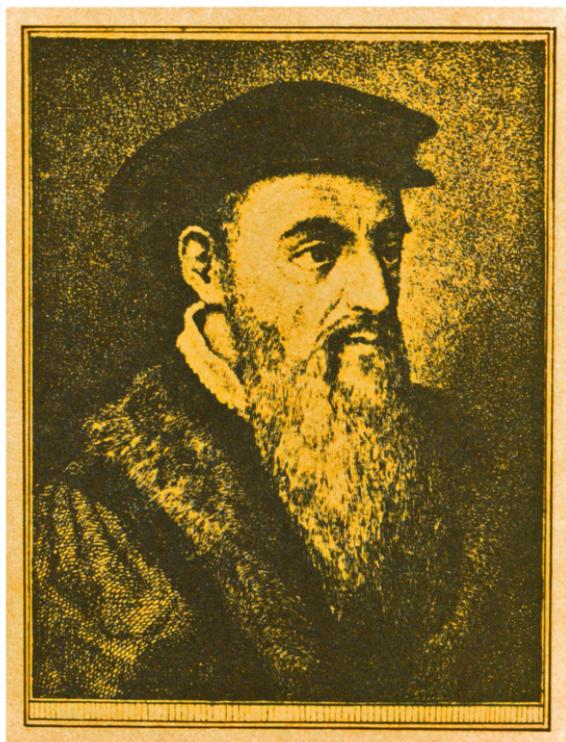
ля Сервета,—голос Кастеллио, которого не запугали никакие угрозы женеvского насильника, человека, готового отдать свою жизнь, чтобы спасти жизнь бесчисленному количеству людей.

* * *

В каждой духовной борьбе наиболее стойкие, наиболее смелые борцы—не те, кто легко и страстно начинает бой, а люди внутренне миролюбивые, в которых намерение и решимость зреют медленно, которые долго колеблются, прежде чем выступить. Только исчерпав все другие возможности взаимопонимания и поняв неизбежность столкновения, с тяжелым, безрадостным сердцем идут они в вынужденное наступление; но именно те, кто с большим трудом решается на битву, оказываются более убежденными и более решительными. Так и Кастеллио. Истинный гуманист, он не прирожденный боец, не сторонник борьбы; предупредительность, стремление к умиротворению, к примирению бесконечно ближе его мягкой, глубоко религиозной натуре. Как и его духовный отец Эразм, он прекрасно знает, что любая истина многообразна и многозначна, и не случайно своему самому значительному произведению он дал многоговорящее заглавие: «*De arte dubitandi*» («О высоком искусстве сомневаться»). Но это постоянное сомнение в себе, постоянная проверка себя никоим образом не делают Кастеллио холодным скептиком; его осторожность учит его лишь терпимости ко всем другим мнениям, и он всегда предпочитает молчание поспешному ввязыванию в спор других. Добровольно пожертвовав работой и положением, он ради сохранения внутренней свободы полностью отстранился от политики, чтобы имеющим огромное значение переводом Библии на два языка более действенно служить Евангелию. Базель, этот последний островок религиозной свободы, стал для него спокойным приютом; здешний университет еще бережет наследие Эразма; город стал убежищем европейских гуманистов, преследуемых церковными диктатурами. Здесь живут и Карлштадт, изгнанный Лютером из Германии, и Бернардо Окино, бежавший от римской инквизиции из Италии, здесь Кастеллио, вытесненный из Женевы Кальвином, здесь Лелио Социн, и Курионе, и бежавший из Нидерландов под чужим именем анабаптист Давид де Йорис⁴. Одинаковые судьбы, одинаковые преследования связывают этих эмигрантов, хотя ничего общего в богословских взглядах у них нет; чтобы общаться друг с другом, вести мирные беседы, гуманистам и не нужна систематическая, всеобъемлющая унификация мировоззрений. Все эти люди, не желающие служить никакой моральной диктатуре, ведут в Базеле тихое приватное существование ученых, не забрасывают мир трактатами и

158 брошюрами, не разглагольствуют на лекциях или диспутах, не сколачивают ни союзов, ни сект; эти одинокие «ремонтранты», эти «возражатели» (так позже назовут их, протестующих против любого догматического террора) связаны братскими узами совместной скорби по поводу растущего конформизма и развивающейся регламентации мышления.

Для этих независимых мыслителей сожжение Сервета и кровавый защитительный памфлет Кальвина означают объявление им войны. Гнев и ужас испытывают они от этого дерзкого вызова. Они прекрасно понимают — наступил решающий момент; если этот тиранический поступок останется без ответа, тогда свободному мышлению в Европе придет конец, тогда утвердится насилие. Значит, действительно, «однажды увидев свет», после Реформации, принесшей миру требование свободы совести, опять низвержение в темноту? Значит, действительно, как требует этого Кальвин, виселицей и мечом будут уничтожены все инакомыслящие христиане? Не следует ли теперь, в этот опасный момент, до того как от костра на площади Шампель вспыхнут сотни других костров, твердо заявить, что нельзя преследовать, как диких



Курио
Гравюра на дереве

зверей, и жестоко мучить до смерти, словно разбойников и убийц, людей, имеющих в духовных вопросах другое, чем у власть имущих, мнение. В этот ответственный, в этот самый ответственный час следует громко и отчетливо сказать миру, что любая нетерпимость ведет себя не по-христиански, а когда прибегает к террору — бесчеловечно; все они чувствуют это, сейчас должно быть произнесено громко и отчетливо слово в защиту преследуемых, слово — против преследующих.

Громко и отчетливо — возможно ли подобное в этот час? Есть времена, в которые следует завуалировать простейшие и чрезвычайно ясные истины, чтобы они попали к людям; так как парадные ворота охраняются клеветами властелина, то наигуманнейшие и самые святые мысли, закутавшись, замаскировавшись, словно воры, пробираются к людям через черный ход. Во все времена повторяется абсурдный факт, что там, где разрешаются всевозможные подстрекательства одного народа против другого, одной веры против другой, подавляются, подвергаются преследованию все тенденции примирения, все идеалы пацифизма и умиротворения под тем предлогом, что они угрожают какому-либо (каждый раз другому) государственному или богословскому авторитету, они якобы своей волей к гуманизму, своей «пораженческой» сущностью ослабляют благочестивое или патриотическое рвение. Нет, Кастеллио и его единомышленники не могут в условиях террора Кальвина решиться открыто и ясно высказать свои взгляды; манифест терпимости, призыв к гуманизму в том виде, как его представляли себе авторы книги, немедленно подпал бы под запрет духовных диктатур. Пусть силе противостоит хитрость. И вот появляется книга: фамилия издателя вымышленная, Мартинус Беллиус, место издания на титульном листе указано ложное — Магдебург вместо Базеля; и прежде всего сам текст, это горячее воззвание в защиту невинно преследуемых, замаскирован и выглядит как научное, как богословское произведение; пусть будет сохранена видимость, что высокообразованные церковные и прочие авторитеты рассматривают чисто академический вопрос: «*De haereticis an sint persequendi et omnino quomodo sit cum eis agendum multorum tum veterum tum recentiorum sententiae*», что означает: «Преследовать ли еретиков и как с ними вести себя, изложено по заключениям многих древних и новых авторов». И действительно, когда бегло листаешь страницы, поначалу кажется, что ты держишь в руках благочестивый теоретический трактатец, ибо видишь в нем сентенции знаменитейших отцов церкви, святого Августина, святых Хрисостома и Иеронима рядом с избранными высказываниями больших авторитетов протестантизма, таких, как Лутер,

160 Себастьян Франк⁵, или же гуманистов, не примкнувших ни к какому лагерю, например Эразма. Похоже, что это всего лишь схоластическая антология, правово-богословский сборник цитат из произведений философов, принадлежащих к различным течениям и лагерям, рассчитанный на то, чтобы дать самому читателю возможность определить свое личное, не навязанное извне мнение по этому деликатному вопросу; если же присмотреться внимательнее, то видно, что цитаты подобраны только те, в которых осуждается смертная казнь еретика. И остроумнейший выпад, единственная колкость, допущенная в этой по существу своему серьезнейшей книге,—среди цитируемых противников Кальвина находится один, тезис которого должен быть ему особенно неприятен,—сам Кальвин. Его высказывание, правда относящееся к тем временам, когда еще преследовали его самого, резко противоречит его теперешнему страстному призыву к борьбе огнем и мечом с еретиками; собственными своими словами жестокий убийца Сервета Кальвин клеймит Кальвина как человека, совершившего нехристианский поступок, ибо цитата, подписанная его именем, гласит: «Не по-христиански преследовать оружием отверженных церковью и отказывать им в правах человечности».

Но особую ценность все же имеет не тайная мысль, пронизывающая книгу, а мысль, нашедшая свое выражение в словах. Эти слова говорит Кастеллио в своем посвящении книги герцогу Вюртембергскому, и именно эти предваряющие и заключающие книгу слова поднимают богословскую антологию над своим временем. Она вмещается всего в два десятка страничек, но это первые страницы, с которых свобода мышления требует себе священные права гражданства в Европе. [...] На все времена с этих страниц объявлена война исконному врагу всякой духовной справедливости — узколобому фанатизму, который желает подавить любое мнение, хоть в чем-то отличающееся от мнения его лагеря, и победоносно противопоставляется ему идея, которая одна способна освободить землю от вражды,—идея терпимости.

* * *

С бесстрашной логичностью, ясно и неопровержимо развертывает Кастеллио свой тезис. Ставится вопрос: можно ли преследовать и карать смертью еретиков за их чисто духовный проступок. Этот вопрос Кастеллио решительно предваряет другим: что такое еретик? Кого можно по справедливости считать еретиком, ибо Кастеллио в своей бесстрашной решимости утверждает: «Я не верю, чтобы еретиками были все, кого считают еретиками... Это понятие нынче настолько позорно, настолько ужасно, настолько презренно и пугающе, что если кто-либо хочет избавиться от

личного врага, ему проще всего обвинить того в ереси. Едва другие люди услышат это, они испытают такой страх от одного слова «еретик», что заткнут уши и станут в слепом неистовстве преследовать не только его, но и тех, кто отважится сказать в его защиту хотя бы одно слово».

Итак, что такое еретик? Вновь и вновь задает Кастеллио этот вопрос. И поскольку Кальвин и другие инквизиторы ссылаются на Библию, как на единственно имеющую силу закона книгу, он исследует ее страницу за страницей. Но удивительное дело, в Библии он вообще не находит этого слова, этого понятия; должны были появиться догматика, ортодоксия, учение о единообразии, чтобы можно было создать это понятие, придумать это слово. Ведь для того, чтобы отклониться от норм, нужно, чтобы они существовали, чтобы церковь существовала как институт. В Священном писании говорится, правда, о богохульниках и о наказании, которому их надо подвергать. Но еретик ни в коем случае — и дело Сервета это показало — не богохульник; именно те, кого считают еретиками, утверждают, что они — истинные, настоящие христиане и восторженно почитают

Traicté des heretiques,

*A sçavoir, si on les doit persecuter,
Et comment on se dou conduire
avec eux, selon l'aduis, opi-
nion, & sentence de plu-
sieurs autheurs, tant
anciens, que mo-
dernes,*

¶

Grandement necessaire en ce temps plein
de troubles, & tres utile à tous: &
principalement aux Princes & Ma-
gistrats, Pour cognoistre quel est
leur office en vne chose tant difficile,
& perilleuse.

La prochaine page monstrera les
choses contenues en ce Liure.

*Celuy qui estoit né selon la chair, persecutoit
Celuy qui estoit né selon l'Esprit. Gala. 4.*

On les vend à Rouen, par Pierre
Freneau, pres les Cordeliers.

1 5 5 4.

Титульный лист труда
Себастьяна Кастеллио
«Трактат о еретиках...»
(1554)

162 Спасителя; пример тому — перекрещенцы, анабаптисты. Так как турка, иудея, язычника никогда не назовут еретиком, ересь, следовательно, является преступлением, бытующим исключительно среди христиан. Итак, появляется новая, более точная формулировка: еретики — это те, которые, хотя и являются христианами, самовольно в различных отдельных пунктах отклоняются от «истинного» мнения.

Казалось бы, этим найдено окончательное определение. Но — роковой вопрос! — какое христианство из существующего множества толкований «истинное», какое толкование божьего слова «истинно» — католическое, лютеранское, цвинглианское, анабаптистское, гуситское⁶, кальвинское? Имеется ли абсолютная ясность в религиозных вопросах, каждое ли слово Священного писания поддается толкованию? В противоположность упрямцу Кальвину Каstellio достаёт мужества ответить разумным *Нем*. В Священном писании он видит места как доступные пониманию, так и непостижимые. «Истины религии, — пишет этот глубоко религиозный человек, — по своей природе исполнены тайн и являются более тысячелетия предметом бесконечных споров, в которых кровь течет непрерывающимся потоком и будет литься, пока любовь не откроет людям глаза и не скажет свое последнее слово: «Всякий, кто излагает божье слово, может впасть в заблуждение, и поэтому наипервейшим долгом каждого является взаимная терпимость. Если бы все вопросы были так же ясны и очевидны, как ясно то, что существует бог, то все христиане имели бы по всем этим вопросам одно мнение, так же как сейчас все нации едины в понимании существования бога; поскольку же, однако, все темно и спутано, христиане не должны осуждать друг друга, и если мы более мудры, чем язычники, значит, мы должны быть и лучше, и милосерднее их».

Еще на один шаг продвинулся Каstellio в своем исследовании Священного писания: еретиком является каждый, кто признает основные законы христианской веры, но не в той форме, которая авторитарно требуется в его стране. Следовательно, ересь — наконец-то важнейшее отличие! — понятие не абсолютное, а относительное. Кальвинист для католика, само собой разумеется, еретик, и точно так же, естественно, анабаптист — для кальвиниста; человек, считающийся во Франции глубоко религиозным, для Женевы — еретик, и наоборот. Тот, которого в какой-нибудь стране сжигают как преступника против веры, в соседней стране считается мучеником, «если ты в каком-нибудь городе или в какой-нибудь стране считаешься истинно верующим, именно поэтому в другом городе, в другой стране ты будешь еретиком, так что если нынче кто-нибудь хочет жить спокойно, не опасаясь, что его объявят еретиком, он должен

следовать стольким религиям и убеждениям, сколько существует городов и стран». Так подходит Кастеллио к своей последней и самой смелой формулировке. «Если я хорошенько подумаю, что же такое еретик, то окажется, еретиком мы именуем всякого, кто не согласен с нашим мнением».

В своей очевидности сказанное чрезвычайно просто, пожалуй, даже банально. Но в те времена сказать это открыто мог только человек поразительной моральной смелости. Ведь этими словами человек, не обладающий никакой земной властью, кидает в лицо обвинение всему своему времени — и вождям, и князьям, и священникам, и католикам, и протестантам, — заявляя, что все их охоты за еретиками — бессмыслица, безумие убийц, что тысячи, десятки тысяч безвинных людей противозаконно преследовали, вешали, топили, сжигали, а они никогда преступниками против бога и государства не были; ведь не в реальном пространстве бытия отпали они от других, а в невидимом пространстве — в пространстве мышления. А кому дано право судить мысли человека, его внутренние, личные убеждения приравнять к подлым преступлениям? Ни государству, ни властям. Но по Библии — кесарю кесарево — и Кастеллио приводит слова Лютера: земные властелины властны лишь над плотским; бог не желает, чтобы кто-либо на земле имел права над человеческими душами. От каждого своего подданного государство вправе требовать соблюдения норм поведения и политического порядка, но любое вмешательство авторитета во внутренний мир убеждений, моральных, религиозных — а мы прибавили бы: и художественных, — пока они не представляют собой видимой угрозы сущности государства, мы бы сказали: пока они не становятся политической агитацией — означает превышение власти и вторжение в неприкосновенные права личности. За свой внутренний мир человек ни перед какой инстанцией государства не ответствен, ибо «каждый из нас сам отвечает перед богом за себя». Вопросы мышления государственной власти не подлежат. Если убеждения другого отличаются от твоих, к чему, следовательно, это неистовство с пеной у рта, это непрерывное взывание к гестапо, к чему эта ненависть, которая несет смерть? Истинная гуманность без воли к согласию невозможна, ибо, «если мы будем себя сдерживать внутренне, мы сможем жить друг с другом в мире, и даже если мы и будем иметь иногда разные мнения, то по крайней мере пойдем друг друга, поскольку любовь и стремление к миру имеют единую сущность, и мы наконец достигнем согласия в вере».

Вина за эти ужасные боины, за эти позорящие человечество варварские преследования ложится, следовательно, не на еретиков, которые невиновны (кто ответствен за свои мысли, за свои убеждения?); для Кастеллио винов-

164 ным, вечно виновным в смертоносном безумии, в диком хаосе нашего мира остается фанатизм, нетерпимость идеологов, которые желают, чтобы истинной была признана их идея, их религия, их мировоззрение. Безжалостно ставит Кастеллио к позорному столбу это высокомерие. «Люди так убеждены в справедливости своего мнения, а чаще в ложной уверенности, полагая его единственно истинным, что выказывают высокомерное презрение чужому мнению; это высокомерие — первопричина зверств и преследований, никто не желает терпеть человека с другими, отличными от него взглядами, хотя мнений на свете столько, сколько и людей. Но нет ни одной секты, которая не осуждала бы все остальные секты и не пожелала бы господствовать единовластно. И отсюда — все эти изгнания, ссылки, заточения в тюрьмах, все эти костры, виселицы, эшафоты, это мерзкое безумие казней и мучений, которые происходят вокруг нас каждодневно единственно лишь из-за точки зрения, не нравящейся власть имущим, а подчас и вообще без какого-либо определенного основания». Это дикое и варварское стремление предаться зверствам возникает лишь из упрямства, лишь из «духовной нетерпимости», а теперь иные приходят в бешенство от того, что кто-нибудь из приговоренных ими к смерти будет задушен перед сожжением, а не брошен для мучительной смерти заживо в малый огонь.

И Кастеллио утверждает: только одно может спасти человечество от этого варварства — терпимость. В нашем мире достаточно места не только для одной, но и для многих истин, и если бы люди только того пожелали, они смогли бы жить друг возле друга. «Давайте же терпеть друг друга, не будем осуждать чужие веры!» Не будет этих ужасных охот за еретиками, не потребуются никакие преследования людей за расхождения в духовных вопросах. И если Кальвин своим сочинением побуждает князей обнажить меч для полного истребления еретиков, Кастеллио взывает к властелинам: «Предпочтите склониться к милосердию, не слушайте тех, кто подстрекает вас к убийству, ибо, когда настанет час и вам надо будет отчитаться перед богом, эти люди не смогут вам помочь: ведь они очень и очень будут заняты своей собственной защитой. Поверьте мне, будь здесь сейчас Христос, никогда бы он не посоветовал вам убивать тех, кто признает его имя, даже если они и в чем-то заблуждаются или идут неправильным путем...»

* * *

Ответ на опасный вопрос о вине и невинности так называемого еретика Себастьян Кастеллио дал [...] Он проверил, тщательно взвесил все «за» и «против». Глубоко убежденный в невинности этих гонимых, этих преследу-

емых людей, требуя мира и духовной свободы, он смиренно излагает свои взгляды другим. И если сектанты, словно рыночные торговцы, словно зазывалы, крича пронзительно громко, расхваливают свои догмы и если каждый из этих узколобых доктринеров непрерывно вопит с кафедры, что он и только он предлагает чистое, истинное учение, лишь его голосом возвещается со всей точностью воля и слово божье, Кастеллио говорит просто: «Я говорю вам не как пророк, которого послал бог, а как человек из народа, которому ненавистны распри и который хотел бы только одного: чтобы религия была аргументирована не грызней, а сострадательной любовью, не внешними обрядами, а внутренним служением от сердца». Всегда доктринеры говорят с другими, как со школярами, как со слугами, гуманный же человек — как брат с братом, как человек с человеком.

Но истинно человеческий человек не может остаться безучастным при виде бесчеловечных поступков. Рука честного писателя, если душа его потрясена безумием времени, в котором он живет, не может равнодушно писать трезвые, высокопринципиальные слова; его голос не может остаться спокойным, когда кровь его кипит в справедливом возмущении. И Кастеллио не может долго сдерживать себя, не может спокойно рассуждать, видя пыточный столб на площади Шампель, на котором в страшных мучениях умер невиновный человек, отданный в жертву по приказу своего духовного брата; ученый, преданный ужасной смерти ученым, богослов — богословом — во имя чего? — во имя религии любви. Своим внутренним взором видит Кастеллио картину мучений Сервета, картину жестоких массовых преследований еретиков, он отрывает взгляд от рукописи и ищет виновников этих зверств, напрасно стремящихся личную нетерпимость оправдать благочестивым служением богу. И Кальвина увидел суровый глаз Кастеллио, когда он, зывая, написал: «И как бы ужасно ни было совершаемое вами, еще более страшный грех ляжет на вас, если вы будете пытаться прикрыть свои преступления одеянием Христа, если будете, совершая зло, ложно утверждать, что выполняете его волю». Он знает, что во все времена насильники пытаются прикрыть свое насилие какими-нибудь религиозными или мировоззренческими идеалами; но кровь пятнает любую идею, насилие унижает любую мысль. Нет, Мигель Сервет был сожжен не по указанию бога, а по приказу Жана Кальвина, и этим актом была опозорена на земле сама идея христианства. «Кто, — восклицает Кастеллио, — захочет нынче стать христианином, если признающих Христа истребляют огнем и водой, обращаются с ними более жестоко, чем с разбойниками и убийцами... Как можно желать служить Христу, если известно, что любой, не во всем согласный с захватившими

166 власть и силу, будет заживо сожжен во имя Христа, хотя он, приговоренный к смерти, и из пламени костра будет кричать, что верит в Христа?»

Поэтому следует наконец, считает этот поразительно благородный, этот истинно гуманный человек, покончить с безумием, разрешающим мучить и убивать лишь за то, что люди в духовных вопросах внутренне противятся сиюминутным властелинам. И поскольку Каstellio видит, что властелины вновь и вновь злоупотребляют своей властью, а на земле нет никого, кроме его, ничтожного, слабого, принимающего к сердцу муки гонимых и преследуемых, он в отчаянии поднимает к небу голос и заканчивает свой призыв экстаической фугой сострадания: «О Христос, создатель и царь мира, видишь Ты все это? Ужели Ты действительно стал совсем другим, чем был, стал таким страшным, враждебным к самому себе? Когда Ты пребывал на земле, не было никого более мягкого, более доброго, чем Ты, никого, кто так мудро терпел насмешки и издевательства; опозоренный, оплеванный, осмеянный, с терновым венцом на голове, распятый вместе с разбойниками, униженный до предела, Ты молился за тех, кто нанес Тебе все эти оскорбления, кто изрыгал хулу на Тебя. Неужели это правда, что Ты теперь так изменился? Я молю Тебя наисвятейшим именем Твоего отца: действительно ли Ты приказываешь топить в воде, рвать тело клещами до внутренностей, посыпать раны солью, рубить мечом, жечь на малом огне и всеми мыслимыми и немыслимыми видами пыток как можно медленнее мучить до смертного часа тех, кто исполняет Твои указания и предписания не совсем точно, как это требуют Твои учителя? Действительно ли Ты одобряешь все это, Христос? Действительно ли они — Твои слуги, те, кто повинен в этих боянях, кто закалывает, расчленяет людей, словно убойную скотину? Неужто алчешь Ты человеческого мяса, если имя Твое призывают они в свидетели при этой чудовищной резне? Если Ты, Христос, действительно приказал свершать все это, что же останется сатане? О, какое ужасное кощунство утверждать, что Ты делаешь то же, что и он! О, какими низкими должны быть люди, чтобы Твоим именем вершить все те ужасные действия, которые измыслить может только сатана!»

* * *

Если б Себастьян Каstellio ничего более не написал, кроме предисловия к книге «О еретиках», а из этого предисловия — одну только эту страницу, его имя все равно навечно останется в истории гуманизма. Ибо как одиноко звучит его голос, как мало в этих потрясающих мольбах надежды, что они будут услышаны миром, в котором бряца-

ние оружием заглушает их и последнее, решающее слово оставляет за собой война. [...] «Конечно же,— добавляет скромный Кастеллио,— я не говорю ничего, что не было бы сказано другими. Но повторять истину никогда нелишне, повторять ее до тех пор, пока она не завоеует себе признание». И поскольку в каждую эпоху насилие возобновляется в новой форме, люди духа обязаны подниматься на борьбу с ним, никогда не должны они уклоняться от этого долга под предлогом того, что время не пришло, что насилие — в силе и поэтому бессмысленно противопоставлять ему слово. Никогда нужное, необходимое не говорится слишком часто, никогда истина не говорится напрасно. И даже если слово не побеждает, произнесенное, оно уже подтверждает свое вечное присутствие, и тот, кто ему в этот час служит, уже этим показал, что террор не имеет силы над свободной душой и даже в бесчеловечный век может звучать голос человечности.



Именно те люди, которые самым беспощадным образом навязывают свои мнения другим, особенно чувствительны к любым, даже самым незначительным замечаниям в свой адрес. И Кальвин считает чудовищной несправедливостью, что мир втянулся в обсуждение казни Сервета, вместо того чтобы восторженно восхвалять ее как благочестивое, богоугодное деяние. Человек, только что бросивший другого человека в костер, предавший его мучительной казни на малом огне лишь за то, что тот расходился с ним в некоторых богословских взглядах, теперь самым серьезным образом требует у мира сострадания не к несчастной жертве, а к себе: «Если бы ты только знал хотя бы десятую долю тех поношений и нападков,— пишет он другу,— которым я подвергся, ты бы посочувствовал моему печальному положению. Со всех сторон лают на меня собаки, поливают меня всякой хулой, какую только можно измыслить. Завистники и ненавистники из моего лагеря атакуют меня ужаснее, чем открытые противники из папистов». И Кальвин с раздражением начинает понимать, что, несмотря на все цитаты из Библии и аргументы, приведенные им в последней книге, мир не желает молча признать убийство Сервета; а едва он узнает, что Каstellлио со своими друзьями готовит в Базеле ответ на его защитительный памфлет, эти угрозы нечистой совести перерастают в нечто вроде паники.

Конечно, первая же мысль тиранического темпера-



мента — немедленно подавить любое мнение, заткнуть кляпом рот каждому, применить строжайшую цензуру. Едва получив первое сообщение, Кальвин спешит к конторке и, еще не зная содержания книги «De haereticis», заранее штурмует швейцарские синоды — пусть они в любом случае запретят эту книгу. Никаких дискуссий! Женева сказала, Geneva locuta est: все, что хотят теперь сказать о деле Сервета другие, наперед объявляется заблуждением, бессмыслицей, ложью, ересью, богохульством, так как это противоречит тому, что сказал Кальвин. Прилежно бежит перо: 28 марта 1554 года он уже пишет Буллингеру¹ — только что в Базеле под вымышленным именем напечатана книга, в которой Кастеллио и Курионе хотят доказать, что еретиков нельзя устранять силой. Нельзя допустить, чтобы такое лжеучение нашло распространение, «встать на путь снисхождения и отрицать, что ересь и богохульство следует наказывать, — значит распространять заразу». Таким образом вестнику терпимости быстро затыкается кляпом рот. «Богу было бы угодно, чтобы пасторы твоей церкви хотя и с запозданием, но следили бы за тем, чтобы эта зараза не распространялась». Но этого обращения мало; на следующий день Буллингера еще более настойчиво предостерегает Теодор де Без, клевет Кальвина: «На титульном листе книги указан Магдебург, но сдается мне, что этот Магдебург стоит на Рейне: я давно уже знал, что там измышляется такое

позорное дело. И я спрашиваю, что же еще останется от христианской религии, если мы будем терпеть все, что изрыгнул этот отверженец в своем «Предисловии»?»

Но уже поздно, трактат обогнал доносы, и, когда первый экземпляр попадает в Женеву, там ярким пламенем вспыхивает настоящий пожар ужаса. Как? Нашлись люди, желающие гуманность поставить выше авторитета? Щадить инакомыслящих, обращаться с ними как с братьями, вместо того чтобы волочить их на костер? Не только Кальвин, каждый христианин имеет право толковать Священное писание по-своему? Ведь при этом церковь—Кальвин, разумеется, имеет в виду свою церковь—окажется в опасности. По сигналу в Женеве начинается кампания против ереси. Объявилась новая ересь, кричат они во все стороны, особая, очень опасная ересь—«белианизм»—так назвали они это учение о терпимости в вопросах веры, и апостол этого учения—Мартинус Беллиус (Кастеллио),—быстрее, быстрее затоптать этот адский огонь, не дать ему распространиться по земле! И в смятенной ярости пишет де Без о впервые провозглашенных требованиях терпимости: «С нача-



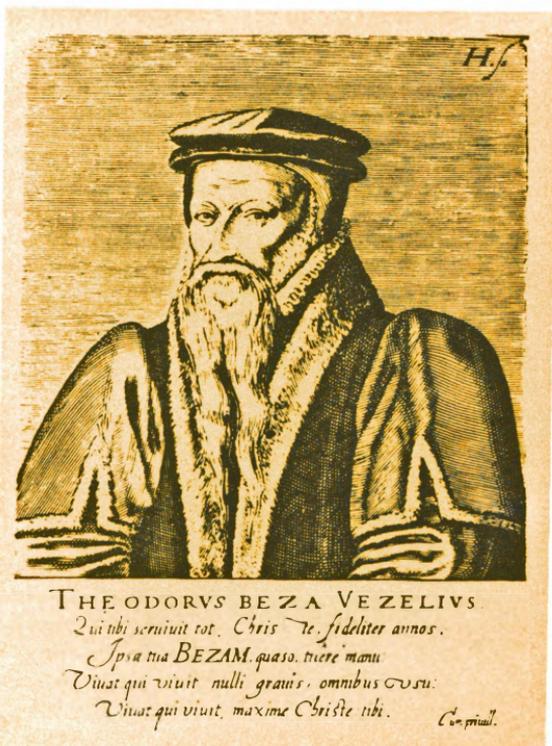
Генрих Буллингер
Гравюра на меди
из книги Боссарда

ла христианства не было слышно о подобном богохульстве».

В Женеве держится военный совет: отвечать или не отвечать? Преемник Ульриха Цвингли — Буллингер, которого женевцы так настойчиво в свое время просили задержать выпуск книги, пытается успокоить из Цюриха: книгу и так быстро забудут, разумнее совсем не выступать против нее. Но Фарель и Кальвин в горячем нетерпении настаивают на публичном ответе. Однако, учитывая печальный опыт своей первой защиты, Кальвин на этот раз предпочитает оставаться на заднем плане, он предоставляет своему помощнику, Теодору де Безу, возможность отличиться на богословском поприще, заслужить его, диктатора, благодарность за лихую атаку на «сатанинское» учение о терпимости.

* * *

Теодор де Без, по характеру порядочный, набожный человек, который за многие годы рабски покорной службы Кальвину заслужит право стать в последующем его преемни-



Теодор де Без
Гравюра на дереве

ком и еще превзойдет Кальвина—как всегда подражательный дух превосходит творческий—в своей лютой ненависти к любому, даже слабому дуновению духовной свободы. Ему принадлежат те ужасные слова, которые навсегда поставят его в истории человеческой культуры рядом с Геростратом², обремененным позорной славой: свобода совести—это учение черта (*Libertas conscientiae diabolicum dogma*). Никакой свободы! Лучше огнем и мечом истребить людей, чем терпеть высокомерие самостоятельного мышления; «лучше иметь тирана, пусть даже самого свирепого,—с пеной у рта беснуется де Без,—чем разрешить каждому действовать по своему разумению... Утверждать, что еретиков нельзя наказывать,—это все равно что сказать, что нельзя убить отцеубийцу, матереубийцу, ведь еретики в тысячу раз более преступны, чем те». После такого начала нетрудно представить, до какого неистовства договорится страстный, ортодоксально ограниченный де Без в своем памфлете против «беллианизма». Как? К этим «прикидывающимся людьми чудовищам» (*monstres déguisés en hommes*) еще проявлять гуманность? Нет, сначала порядок, а потом уж гуманность! Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, когда речь идет о «доктрине», вождь движения не должен уступать человечности, ибо не христианским, а сатанинским было бы подобное милосердие, *charité diabolique et non chrétienne*; впервые, но не в последний раз слышим мы воинственную, воинствующую теорию, в соответствии с которой человечность есть преступление против человечества,—*crudelis humanitas**, как формулирует де Без, поскольку вести человечество к какой бы то ни было духовной цели можно, лишь применяя железный порядок и беспощадную строгость. «Нельзя щадить нескольких хищных волков и отдавать им на растерзание всю верующую паству Христа... Тьфу на это мнимое милосердие, которое в действительности является чрезвычайным зверством»,—кричит zealot де Без беллианистам и умоляет власти: пусть они «добродетельно бьют мечом» (*frapper vertueusement de ce glaive*). И того самого бога, к состраданию которого от полноты своего сострадания обращается Кастеллио, умоляя его покончить, наконец, со зверской бойней, женовский пастор со страстной ненавистью умоляет «дать христианским князьям достаточно величия души и силы духа, чтобы они полностью истребили этих злодеев». Но даже само это истребление инакомыслящих кажется алчущему мести де Безу недостаточным. Не только следует убивать еретиков, но казнь их должна быть мучительной, и благочестивым кивком головы де Без заранее оправдывает любые мыслимые мучения: «Если их наказывать

* ужасная человечность (лат.).

по всей тяжести свершенных ими преступлений, я думаю, невозможно найти такие пытки, которые соответствовали бы этой ужасной тяжести».

Отвратительно даже повторять этот гимн террору, эту жуткую аргументацию антигуманизма! Но воспроизвести и запомнить каждое их слово необходимо, чтобы понять ту опасность, в которую попал бы мир протестантизма, если бы он на самом деле позволил ненависти женеvских фанатиков погнать себя к ужасам новой инквизиции, а также чтобы оценить смелость тех мужественных и разумных людей, которые с риском для своей жизни выступили против zelотов, одержимых маниакальной мыслью об опасности еретиков. Ведь для того, чтобы «обезопасить» идею терпимости, де Без в своем памфлете требует: каждого сторонника терпимости, каждого защитника «беллианства» надо считать отныне «врагом христианской религии» и, следовательно, как еретика — казнить огнем. «К каждому из них относится тот пункт тезиса, который я здесь выдвигаю: власти должны карать и отрицающего бога, и еретика». А чтобы Каstellлио и его друзья знали, что ожидает их, если они и впредь в

DE HAERETICIS A Ci-
uili Magistratu puniendis Libellus, ad-
uerfus Martini Bellii farraginem, & no-
uorum Academicorum sectam,

Theodoro Beza Vezelio auctore.



Oliva Roberti Stephani.
M. D. LIIII.

Титульный лист
сочинения Теодора де Беца
«De haereticis...»
(Книга о еретиках...),
1554

174 соответствии со своими убеждениями будут защищать гонимых, де Без грозит кулаком — ни мнимое место издания, ни псевдоним «не спасет вас от преследований, ибо каждый знает, кто вы такие и каковы ваши намерения... заранее предостерегаю вас, Беллиус и Монфор, и всю вашу клику».

* * *

И действительно, только кажется, что в пасквиле де Беза академически обсуждается богословский вопрос; истинный смысл пасквиля — в этой угрозе. Ненавистным защитникам духовной свободы следует, наконец, знать, что любимы своими дальнейшими призывами к человечности они ставят на карту свою жизнь. Себастьяна Кастеллио, этого отважнейшего человека, де Без провокаторски обвиняет в трусости, чтобы тот потерял осторожность. «Он, — издевается де Без, — который всегда старается показать себя смелым и отважным в этой книге, которая только и говорит что о сострадании и милосердии, выказывает свою боязливость, свою трусость, ведь он решился выступить, лишь хорошенько замаскировавшись». Может быть, он думает, что Кастеллио побойится назвать себя и признаться в авторстве; но Кастеллио принимает вызов. Этот страстный борец за мир вынужден выйти на открытый бой именно потому, что женевская ортодоксия хочет поднять свой недостойный поступок до уровня догмы, распространить его в повседневной практике. Он почувствовал, что для дела наступил решительный час. Трибунал человечества именно сейчас должен вынести свое окончательное решение по делу Кальвина, убившего Сервета, иначе от пламени костра на площади Шампель вспыхнут сотни, тысячи костров и то, что было единичным убийством, станет принципом, превратится в окаменевшую формулировку закона. Решительно откладывает Кастеллио свою художественную, свою научную работу, чтобы написать «J'accuse» *³ своего столетия, чтобы составить обоснованное обвинение Жана Кальвина в религиозном убийстве Мигеля Сервета. И это публичное обвинение — *Contra libellum Calvini* **, направленное против одного, конкретного человека, благодаря страстности и высокому моральному началу, заложенным в нем, становится полемическим произведением колоссальной силы: закон не должен навязывать свою волю слову, догма не имеет права подминать под себя образ мышления индивидуума, вечно свободнорожденной совести не должно угрожать вечно презренное насилие.

* «Я обвиняю» (франц.).

** «Против книги Кальвина» (лат.).

* * *

Кастеллио много лет знает своего противника, знает и его методы. Любое нападение на свою личность Кальвин всегда истолковывает как нападение на «учение», на религию и даже на бога. Поэтому с самого начала Кастеллио уточняет, что в своем сочинении «*Contra libellum Calvinii*» он не станет ни защищать, ни осуждать тезисы Сервета, не будет вдаваться в религиозные или экзегетические вопросы и что единственная задача его сочинения — обвинение одного человека, а именно Жана Кальвина, убившего другого человека — Мигеля Сервета. С твердым намерением не терпеть со стороны своего противника никаких софистических передержек, он, словно юрист, во вступлении ясно излагает *causa* — дело, о котором будет говорить. «Жан Кальвин, — так начинается он свое обвинительное заключение, — наслаждается нынче большим почетом, и я желал бы ему еще большего авторитета, если бы видел, что его учение проникнуто милосердием. Но последний поступок Кальвина иначе как кровавой казнью не назвать; он, этот поступок, несет страшную угрозу великому множеству верующих. Ненавистное кровопролитие — разве не должен весь мир делать то же самое? — я хочу с божьей помощью раскрыть перед всем миром его намерения и хотя бы немногим из тех, кого он склонил к своим взглядам, объяснить их заблуждения.

27 октября прошедшего 1553 года в Женеве испанец Мигель Сервет под давлением Кальвина, пастора тамошней церкви, был сожжен за свои религиозные убеждения. Эта казнь вызвала сильное возмущение, особенно в Италии и Франции, и, как ответ на эти протесты, Кальвин только что выпустил книгу, содержащую гнуснейшее извращение фактов, предназначенных для оправдания ее автора и для того, чтобы показать, что Сервет заслужил смертную казнь. Эту книгу Кальвина я рассмотрю критически. Пожалуй, Кальвин по своей привычке назовет еще меня учеником Сервета, но я ни в коем случае никого не хочу вводить в заблуждение. Я защищаю не тезисы Сервета, нет, я нападаю на ложные тезисы Кальвина. Дискуссию относительно крещения, триединства и других подобных им религиозных вопросов я полностью оставляю в стороне, у меня нет и книг Сервета, так как Кальвин сжег их, и я даже не знаю, какие идеи Сервет в них защищал. Я покажу лишь те заблуждения Кальвина, которые не связаны с подобными принципиальными различиями в религиозных взглядах, и каждый увидит, что представляет собой этот проливший кровь человек. Я не буду вести себя по отношению к нему так, как он вел себя по отношению к Сервету, которого сначала заживо сжег с его книгами, а потом, когда убил его, еще и предал память о нем

176 оскорблением. Если противник Сервета, физически уничтожив и автора книги, и саму книгу, имеет смелость отсылать нас к этой книге, из которой цитирует целые страницы, то это подобно тому, как если бы поджигатель, сжегши дотла дом, настоятельно просил нас посмотреть убранство в некоторых комнатах этого сожженного им дома. Что касается нас, мы никогда не сожгли бы ни автора, ни его произведения. Книгу, с которой мы ведем борьбу, может прочесть всякий, она уже дважды издана — на латинском и французском языках, — а для того, чтобы не было никаких трудностей при чтении моей книги, каждый параграф моего обвинения будет пронумерован в соответствии с нумерацией книги Кальвина, и мои ответы на эти параграфы будут помечены теми же номерами».

Вести дискуссию более честно, пожалуй, и невозможно. Кальвин опубликовал книгу, в которой однозначно изложил свою точку зрения, и Кастеллио пользуется этим доступным всем документом, как следователь — записями протоколов допроса обвиняемого. Слово за словом переписывает он еще раз всю книгу Кальвина, чтобы никто не мог утверждать, что он как-то искажил или изменил мнение своего противника; и чтобы заранее устранить у читателя подозрение, что он намеренными сокращениями извратил текст Кальвина, он нумерует каждую фразу Кальвина. Этот второй процесс по делу Сервета ведется, следовательно, значительно более строго, более справедливо, чем велся первый процесс — в Женеве, когда обвиняемый был брошен в сырой подвал и ему было отказано во всякой защите. Свободно, на виду у всего гуманистического мира должно быть вынесено решение по сауса Сервета.

Факты очевидны и бесспорны. Приговоренный к смерти по указанию Кальвина женевским магистратом, охваченный пламенем костра, Сервет не признался в приписываемых ему преступлениях и, умирая в ужасных муках, кричал о своей невинности. И Кастеллио ставит решающие вопросы: какие же преступления, собственно, Сервет совершил? Как смел Жан Кальвин, облеченный лишь духовной, а не светской властью, передать магистрату рассмотрение чисто богословских вопросов? Имел ли женевский магистрат право приговаривать Сервета к смерти за эти якобы преступления? И наконец, в соответствии с каким авторитетом и на основании какого закона объявлен смертный приговор этому иностранному богослову?

Для того чтобы ответить на первый вопрос, Кастеллио исследует протокол высказываний самого Кальвина, изложенных тем в «Защите истинной веры и триединства против ужасного еретика Сервета», чтобы установить, какие, собственно, преступления он предъявляет Сервету. И не

находит никакой иной вины, кроме того, что по представлениям Кальвина Сервет «по необъяснимой причине дерзко извратил Евангелие и впал в предосудительные новшества». Кальвин, следовательно, обвиняет Сервета не в чем ином, как в самостоятельном, самовольном изложении Библии, в том, что Сервет пришел к выводам, отличным от тех, к которым пришел в своем вероучении он, Кальвин. На это обвинение Кастеллио сразу же отвечает. Был ли Сервет единственным, кто в рамках Реформации пришел к подобным своевольным толкованиям Евангелия? И кто решится утверждать, что этим он погрешил против истинного смысла нового учения? Не было ли право на индивидуальное толкование Библии вообще основным требованием Реформации, и что иное сделали вожди евангелической церкви, кроме того, как записали эти новые толкования, облекли их словами? И не Кальвин ли со своим другом Фарелем были самыми смелыми, самыми решительными при этой перестройке, обновлении церкви, причем «он, Кальвин, не только предался этим чрезмерным новшествам, он даже принудил общину принять их и всем показал, что противоречить ему опасно. За десять лет он *de facto* ввел в христианское вероучение новшеств больше, чем католическая церковь — за шесть столетий»; кто-кто, а уж Кальвин в первую очередь как самый смелый среди реформаторов не имеет права называть преступлением новое толкование Библии в протестантской среде, не имеет права никого осуждать за него.

Но, исходя из собственной непогрешимости, Кальвин признает лишь свои мнения правильными, мнения же других — ложными. И Кастеллио тотчас же выдвигает свой второй вопрос. Кто дал Кальвину право судить о том, что истинно и что ложно? «Всех людей духа, не поддерживающих его доктрину, Кальвин полагает впадшими в заблуждение, оказавшимися в плену ложных мыслей. Поэтому о вопросах веры он никому не дает права что-либо писать или говорить и отказывает каждому в праве считать верными высказанные им мнения.

[...] И кто поставил Кальвина верховным судьей над всеми, кто дал ему исключительное право приговаривать к смертной казни несогласных с ним? Что оправдывает его монополию суда? То, что ему принадлежит слово божье? Но ведь и другие утверждают так же — что слово божье принадлежит им. А может, то, что его учение — бесспорно? Бесспорно, но в чьих глазах? В его собственных, в глазах Кальвина? Зачем же он пишет тогда так много книг, если та истина, которую он возвещает, так истинна, так очевидна? Почему не написал он ни одной книги, чтобы доказать, что убийство или прелюбодеяние являются преступлением? Да потому,

178 что это всем давно известно. Если Кальвин действительно проник во все духовные истины и раскрыл их, почему бы ему не дать немного времени и другим, чтобы и те поняли их так же? Почему он сразу же их подавляет, лишает возможности узнать эти истины?»

Этим рассуждением устанавливается главное и решающее: в духовных и богословских вопросах Кальвин присвоил себе роль судьи, роль, на которую он не имел никакого права. Если он, Кальвин, считал мнение Сервета неправильным, то его задачей было бы разъяснить Сервету его заблуждения и обратить на путь истины. Но вместо того, чтобы по-доброму обсудить спорный вопрос, он тотчас же применил насилие. «Твоим первым доводом в споре было тюремное заключение, ты кинул Сервета в темницу, и из участия в процессе ты исключил не только всех друзей Сервета, но и всех, кто не был его противником». Кальвин использовал старый, вечный метод спора, которым всегда пользуются доктринеры, когда дискуссия становится им неприятна: себе затыкают уши, а другим — рты [...]. И, как бы предвидя свою собственную судьбу, Кастеллио призывает Кальвина к моральной ответственности: «Я спрашиваю тебя, господин Кальвин, если б у тебя был процесс по наследованию имущества и тебе наперед было бы известно, что судья даст говорить только одному твоему противнику, тебе же запретит вымолвить даже слово, не восстал ли бы ты против этой несправедливости? Почему же с другими ты поступаешь так, как не хочешь, чтобы поступили с тобой другие? Мы решаем вопросы веры, почему же ты затыкаешь нам рты? Не боишься ли ты, что дело твое само не может постоять за себя? Не боишься ли ты, что тебя победят и ты потеряешь власть диктатора?»

Таким образом, принципиальные пункты обвинительного заключения против Кальвина уже сформулированы. Опираясь на свою государственную власть, он взял на себя смелость единолично решать божеские, моральные и светские вопросы. Этим самым он присвоил себе то божеское право, которым человеку дана голова для самостоятельного мышления, уста — для речи, а совесть — для решающего морального суждения; а посему он совершил преступление против всех человеческих прав тем, что преследовал человека как подлого преступника только за то, что у этого человека мнение отлично от его мнения.

* * *

Кастеллио ненадолго прерывает процесс, чтобы вызвать свидетелей. Повсеместно известный богослов должен показать против проповедника Жана Кальвина, должен

подтвердить, что любое государственное преследование по чисто духовным деликтам воспрещено божескими законами. Но поразительное дело, этот большой ученый, которому Кастеллио дает слово, не кто иной, как сам Кальвин. Этот свидетель втягивается в дискуссию против своей воли. «Установив, что все запутано, Кальвин в своей книге спешит обвинить других, чтобы не заподозрили его самого. Но очевидно, что эту неясность, эту путаницу в дело внесло только его поведение преследователя. То, что он приговорил Сервета к смертной казни, вызвало раздражение не только в Женеве, но и во всей Европе, все страны пришли в возбуждение; теперь же вину за то, что он совершил сам, он пытается свалить на других. Но в те времена, когда он сам принадлежал к страдающим от преследований, он говорил совсем другое; тогда он исписал много страниц против подобных преследований. И чтобы никто в этом не усомнился, я приведу здесь одну страницу из его книги «Наставления».

И Кастеллио цитирует слова «Наставления», слова Кальвина прошлых лет Кальвину сегодняшнему, слова, за которые он теперь бы заставил сжечь автора. Ибо ни одним словом этот прежний Кальвин не отклоняется от тезиса, с которым Кастеллио сейчас выступает против Кальвина сегодняшнего; в первом издании «Наставления» сказано буквально следующее: «Преступно убивать еретиков. Предать их огню и мечу означает полностью отрицать гуманизм». Правда, едва придя к власти, Кальвин самым поспешным образом вычеркнул это обращение к гуманизму. Во втором издании «Наставления» ясное, решительное, однозначное звучание этой фразы исчезло; подобно Наполеону, который, став консулом, а затем — императором, чрезвычайно старательно уничтожил якобинский памфлет, написанный им в юности, Жан Кальвин, едва из преследуемых став преследователем, захотел, чтобы это обращение к снисхождению навсегда исчезло из его книги. Но Кастеллио не дает Кальвину убежать от себя. Слово в слово повторяет он строчки из «Наставления» и указывает на них пальцем. «Пусть все сравнят это первое заявление Кальвина с его сегодняшними сочинениями и делами и пусть видят, что его настоящее и его прошлое отличаются друг от друга так, как свет отличается от тьмы. Добившись казни Сервета, он желает теперь, чтобы погибли все люди, мировоззрения которых отличаются от его мировоззрения. Он попирает им же самим установленные законы и требует смерти для этих людей... Следует ли удивляться теперь, что Кальвин толкает к смерти других из страха, что они раскроют его непостоянство, его изменчивость, увидят его истинное лицо! Он боится ясности потому, что вел себя очень скверно».

Но Кастеллио нужна именно эта ясность. Без всяких неопределенностей Кальвин должен теперь наконец объяснить миру, на каких основаниях он, в прошлом защитник свободы мировоззрений, приказал сжечь на площади Шампель Мигеля Сервета. Кастеллио неумолимо продолжает слушание дела.

* * *

С двумя вопросами уже покончено. Факты показали, что, во-первых, Мигель Сервет совершил лишь духовное инакомыслие и, во-вторых, что отклонение от общепринятого толкования Библии никогда нельзя рассматривать как обычное преступление. Почему же, спрашивает Кастеллио Кальвина, проповедник церкви привлек светские власти для искоренения мнения по чисто теоретическому и абстрактному вопросу, которое не устраивает его, Кальвина? Духовные вопросы должны решаться лишь в сфере духовного. «Если бы Сервет напал на тебя с оружием, ты имел бы право призвать на помощь Совет. Но так как его оружие — перо, почему же ты пошел против его произведений с огнем и мечом? Так ответь же, почему ты прикрылся магистратом? [...] Магистрат должен защищать ученых так же, как ремесленников, рабочих, врача или бюргера, если им наносят физический или материальный ущерб. Вот если бы Сервет захотел убить Кальвина, тогда магистрат, защищая Кальвина, поступил бы правильно. Но так как Сервет боролся лишь своим словом, лишь доводами разума, с ним бороться следовало бы тоже только словами и доводами разума».

Убедительно отклоняет Кастеллио любую попытку Кальвина оправдать свой поступок высокими, божественными заповедями; для Кастеллио нет такой божеской, христианской заповеди, которая была бы способна оправдать убийство человека. Если Кальвин в своем сочинении пытается опереться на закон Моисея, который требует, чтобы еретиков истребляли огнем и мечом, Кастеллио резко и яростно возражает: «Но как предполагает Кальвин следовать во имя бога этой заповеди? Не придется ли ему разрушать в городах жилье, дома, уничтожать добро людей? Может, он считает, что если ему достанет военных сил, то надо напасть на Францию, на все другие государства, которые он считает еретическими, сровнять города с землей, уничтожить всех мужчин, женщин, детей, вплоть до плода в материнском чреве?» Когда Кальвин в свое оправдание говорит, что, если лишишься мужества отрубить большой член, обязательно погубишь христианское учение, то Кастеллио возражает ему: «Отделение неверующих от церкви — дело пастырское и означает лишь, что еретика следует отлучить от церкви и изгнать из общины, а не лишать жизни». [...] И поскольку

Кальвин все же с упорством настаивает на том, что он вынужден был сжечь Сервета, чтобы защитить учение, чтобы защитить слово божье, поскольку он вновь и вновь, как все насильники, пытается объяснить свое насилие сверхличными, высшими интересами, Кастеллио бросает ему бессмертные слова, слова, словно молния, освещающие мир, погруженный в ночь темного века: «Убить человека никогда не означает защитить учение, нет, это означает лишь одно—убить человека. Когда женецвы казнили Сервета, они не защитили учение, они принесли в жертву человека; но, сжигая человека, в своей вере не утвердишься, в своей вере можно утвердиться, лишь дав сжечь себя ради этой веры».

* * *

«Убить человека никогда не означает защитить учение, нет, это означает лишь одно—убить человека» — великолепные в своей истинности и ясности вечные слова. Этой словно из бронзы отлитой фразой Себастьян Кастеллио на все времена вынес приговор всем преследователям свободной мысли. Какой бы повод ни был инсценирован, какой бы повод ни был поднят—логический, этический, национальный или религиозный,—чтобы оправдать убийство человека, ни одно из этих оснований не снимает личной ответственности с человека, который свершил или приказал свершить преступление. В кровавых деяниях всегда виновен человек, и никогда не оправдать убийство мировоззренческими соображениями. Истины распространяются, но принудительному внедрению они не поддаются. Ни одно учение не станет более правильным, ни одна истина—более истинной, если носители их будут горячиться и кричать о них на каждом углу; ни одну истину нельзя возвысить насильственной пропагандой, нельзя сделать более значительной суть какого-либо учения. [...] И если Кальвину, догматику, человеку религиозной идеи, безразлично, как ради идеи, которую он считает непреходящей, гибнут бранные люди, то для Кастеллио каждый человек, страдающий и умирающий за свои убеждения,—невинная жертва. Но принуждение в вопросах мировоззрения для него не только преступление против духа, но и напрасные усилия. «Никого нельзя принуждать! Ибо принуждение никогда еще не делало человека лучше. Те, кто хочет принудить людей к какой-либо вере, поступают столь же противно здравому смыслу, как человек, насильно запикивающий больному еду палкой в рот». [...]

Все факты проверены, на все вопросы дан ответ; и Себастьян Кастеллио от имени оскорбленного человечества выносит приговор—и История подписывает его. Убит человек по имени Мигель Сервет, *étudiant de la Saint Escrip-*

182 ге*,—обвиняются в этом убийстве Кальвин, как инициатор процесса, и магистрат города Женевы, как исполнительная власть. Все обстоятельства дела исследованы с точки зрения морали, и установлено: обе инстанции, духовная и светская, превысили свои полномочия. Магистрат виновен в злоупотреблении властью, «ибо он некомпетентен выносить решение по духовным деликтам». Но еще более виновен Кальвин, который принудил магистрат вынести это решение. «По твоим показаниям и с твоим участием магистрат убил человека. Магистрат же не может выносить решение по этому вопросу, как слепой не может судить о цветах и оттенках». Кальвин повинен вдвойне: как организатор и как соучастник этого мерзкого поступка. Безразлично, по каким мотивам бросил он в огонь этого человека, его поступок был преступлением. «Либо ты приказал казнить Сервета за то, что он думал то, что говорил, либо за то, что в соответствии со своими убеждениями он говорил то, что думал. Если ты убил его за то, что он выразил словами свои убеждения, то ты убил его за истину, ибо истина заключается в том, что человек говорит то, что думает, даже если он и заблуждается. Если же ты убил его просто лишь за ложные взгляды, то твой долг был прежде всего — помочь ему избавиться от заблуждения или же с текстом Библии в руках доказать, что следует казнить всех тех, кто заблуждается». Кальвин же убил, незаконным образом устранил своего противника; поэтому он виновен, виновен, виновен в преднамеренном убийстве...

* * *

Виновен, виновен, виновен — трижды на все времена, сурово, угрожающе, в сопровождении труб выносится приговор; последняя, высшая инстанция морального суда — Человечность вынесла решение. Но следует ли спасать честь убиенного, если никакое возмездие, которое обрушится на голову убийцы, уже не спасет его жертву? Это необходимо, чтобы защитить живых и, заклеив акт бесчеловечности, предотвратить бесчисленное количество других таких же актов. Не только человек, Жан Кальвин, должен быть осужден, должна быть осуждена также и его книга, в которой излагается ужасная доктрина террора и насилия. «Неужели ты не понимаешь,—нападает Кастеллио на Кальвина,—куда ведет твоя книга, твои поступки? Есть многие такие, которые утверждают, будто они защищают дело бога, и теперь они, если захотят убивать людей, будут ссылаться на тебя, на твою книгу. Следуя твоим роковым путем, они, как и ты, запятнают себя кровью. Подобно тебе они будут казнить всех, кто имеет иное мировоззрение». Не фанатики сами по себе опасны, опасен заразный дух фанатизма; следовательно, не

* исследователь Священного писания (франц.).

только жестоких, не терпящих возражений, кровожадных людей должен одолеть человек духа, но и любую идею, если она террористична по своему существу, ибо — и в этом было пророческое предвидение в начале столетней религиозной войны — «даже самые свирепые тираны не прольют так много крови своими пушками, сколько пролили вы из-за ваших кровожадных заклинаний и прольете в ближайшее время, и так будет до тех пор, пока бог не пожалеет род людской и не откроет глаза князьям и властям для того, чтобы они, наконец, отказались от своих кровожадных деяний». И поскольку Себастьян Каstellio при виде страданий гонимых и преследуемых больше не может оставаться равнодушным в своем воззвании к терпимости, он взывает к богу, в отчаянии моля его, чтобы он ниспослал на землю больше человечности; он посылает ужасные проклятия всем, кто своей упрямой ненавистью нарушает мир на земле; громами и молниями благороднейшего гнева обрушивается он в конце книги на кровожадных zelотов. «Этот позор религиозного преследования бушевал уже во времена Даниила, и так как ничего уязвимого в его жизни найти было невозможно, враги его сказали: мы схватим его за убеждения. Именно так поступили и здесь. Если врага невозможно схватить за нарушение им моральных норм, прибегают к «учению» и поступают при этом очень ловко; поскольку власти в этих вопросах не имеют своего мнения, их легко убедить в том, что требуется zelотам. [...]

О слепцы, о вы, ослепленные, о кровожадные, неправимые лицемеры! Когда же, наконец, откроется вам истина, когда земные судьи перестанут по вашему произволу слепо проливать человеческую кровь!»



Мы мало знаем памфлетов, направленных против деспотии духа, второго же такого памфлета, как книга Кастеллио «Contra libellum Calvini», написанного с вдохновенной страстностью, с огромной силой убежденности в истинности защищаемых тезисов, возможно, не существует; правдивость книги, ее ясность должна была бы даже самым равнодушным людям своего времени показать, что свобода мысли протестантизма, а с ним и европейского духа будет утрачена навсегда, если человечество не сумеет защититься от женевской инквизиции мнений. Поэтому, казалось бы, следовало ожидать, что весь мир гуманистов единодушно присоединится к безупречным своей убедительностью аргументам обвинения, составленным Себастьяном Кастеллио. Манифест Кастеллио — смертельный удар по непримиримой ортодоксии Кальвина; кто этим ударом повален, тому, казалось бы, уже не подняться, с ним, казалось бы, покончено навсегда.

В действительности же ничего подобного не происходит. Блестящий памфлет Кастеллио, его пламенный призыв к терпимости не оказал ни малейшего действия на реальный мир, причем по самой простой и ужасной причине: книга «Contra libellum Calvini» не была издана. По указанию Кальвина книга, не успев разбудить совесть Европы, была задушена цензурой.

В последний момент — уже в самых близких к автору кругах Базеля — ходили списки книги, и когда она была уже



подготовлена к печати, женеvские властелины постарались, доносчики пронюхали, какую смертельную атаку на их авторитет готовит Кастеллио. И они ответили молниеносным ударом. Превосходство государственной машины, вступающей в единоборство с человеком-одиночкой, в подобных обстоятельствах проявляется с ужасающей силой. Подвластная Кальвину цензура позволяет ему беспрепятственно защитить свой бесчеловечный поступок — мучительное сожжение заживо человека, мыслящего иначе, чем он; Себастьяну Кастеллио же, от имени человечности выступившему с протестом против этой жестокой акции, в слове отказано. У города Базеля, собственно, нет никаких оснований запретить литературную полемику свободному гражданину, преподавателю его университета, но Кальвин всегда тактически искусен в практике, он ловко пускает в ход все средства. В бой вводится артиллерия дипломатии; не Кальвин лично, не частное лицо, а город Женева поднимает *ex officio* жалобу против нападок на «учение». И эта жалоба ставит Совет города Базеля и его университет перед мучительным выбором — либо ущемить права свободного писателя, либо вступить в дипломатический конфликт с могучим союзным городом, и, как всегда в подобных случаях, насилие одерживает победу над моралью. Господа советники предпочитают пожертвовать одним человеком и запрещают публикацию любых, не строго ортодоксальных, сочинений. Тем самым

186 предотвращается появление в свет книги Кастеллио «*Contra libellum Calvinii*», и Кальвин может ликовать: «Какое счастье, что собаки, которые так облаивают нас, не могут укусить» (Il va bien que les chiens qui aboient derrière nous ne nous peuvent mordre).

Подобно тому как Сервета заставил молчать костер, Себастьяна Кастеллио заставила стать немой цензура; еще раз на земле «авторитет» был спасен с помощью террора. У Кастеллио перебита рука, которой он держал свое оружие, он не может более писать и, что более несправедливо, более ужасно,— он не может защищаться, когда торжествующий противник нападает на него с удвоенной яростью. Пройдет едва ли не сто лет, прежде чем «*Contra libellum Calvinii*» будет издана: ужасной истиной оказались пророческие слова Кастеллио — «Почему же с другими ты поступаешь так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой другие? Мы решаем вопросы веры, почему же ты затыкаешь нам рты?»

Но против террора право бессильно. Там, где царит насилие, побежденный не может ни к кому апеллировать, там террор — первая и последняя инстанция. Трагически разочарованный Кастеллио должен примириться, снести бесправие, но для всех тех времен, в которые насилие попирает дух, остается утешительным суверенное презрение побежденных к насилию. «Ваши слова и ваше оружие присущи той деспотии, о которой вы грезите, деспотии — этого не духовного, а политического господства, основанного не на любви бога, а на принуждении. Я не завидую вашей мощи и вашему оружию. У меня другое оружие — истина [...]».

* * *

Еще раз террор оказался правым, причем особенно трагическим образом: власть Кальвина после содеянного им гнусного поступка не пошатнулась, но — что удивительно — усилилась. [...]

И Кальвин, обвиненный в жестокости, понял, что спасти его может только одно — еще большая жестокость, еще более беспощадное насилие. Всегда действует один и тот же закон, в соответствии с которым однажды применивший насилие должен снова к нему прибегнуть, начавший с террора обязательно должен его непрерывно усиливать. Сопротивление, оказанное Кальвину во время процесса Сервета и после него, еще больше укрепило его в уверенности, что для сохранения авторитарного господства нельзя ограничиваться подавлением и запугиванием лагеря противника, действуя лишь в рамках закона [...]. Первоначально Кальвин довольствовался тем, что легальными путями парализовал республиканское меньшинство женеvского Совета,

постепенно и незаметно изменив в свою пользу порядок выборов. В каждом общинном Совете заседали прибывшие из Франции протестантские эмигранты, в моральном и материальном отношениях зависящие от Кальвина, ставшие женевскими гражданами и поэтому включенные в списки избирателей; таким образом, настроение и мнения Совета стали постепенно склоняться все более и более в пользу Кальвина, все должности магистрата заняли слепо подчиненные ему люди, и старые республиканские патриции оказались полностью оттесненными от власти. Но вскоре патриоты-женевцы заметили эту тенденцию к увеличению засилья иностранцев; поздно, поздно демократы, проливавшие некогда кровь за свободу Женевы, начинают проявлять беспокойство. Они тайно встречаются, они советуются, как защитить последние остатки их старой независимости против властолюбия пуритан. Растет недовольство. Дело доходит до горячих споров между старожилками и новыми гражданами города и, напоследок,— до уличной драки, впрочем, достаточно безобидной,— в ней пострадало от брошенных камней всего два человека.

Но Кальвину очень нужен был этот повод. Теперь он может наконец осуществить давно запланированный им государственный переворот, дающий ему в руки полновластие. Небольшая уличная драка немедленно раздувается в «ужасный заговор», который удается расстроить благодаря «милости божьей» (в подобных случаях всегда вызывает отвращение лживое морализирование и ханжеское воздевание очей к небу). Вождей республиканской партии, не имевших никакого отношения к этой потасовке в пригороде Женевы, немедленно хватают и пытаются столь жестоко, что они говорят все, что требуется диктатору для его цели: планировалась варфоломеевская ночь, Кальвина и его приверженцев предполагали убить, хотели открыть город иностранным войскам. На основании этих добытых неописуемыми пытками «признаний» о якобы задуманном «восстании» и о сострепанной «государственной измене» палач может наконец приступить к своей работе. Казнят всех, кто оказывал Кальвину хоть малейшее сопротивление, если они вовремя не успели бежать из Женевы. [...]

После столь полной победы, после того как с женевскими противниками покончено, Кальвин, казалось бы, может успокоиться и проявить великодушие. Но по Фукидиду, Ксенофону и Плутарху, мы знаем, что во все времена олигархи всякий раз после победы становятся все более и более нетерпимыми. Трагедия всех деспотов в том, что они боятся независимого человека даже тогда, когда сделали его политически бессильным и заткнули ему рот. Им мало того, что он молчит и должен молчать. У диктатора вызывает

возмущение сам факт существования такого человека, который не хочет и не может согласиться с существованием деспотии, который не включается активно в толпу ее льстецов и слуг. И с многократно усиленной энергией Кальвин всю свою страстность направляет на борьбу с Себастьяном Кастеллио—единственным своим моральным противником, ведь со всеми своими политическими противниками Кальвин уже покончил после того ужасного государственного переворота.

Единственная трудность состоит в том, чтобы выманить миролюбивого ученого из надежного укрытия—молчания. Кастеллио устал от открытой борьбы. Гуманистические натуры, натуры, подобные Эразму, не способны долгое время быть борцами. Фанатическое упрямство людей, одержимых какой-либо идеей, и их яростная охота за прозелитами представляются человеку духа недостойными. Они объявляют миру свою истину, но, едва сделав свои взгляды достоянием всех, считают излишним вновь и вновь пропагандистски убеждать мир в том, что они—единственные носители истины. Кастеллио сказал свое слово по делу Сервета, принял на себя вопреки всем опасностям защиту преследуемых, выступил против террора, насилующего совесть, свершил все это более решительно, чем любой другой человек его времени. Но часы Истории не пробили еще для его свободного слова, он видит, что на этом отрезке времени насилие победило. И он решает тихо ждать подходящего случая, когда можно будет принять участие в решающей борьбе между терпимостью и нетерпимостью. Глубоко разочарованный, но по-прежнему убежденный в своей правоте, он возвращается к своей работе. Наконец-то университет предлагает ему кафедру, наконец-то приближается к концу великое дело его жизни—перевод Библии на два языка. Два года, 1555 и 1556, Кастеллио как полемик молчит, лишившись своего оружия—слова.

Но от своих соглядатаев Кальвин и его клеветы знают, что Кастеллио как гуманист выступает в узком университетском кругу, и, если его лишили права писать, он продолжает говорить, и крестоносцы нетерпимости с ожесточением замечают, что ненавидимое ими требование терпимости и неопровержимые аргументы Кастеллио против догмата предопределения находят у студентов все большее и большее сочувствие. Человек высоких моральных принципов уже одним своим присутствием оказывает влияние на окружающих, создавая вокруг себя некую сферу убеждений; и это его влияние не ограничивается воздействием на узкий круг близких ему людей, нет, словно волны, оно распространяется незаметно и неуклонно далеко во все стороны. Кастеллио, следовательно, опасен, он не желает смириться, влияние его

необходимо пресечь. И вот, чтобы опять вовлечь в споры о еретиках, ему ставится с большой хитростью ловушка: один из его университетских коллег добровольно берет на себя роль провокатора. В очень дружелюбном письме он обращается к Кастеллио с просьбой, чтобы тот высказал свои взгляды на догмат о предопределении. Кастеллио соглашается на открытое выступление, но уже при первых его словах один из слушателей быстро вскакивает со своего места и обвиняет его в ереси. Сразу поняв, что ему хотят навязать спор для того, чтобы подготовить материал для последующего обвинения в ереси, Кастеллио тотчас же прерывает свое выступление, а коллеги по университету пресекают все попытки дальнейших выступлений против него. Провокация таким образом проваливается. Но Женева не желает так быстро отступить от намеченной ею жертвы. После провала этой низкой попытки она меняет тактику: поскольку Кастеллио не желает вступить в открытую дискуссию, его пытаются вывести из равновесия разными слухами и памфлетами. Издеваются над его переводом Библии, объявляют его ответственным за анонимные пасквилы и листки, повсюду распространяются самые злобные клеветы; как по сигналу, на него внезапно нападают со всех сторон.

Людям неподвзятым, не одержимым какими-либо религиозными идеями это чрезмерное рвение гонителей со всей очевидностью показывает, что, лишив этого большого ученого и истинно благочестивого человека возможности свободно говорить и защищаться, зелоты пойдут дальше, будут стремиться лишить его жизни. Но подлость преследований неизбежно ведет к тому, что у преследуемого появляются друзья. И действительно, совершенно неожиданно за защиту Кастеллио демонстративно выступает патриарх немецкой Реформации Меланхтон. И ему, как некогда Эразму, противны дикие поступки тех, кто видит смысл жизни не в примирении, не в умиротворении, а в сварах и ссорах, и вот он пишет Себастьяну Кастеллио письмо: «До сих пор я не писал тебе, так как очень уж сильно был перегружен великим множеством весьма тягостных дел, так что времени для такого рода переписки, которая, сама по себе, мне очень приятна, было у меня мало. Что меня далее удерживало, так это глубокая печаль, угнетавшая меня при виде тех ужасных недоразумений, раздирающих всех, кто выдавал себя за друзей мудрости и добродетелей. Но я всегда ценил тебя за стиль твоих сочинений... И я хочу, чтобы это письмо было свидетельством моего согласия с тобой и подтверждением искренней к тебе симпатии. Пусть нас объединяет вечная дружба.

Жалуюсь не только на различия в мировоззрениях, но и на лютую ненависть, с которой некоторые преследуют

190 друзей истины, ты только умножаешь мою боль. Легенда говорит, что из крови титанов возникли великаны. Вероятно, из посевов монахов возникли новые софисты, желающие править при дворах властелинов, в семьях, в народе, которые боятся, что ученые им помешают. Но бог знает, как спасти остатки своей паствы.

И нам следует с мудростью вытерпеть то, что мы не в состоянии изменить. Для меня мой возраст — успокоение моей боли. В скором времени надеюсь вступить в небесную церковь, очень далекую от жестоких битв, которые так страшно сотрясают церковь здесь, внизу. Если я буду жив, я хочу поговорить с тобой о многом. Всего хорошего».

* * *

Меланхтон полагал, что его письмо послужит Кастеллио своеобразной охранной грамотой, так как копии его тотчас же разойдутся по рукам. Как предостережение, оно заставит Кальвина отказаться от преследования большого ученого. И действительно, похвальное слово Меланхтона имеет огромную силу во всем мире гуманистов; даже ближайшие друзья Кальвина под влиянием этого письма настаивают на прекращении преследования. Так, крупный ученый-правовед Будэн пишет в Женеву: «Ну, теперь ты видишь, как сильно осуждает Меланхтон ту озлобленность, с которой ты преследуешь этого человека, как далек Меланхтон от того, чтобы одобрять все твои нападки. Как это ты можешь одновременно почитать Меланхтона словно ангела и относиться к Кастеллио, как ко второму сатане?»

Но какое заблуждение думать, что фанатика можно чему-либо научить или хотя бы унять! Парадоксально, а может, впрочем, и закономерно — охранное письмо Меланхтона оказывает на Кальвина действие как раз противоположное тому, на которое оно было рассчитано. Ибо то, что противнику Кальвина оказывают уважение, еще больше разжигает его ненависть. Кальвин слишком хорошо знает, что эти пацифисты духа являются для его воинственной диктатуры врагами неизмеримо более опасными, чем Рим, Лойола и его иезуиты¹. Ведь если в отношениях с папистами всего лишь догма стоит против догмы, слово против слова, учение против учения, то здесь, в требовании Кастеллио свободы мышления, — и Кальвин это очень хорошо чувствует — под сомнение ставится основополагающий принцип его, Кальвина, мыслей и действий, идея единого авторитета, смысл ортодоксии, а в каждой войне пацифист в твоих рядах всегда опаснее самого воинственного врага. И так как охранная грамота Меланхтона возвеличивает перед миром Кастеллио, Кальвин считает абсолютно необходимым стремиться к тому, чтобы его имя было забыто навсегда. С этого

часа, собственно, начинается война, война не на жизнь, а на смерть. 191

То, что дело дошло до войны на истребление, подтверждает факт личного участия в ней Кальвина. Подобно тому как в случае дела Сервета, когда потребовался последний, решающий удар, он отодвинул в сторону свою марионетку Никола де ла Фонтена, чтобы самому схватить клинок, так и теперь его уже более не устраивает подручный — де Без. Теперь не будут обсуждаться более ни слова Библии, ни ее толкования, теперь требуется только одно — раз и навсегда покончить с Кастеллио. Подходящего основания, чтобы напасть на него, правда, пока еще нет, так как Кастеллио с увлечением вернулся к своей работе. Но когда повод отсутствует, его создают, и вот хватается первая попавшая под руку дубинка, чтобы напасть на ненавистного противника. Предлогом для Кальвина является анонимный пасквиль, найденный его шпионами у странствующего торговца; правда, полагать Кастеллио автором этого произведения никаких оснований нет, и, действительно, Кастеллио автором его не был. Но для Кальвина «*Carthaginem esse*



Филипп Меланхтон
Гравюра на дереве

192 delendam»*, Себастьян Кастеллио уничтожен,— и он использует эту не принадлежащую Кастеллио книгу в качестве предлога, чтобы самыми низкими ругательствами, самыми неистовыми проклятиями оскорбить Кастеллио как ее автора. Памфлет Кальвина «*Columniae nebulonis cujusdam*»** — это не книга теолога, направленная против другого теолога, нет, это бурлящий яростью грязный поток: воров, негодяем, богохульником именуется в ней Кастеллио, на каждой страничке — ругательства, какими в обиходе не пользуются даже ломовые извозчики. Профессору Базельского университета помимо прочего приписывается даже, что тот среди бела дня воровал дрова, и вот, в опьянении ненависти, исступленный автор заключает свой неистовый *opusculum****: «Пусть уничтожит тебя бог, сатана!»

* * *

Этот памфлет Кальвина являет собой достопримечательный пример того, как глубоко может пасть под влиянием фанатичной нетерпимости человек духа. Этот памфлет показывает одновременно, как непрофессионально ведет себя политик, если он не в состоянии обуздать свою страстность. Поняв, какой вопиющей несправедливостью является нападение на выдающегося, уважаемого ученого, совет Базельского университета снимает с Себастьяна Кастеллио запрет писать. Университет, хорошо известный ученым Европы и ценимый ими, считает несовместимым со своим достоинством, чтобы кто-либо обвинил перед всем миром его профессора в воровстве, обозвал бы его негодяем и бродягой. И поскольку не дискутируются вопросы «учения», а речь идет о низкой клевете на человека, сенат разрешает Себастьяну Кастеллио выступить с публичным ответом на пасквиль Кальвина.

Это ответное сочинение Кастеллио является образцом истинно честной и гуманистической полемики. Даже крайняя непримиримость не может отравить ненавистью этого до глубин души терпимого человека, никакая низость не в состоянии коснуться его. Какое спокойствие, какая порядочность звучит уже в самом начале книги: «Без энтузиазма вступаю я на этот путь открытой дискуссии. Насколько более желательным было бы мне обсудить с тобой спорные вопросы по-братски, в духе Христа, а не по-мужицки, с ругательствами, которые могут только повредить авторитету церкви. Но поскольку по твоей вине и по вине твоих друзей моя мечта о мирном общении между нами не осуществилась, я

* «Карфаген должен быть разрушен» (лат.).

** «Позорный столб некоего негодяя» (лат.).

*** небольшое произведение (лат.).

думаю, что сдержанный ответ на твои страстные нападки не будет противоречить моему христианскому долгу». Сначала Кастеллио обращает внимание на явную бесчестность Кальвина, который в первом издании «Nebulo» открыто назвал его автором памфлета, во втором же издании — безусловно уже кем-то вразумленный — ни словом не обмолвился о его авторстве, но в то же время не проявил порядочности и не признался, что ошибочно заподозрил Кастеллио в авторстве. Резким ударом припирает Кастеллио Кальвина к стене: «Знал ты или не знал, что несправедливо приписываешь мне авторство того памфлета? Сам я не могу ответить на этот вопрос. Но либо ты свое обвинение на некоторое время оставил в силе, когда уже знал, что оно несправедливо: тогда это было с твоей стороны обманом. Либо же ты еще не знал о моей непричастности к памфлету: тогда первое обвинение было по крайней мере неосторожным. Как в первом, так и во втором случае твое поведение красивым не было, так как все, что ты высказываешь в своем сочинении, — неправда. Я не автор той брошюры и никогда не посылал ее для печати в Париж. Если ее распространение было преступным, то ты повинен в этом преступлении сам, так как именно ты первый сделал ее известной миру».

Сказав о несерьезности доводов, с которыми Кальвин напал на него, Кастеллио переходит к тону памфлета Кальвина, к грубости его нападок. «Ты чрезвычайно плодовит на оскорбления, и уста твои говорят от избытка твоего сердца. В своей латинской *libelli** именуешь ты меня богохульником, клеветником, злодеем, лающим псом, наглым, невежественным и скотоподобным существом, нечестивым погубителем Священного писания, глупцом, насмехающимся над богом, человеком, пренебрегающим верой, бесстыдной личностью с нечестивой и извращенной душой, бродягой и *mauvais sujet*** . Восемь раз называешь ты меня негодяем (так перевожу я слово *nebulo*); все эти грязные слова ты с удовольствием выкладываешь на листах своей книги и даешь ей заглавие «Клевета негодяя», а последняя фраза твоей книги такова: «Пусть уничтожит тебя бог, сатана!» И вся книга выдержана в одном стиле. Ужели достойно это человека апостолической строгости, христианской кротости? Горе народу, ведомому тобою, если он вдохновляется подобным образом и если действительно твои ученики подобны тебе. Меня же все эти ругательства совсем не трогают...» [...] Легко, с веселой усмешкой, совершенно уверенный в своей правоте, Кастеллио разбивает основное обвинение, выдвинутое Кальвином против него, обвинение в том, что он,

* книжонка, пасквиль (лат.).

** скверный человек (франц.).

194 Кастеллио, воровал в Базеле дрова. «Это было бы,—издевается он,—действительно тяжким преступлением, конечно, при условии, если бы я его совершил. Но еще большим преступлением является клевета. Предположим, что ты прав и я действительно украл, но я украл, видимо, потому,—какой блестящий удар по учению Кальвина о предопределении—что мне было предопределено украсть свыше, ведь именно этому ты как раз учишь, за что же ты меня оскорбляешь? Не следует ли тебе сострадать мне за то, что бог определил мне такую судьбу и не предостерег меня от воровства? Почему же ты на весь свет кричишь о моем воровстве? С тем чтобы я в последующем воздержался от воровства? Но если я вынужден воровать, если я ворую вследствие божеского предопределения, то ты должен отпустить мне грех в своих посланиях, поскольку этот грех тяготеет надо мной от бога. В этом случае мне так же невозможно было бы удержаться от воровства, как ни с того, ни с сего прибавиться в росте на дюйм».

И, показав всю бессмысленность этой клеветы, Кастеллио объясняет, что же было на самом деле. Как сотни других, он во время разлива Рейна гарпуном выловил топяк, плывущий по реке, что, разумеется, было не только поступком, разрешенным законом, так как топяки везде, как известно, являются ничейным имуществом, но даже чрезвычайно поощрялось магистратами, так как при разливе плывущие бревна угрожают целостности мостов. И Кастеллио может доказать, что он, впрочем, как и другие, подобные же «воры», получил от сената города Базеля даже плату за это «воровство»—*quaternos solidos* (примерно четверть стоимости золотого),—поскольку вылавливание топяков сопряжено с риском для жизни; после этого разъяснения женеvская клика никогда более не отважится на повторение этой глупой клеветы, опозорившей не Кастеллио, а Кальвина.

Бесполезно было бы Кальвину как-нибудь приукрашивать свое поведение, что-либо отрицать: в своем неистовстве желая любой ценой уничтожить политического врага, противника в мировоззренческих вопросах, Кальвин извращает факты так же отчаянно, как в деле Сервета. В поведении же Кастеллио никогда не удавалось найти даже ничтожного пятна. «Любой может иметь свое мнение о том, что я написал,—спокойно пишет Кастеллио Кальвину,—и никаких суждений обо мне не боюсь, пока судят меня без ненависти. Бедность мою может подтвердить всякий, кто знает меня с детства: и если бы в этом была нужда, я мог бы назвать бесчисленных тому свидетелей. Но нужно ли это вообще? Не достаточно ли одного свидетельства, подписанного тобой и твоими приверженцами?.. Даже твои ученики

не однажды должны были признать, что относительно скромности и строгости моего образа жизни у них не имеется ни малейшего сомнения. И поскольку мое учение отличается от твоего, они вынуждены были ограничиться лишь утверждением, будто я нахожусь в заблуждении. Как же ты осмеливаешься распространять обо мне такие слухи и звать еще при этом к имени бога? Неужели ты не понимаешь, Кальвин, как страшно звать к богу, если обвинение порождено только ненавистью и яростью?» [...]

Какая разница между этими двумя людьми, какое превосходство свободного, беспристрастного человека перед человеком, окаменевшим в своей самонадеянности! Вечное различие между гуманной натурой и доктринером, между уравновешенным человеком, не желающим ничего иного, как только сберечь свое мнение, и упрямым, стремящимся навязать свое мировоззрение всему, миру, унижить всех людей, заставить их во всем следовать за собой. Там с достоинством говорит чистая и ясная совесть, здесь в угрозах и проклятиях надрывается от крика раздраженная жажда господства. Но истинная ясность не даст сбить себя никакой ненависти. Всегда самые чистые поступки совершаются свободно, не под давлением фанатизма, нет, в природе их — сдержанность и уравновешенность.

Людям же фанатичным, напротив, справедливость никогда не нужна, им нужна победа. Они никому не хотят дать права, они желают сохранить права за собой. Едва выпускается в свет сочинение Кастеллио, атаки на него начинаются снова. Правда, диффамации о личности «собаки», «бестии» Кастеллио и глупые сказки о его воровстве дров постыдно снимаются с вооружения; даже Кальвин не решается повторять их. Боевые действия поспешно переносятся в область богословия: еще раз пускаются в дело женеvские печатные станки, еще влажные от последних клевет, вторично на передовые позиции высылается Теодор де Без. Более верный своему учителю, чем истине, в предисловии к официальному женеvскому изданию Библии (1558) он допускает против Кастеллио злонамеренность такого доносительского характера, что в этом месте она звучит прямо-таки как богохульство. «Сатана, наш старый противник,— пишет де Без,— которого и узнать можно лишь потому, что он не терпит божье слово, действует теперь еще более опасным образом, чем прежде. Долгое время не было французского перевода Библии, по меньшей мере такого перевода, который был бы достоин Священного писания; теперь же сатана нашел столько переводчиков, сколько существует пустых и дерзких людей, и, возможно, он найдет их еще больше, если вовремя не вмешается бог. Если меня спросят здесь о каком-нибудь примере, то я укажу на латинский и француз-

196 ский переводы Библии, выполненные Себастьяном Кастеллио, человеком, известным нашей церкви своей неблагодарностью и дерзостью, а также теми напрасными усилиями, которые церковь потратила на него, направляя на истинный путь. Поэтому мы полагаем в согласии со своей совестью более не замалчивать его имя—как это делали до сих пор,—а предупредить всех христиан, чтобы они береглись этого избранного сатаной человека».

Более определенно и более намеренно нельзя донести инквизиции об ученом. Но «избранный сатаной» Кастеллио не обязан теперь более молчать; сенат университета, возмущенный низостью нападков и ободренный охранным письмом Меланхтона, вновь дал преследуемому право говорить.

Этот ответ Кастеллио де Безу полон глубокой и, можно сказать, даже мистической скорби. Чистого гуманиста волнует, как люди его духовного уровня могут так неукротимо ненавидеть. Правда, он хорошо знает, что кальвинистов заботит не истина, а только монополия их истины и что они не успокоятся до тех пор, пока не уберут его с дороги, как убрали до него всех своих духовных или политических противников. Но человек благородных чувств не может опуститься до подобных глубин ненависти. «Вы горячитесь и побуждаете магистрат к тому, чтобы он приговорил меня к смертной казни,— пишет Кастеллио в пророческом предчувствии.—Если бы это не было открыто изложено в ваших книгах, я бы не отважился утверждать такое письменно, хотя и убежден в ваших истинных намерениях; ведь мертвый, я не смогу вам более отвечать. То, что я еще жив,—для вас непереносимый кошмар, а видя, что магистрат не поддается вашему нажиму или во всяком случае еще не поддается ему,—что, впрочем, может вскоре измениться,—вы пытаетесь возбудить у мира ненависть ко мне и объявить меня вне закона». Прекрасно понимая, что его противники открыто добиваются его смерти, Кастеллио обращается к их совести. «Скажите мне все же,—спрашивает он этих слуг слова Христа,—как ваше отношение ко мне позволяет вам взывать к Христу? Даже тогда, когда предатель выдал его преследователям, он говорил с ним с добротой, на кресте он молился за своих палачей. А вы? За то, что в отдельных вопросах веры я имею мнение, отличное от вашего, вы с ненавистью преследуете меня во всех странах мира и разжигаете в других ту же ненависть...» [...]

Но де Без, и Кастеллио это знает,—всего лишь высланный вперед приспешник. Не от него исходит эта смертоносная ненависть, а от Кальвина, от деспота мысли, который желает запретить всякую попытку толкования Библии. Поэтому Кастеллио через голову де Беза обращается к

Кальвину, спокойно, без околичностей, без посредников: «Ты считаешь себя христианином, признаешь Евангелие, кичишься тем, что ты приверженец бога и славить себя за то, что знаешь все его замыслы, ты утверждаешь, что знаешь истину Евангелия. Так почему же, поучая других, ты сам не учишься? Почему, проповедуя с кафедры о том, что клеветать нельзя, свои книги ты заполняешь клеветой? Почему приговариваете вы меня якобы из-за моей гордыни к смерти с таким высокомерием, с такой надменностью и самонадеянностью, как если бы вы сидели в совете господина и он просил вас открыть людям тайны его сердца?.. Спуститесь, наконец, на землю, углубитесь в себя самих, поспешите. Как бы не было это слишком поздно! Попробуйте, если это еще возможно, кинуть с сомнением взгляд на себя, и вы увидите то, что видят уже многие. Откиньте это себялюбие, терзающее вас, эту ненависть к другим и в особенности ко мне. Давайте соревноваться друг с другом в снисхождении, и вы откроете, что мое неблагочестие так же придумано, как и другие постыдные свойства, которые вы мне навязываете. Примиритесь с тем, что по некоторым пунктам учения у меня есть своя точка зрения. Разве не должны мы стремиться к тому, чтобы набожные люди, хотя в чем-то и отличающиеся во взглядах, были едины в вере?..»

Никогда гуманный, стремящийся к примирению человек не отвечал более мягко фанатику и доктринеру; и великодушный в слове, своим человеческим поведением в этой навязанной ему борьбе Кастеллио являет собой пример персонифицированной идеи терпимости. Вместо того чтобы издевкой ответить на издевку, ненавистью — на ненависть, он пишет: «Я не знаю такой земли, такой страны, где бы мог скрыться от своей совести, если бы выдвинул против вас те обвинения, которые выдвинули вы против меня»; он еще раз пытается прекратить борьбу гуманным обсуждением спорных вопросов, всегда, по его мнению, возможным между людьми духа. Еще раз протягивает он противникам руку дружбы, хотя те уже держат в своих руках секиру палача. [...]

[...] «Вы считаете свое мнение правильным? Другие думают то же самое о своем мнении, так пусть же мудрейшие покажут себя и более братскими, а не высокомерными гордецами из-за своей мудрости. [...]

Если же вы тем не менее не оставите свою ненависть, если не поддадитесь моим призывам к христианской любви, я умолкну. [...]

* * *

Чувства не в состоянии понять, как такой глубоко человеческий, такой поразительной силы призыв к примирению с духовными противниками не привел к умиротворе-

198 нию. [...] На Кальвина не оказывает ни малейшего впечатления потрясающей силы призыв человека, жаждущего только одного — мира, который не проповедует, не агитирует, не борется за господство своих идей, которым не движет ни малейшее тщеславие, человека, далекого от стремления насильственно навязывать кому-нибудь на земле свое мировоззрение; набожная Женева этот призыв к христианской любви отклоняет как «чудовищность». И тотчас же открывается ураганный огонь со всеми отравляющими парами издевок и натравливания. Чтобы набросить на Кастеллио подозрение или по крайней мере сделать его смешным, появляется новая ложь, причем ложь едва ли не самая подлая. Хотя женевцам строго запрещены все театральные увеселения, однако в женевской семинарии ученики Кальвина разучивают «набожную» школьную комедию, в которой Кастеллио выведен как главный слуга сатаны под прозрачным именем de parvo Castello*, причем он говорит следующие слова:

Восславлю добродетель и грехи,
Пушу я в ход и прозу, и стихи,
Платили б только звонкою монетой...

По разрешению Кальвина и, безусловно, с поощрения этого вождя христианства, этого проповедника божьего слова, бесстыдно пущена в ход клевета, в которой Кастеллио, этому живущему в апостолической бедности человеку, приписывается то, что он продает свое перо за деньги и борется за чистое учение терпимости не по убеждению, а как оплачиваемый агитатор какого-то паписта. Но кальвинистской ненависти фанатизма давно безразлично, чем пользоваться, правдой или клеветой, лишь одна мысль занимает женевских zelотов — прогнать Кастеллио с кафедры Базельского университета, сочинения его сжечь, а если удастся, то сжечь и его в придачу.

* * *

Чрезвычайной удачей для этих яростных ненавистников является поэтому то, что при одном из обычных для Женевы обысков в домах бюргеров двое горожан были застигнуты за чтением книги, которая — и уже одно это рассматривается в Женеве Кальвина как преступление — напечатана без разрешения Кальвина. Ни автор, ни место печати в этой маленькой книжке — «Conseil à la France désolée»** — не указаны, что с несомненностью подтверждает наличие в ней еретических мыслей. Тотчас же провинивших-

* ничтожный Кастеллио (итал.).

** «Совет безутешной Франции» (франц.).

ся тащат в консисторию. Из страха перед страшными орудиями пыток они признаются, что эту книгу дал им племянник Кастеллио, и с фанатическим неистовством ищейки берут травимого зверя, чтобы убить его наконец.

Действительно, эта «зловредная, полная заблуждений книга» написана Себастьяном Кастеллио. Еще раз, стремясь к мирному — в духе Эразма — разрешению церковных споров, впал он в свое старое, неизлечимое «заблуждение». Он не может молча наблюдать, как религиозные подстрекательства (с тайного одобрения Женевы) приносят его любимой Франции кровавые плоды, где протестанты поднимают оружие против католиков. И как бы заранее предвидя и Варфоломеевскую ночь, и страшные ужасы войны гугенотов, он чувствует себя обязанным, пока не поздно, еще раз показать миру бессмысленность этого кровопролития. Ни то учение и ни другое, пишет он, само по себе не является ошибочным; ошибочной и преступной всегда будет попытка насильственно принудить человека к той вере, которой он не привержен. Все зло на земле происходит из-за этого *forcement des consciences**, от постоянно возобновляющихся кровавых попыток узколобого фанатизма свершить насилие над совестью. Но не только аморально и не только противозаконно, доказывает Кастеллио, принудить кого бы то ни было к какой-нибудь вере, которую он в душе не признает, более того, это вообще лишено всякого смысла, это абсурдно. Ведь только кажется, что принудительная вербовка в секту множит верующих этой секты; принудительной пропагандой и пытками секта множится лишь внешне, количественно. В действительности же любое мировоззрение, которое таким насильственным способом вербует прозелитов, не столько обманывает мир своей лживой арифметикой, сколько само себя. Ибо, справедливо замечает Кастеллио, те, кто желает иметь как можно больше приверженцев своей веры и поэтому понуждает к ней многих людей, подобны дурню, который имеет большой сосуд с малым количеством вина в нем; он заполняет сосуд водой, чтобы вина было больше; но этим он не увеличивает количество своего вина, а портит лишь то хорошее вино, которое было в сосуде вначале. Никогда не сможете вы утверждать, что те, кого вы принудили к своей вере, привержены ей действительно, от всего сердца. Если бы им была оставлена свобода, они могли сказать: я верю от всего сердца, что вы — несправедливые тираны, и то, что вы мне навязали, никакой цены не имеет. Плохое вино не станет лучше, если людей заставить его пить.

Поэтому вновь и вновь страстно повторяет Кастеллио свою идею: нетерпимость неизбежно ведет к войне и только

* принуждение совести (франц.).

200 терпимость — к миру. Не с орудиями пыток, не с секирами и пушками можно внедрить мировоззрение, а только и только индивидуально, по внутренней убежденности; только взаимопониманием можно избежать войн и объединить идеи. Так пусть же протестантами станут те, кто хочет быть протестантами, католиками же останутся те, кто хочет быть католиками; не следует принуждать к другой вере ни тех, ни других. За поколение до того, как в Нанте обе веры объединились в мире на гробах десятков и сотен тысяч бессмысленно погибших людей, этот одинокий, трагический гуманист набрасывает эдикт терпимости для Франции: «Совет, который я даю тебе, Франция, таков: прекрати преследование совести, не преследуй, не убивай за убеждения, а вместо этого разреши, чтобы в твоих пределах каждый верящий в Христа служил богу не по чужому разумению, а по своему собственному».

* * *

Такое предложение к умиротворению между французами — католиками и протестантами — в Женеве считается, разумеется, наипрощеннейшим из всех возможных преступлением. Ведь тайная полиция Кальвина как раз делает все, чтобы разжечь во Франции войну гугенотов; поэтому агрессивной церковной политике Кальвина нет ничего более ненавистного, чем этот гуманный пацифизм. Тотчас же приводятся в движение все рычаги для того, чтобы не дать распространиться произведению Кастеллио, ратующему за мир. Во все направления посылаются гонцы, ко всем авторитетам протестантизма пишутся заклинающие письма, и, действительно, своей прекрасно организованной агитацией Кальвин добивается того, что в Генеральном синоде реформированных церквей в августе 1563 года принимается решение: «Настоящим церковь уведомляется, что вышла в свет книга «Conseil à la France désolée», автор которой — Кастеллио. Это очень опасная книга, и ее следует остерегаться».

Опять удалось запретить распространение «опасной книги» Кастеллио — книги, опасной для фанатизма. А теперь пора покончить с этим непоколебимым, несгибаемым антидогматиком, антидоктринером! Надо, наконец, покончить с ним, не только заткнуть ему рот, а навсегда перебить ему позвоночник! Вновь на передние позиции выдвигается Теодор де Без, чтобы прикончить Кастеллио. Книга де Беза «Responsio ad defensiones et reprehensiones Sebastiani Castellionis»*, посвященная пасторам города Базеля, уже этим своим посвящением показывает церковнослужителям, где следует

* «Возражение на защиту и опровержения Себастьяна Кастеллио» (лат.).

расставить ловушки для поимки Кастеллио. Настало время, настало самое подходящее время, нашептывает де Без, чтобы духовное правосудие занялось этим опасным еретиком и защитником еретиков. В подтверждение этого набожный богослов дикой мешаниной обвинений и ругательств позорит Кастеллио как лгуна, богохульника, наисквернейшего анабаптиста, осквернителя святого учения, вонючего сикофанта, покровителя не только всех еретиков, но и всех прелюбодеев и прочих преступников; под конец он ласково именует Кастеллио убийцей, которого защищают черти из преисподней сатаны. Правда, из-за нескрываемой поспешности, с которой дикие оскорбления в беспорядке нагромождаются друг на друга, они подчас противоречат друг другу, подчас друг друга исключают. Но в этом хаосе ясно и отчетливо можно понять одно — автор книги обуреваем смертоносным желанием в конце концов заткнуть рот Кастеллио, заткнуть по возможности навсегда.

* * *

Сочинение де Беза — это обвинение, с таким нетерпением ожидаемое инквизицией, духовным судом; без фигового листка, во всей своей вызывающей наготе видна доносительская целенаправленность этого сочинения. Базельский синод совершенно недвусмысленно призывается к тому, чтобы побудить светские власти к задержанию Кастеллио. Себастьяна Кастеллио необходимо незамедлительно привлечь к ответственности как низкого, подлого преступника. А несколько дней спустя сам де Без лично появляется внезапно в Базеле, чтобы запустить колесо юстиции. К сожалению, его нетерпению противостоит внешняя формальность: по закону Базеля, для того чтобы принять дело в судопроизводство, обязательно требуется письменный, подписанный донос, адресованный светским властям, напечатанная же книга таким документом не считается. Казалось бы, если б Кальвин и де Без действительно хотели предъявить обвинение, им следовало бы подать такое заявление за своими подписями. Но Кальвин верен своему старому методу, так хорошо себя оправдавшему в деле Сервета, он предпочитает, чтобы этот донос сделал не он, не де Без, а кто-нибудь третий на свою ответственность. Вновь используется лицемерный прием, опять повторяется то, что уже было во Вьенне и Женеве: в ноябре 1563 года сразу же после выхода в свет книги де Беза некий совершенно некомпетентный в вопросах веры человек, Адам фон Боденштейн, подает в магистрат письменную жалобу на Кастеллио, обвиняя его в ереси. Для защиты истинной веры этот Адам фон Боденштейн — кандидатура крайне неудачная, к нему для этого следовало бы обратиться в самую последнюю очередь, ведь он — не кто иной, как сын

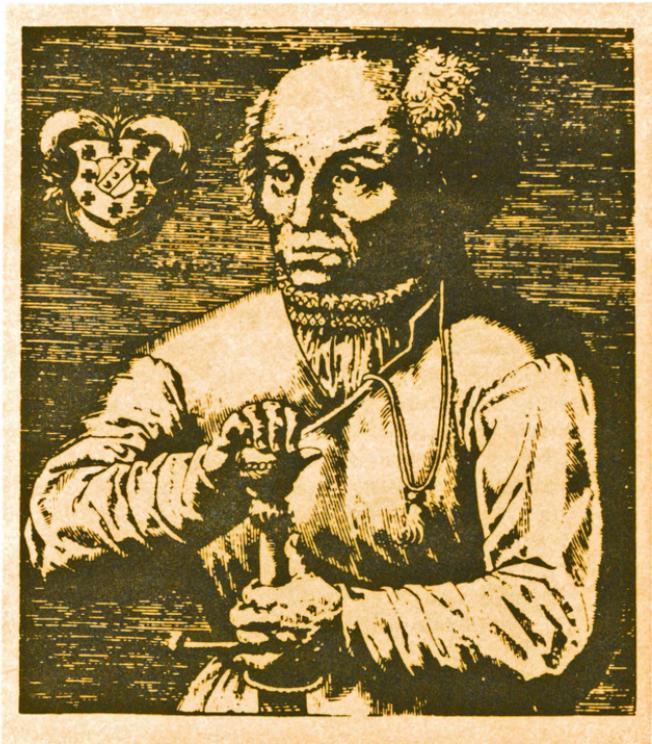
202 пресловутого Карлштадта, которого Лютер выгнал из Виттенбергского университета как опасного фанатика; кроме того, он — ученик также очень опасного и крайне нечестивого Парацельса², такого человека едва ли можно считать опорой протестантской церкви. Однако, по-видимому, де Безу при его посещении Базеля каким-то образом удалось завербовать Боденштейна на эту жалкую роль, и тот в своем письме базельскому Совету слово в слово повторяет всю путаницу аргументов книги де Беза, в которой Кастеллио одновременно объявляется папистом, анабаптистом, вольнодумцем, богохульником и, кроме того, еще покровителем всех прелюбодеев и прочих преступников. Но этим официально адресованным магистрату обвинительным письмом, которое сохранилось до наших дней, — безразлично, содержится ли в нем правда или ложь, — открыт путь для судопроизводства. Поскольку документ представлен в магистрат официально и занесен в соответствующий реестр, базельский суд вынужден приступить к расследованию. Кальвин и его клеветы достигли своей цели: Кастеллио, как еретик, посажен на скамью подсудимых.

* * *

От глупого нагромождения всех предъявленных ему обвинений самих по себе Кастелио было бы легко защититься. Ведь в слепом, в чрезмерном рвении Боденштейн обвиняет его одновременно в таком множестве противоречащих друг другу грехов, что их недостоверность становится всем слишком очевидной. Кроме того, в Базеле известна безупречная жизнь Кастелио. И если Сервета удалось бросить в темницу, заковать в цепи, мучить вопросами, то от Кастелио профессора университета потребовали всего лишь, чтобы он оправдался перед Сенатом в предъявленных ему обвинениях. И его коллегам достаточно того, что он объявляет своего обвинителя Боденштейна подставным лицом — что действительно соответствует истине — и требует, чтобы настоящие подстрекатели, Кальвин и де Без, если они желают его обвинить, лично явились в суд. «А поскольку меня подозревают с такой великой страстностью, я от всей души прошу вас дать мне возможность защищаться. Если Кальвин и де Без верят в истинность предъявленных мне обвинений, пусть они сами выступят и докажут всем, что я повинен в том, в чем меня обвиняют. Если они убеждены, что ведут себя правильно, то,нисколько не усомнившись в том, что меня следует обвинить перед всем светом, им не следует опасаться трибунала Базеля... [...] Я знаю, что я всего лишь бедный, темный человек, очень простой и неименитый, но бог благосклонен как раз к простым людям и не оставит неотомщенной их безвинно пролитую кровь». Тогда он,

Кастеллио, охотно отдался бы в руки суда. И если подтвердится хотя бы одно, самое малое обвинение, он во искупление своей вины сам положит голову на плаху.

Разумеется, Кальвин и де Без остерегаются принять это справедливое предложение; ни тот, ни другой не явятся в Сенат Базеля. И уже кажется, что хитроумный донос позабудется, но случай приносит противникам Кастеллио неожиданную помощь. Роковым образом именно сейчас обнаруживается одно обстоятельство, опасно подкрепляющее обвинение Себастьяна Кастеллио в ереси и в покровительстве еретикам. Вот что произошло в Базеле: двенадцать лет жил там в своем дворце в Биннингене иностранец — аристократ или купец — некий Жан де Брюге, который щедро помогал бедным и снискал среди горожан Базеля любовь и уважение. Когда этот благородный человек умер в 1556 году, весь город принял участие в его пышных похоронах; гроб устанавливают на самом почетном месте — в церкви св. Леонарда. Проходят годы, и вот вдруг распространяется слух, поверить которому отказываются уши: выясняется, этот Жан де Брюге не был ни аристократом, ни



Парацельс
Гравюра
на меди, 1542

204 купцом. Под именем де Брюге скрывался пресловутый, находящийся вне закона архиеретик Давид де Йорис, издатель «Wonderboeks», исчезнувший из Фландрии во время ужасного избиения анабаптистов. Какое пятно на чести, на достоинстве города Базеля — открыто и от всего сердца при жизни и после смерти этого неисправимого врага церкви выказывать ему высшие знаки уважения. И чтобы отомстить за бесчестное злоупотребление гостеприимством, город задним числом проводит процесс над давно умершим человеком. Процесс завершается осуждением и омерзительной церемонией: из гробницы извлекают разложившиеся останки архиеретика и вздергивают их на виселице, а затем на большой рыночной площади Базеля перед тысячами зрителей сжигают вместе с кипой еретических книг. И Каstellio вместе со всеми профессорами университета должен быть свидетелем этого отвратительного зрелища — можно себе представить, какие чувства его обуревали! Ведь долгие годы его связывала большая дружба с Давидом де Йорисом; в свое время вместе пытались они спасти Сервета, и весьма вероятно, что Давид де Йорис, архиеретик, был также анонимным соавтором книги Мартинуса Беллиуса «De Haereticis». Бесспорно во всяком случае то, что Каstellio не принимал никогда владельца замка Биннинген за купца, за которого тот себя выдавал, а с самого начала знал истинное имя Жана де Брюге; но, проповедуя в своих сочинениях идею терпимости, он был предан ей и в личной жизни и поэтому не собирался ни доносить на человека, ни порывать с ним дружеские отношения лишь потому, что того преследуют все церкви, все властелины мира.

Эта внезапно открывшаяся связь с пресловутым анабаптистом укрепляет обвинение кальвинистов, подтверждает, что Каstellio — защитник и укрыватель всех еретиков и преступников; создается ситуация, чрезвычайно опасная для его жизни. А поскольку беда никогда не приходит одна, то тут обнаруживаются близкие отношения Каstellio с другим очень опасным еретиком — с Бернардо Окино. Знаменитый монах-доминиканец, известный всей Италии своими бесподобными, пламенными проповедями, Окино вынужден бежать с родины от папской инквизиции. Но и в Швейцарии необычность его тезисов безмерно пугает священников реформированных церквей; особенно опасной представляется им его последняя книга «Тридцать диалогов», содержащая такое изложение Библии, которое во всем мире протестантизма воспринимается как невероятное кощунство: ссылаясь на закон Моисея, Бернардо Окино объявляет, что многоженство хотя и не рекомендуется, но по существу разрешено Библией и поэтому допускается.

Тотчас же по выходе в свет книги с этим скандаль-

ным тезисом и многими другими тезисами, непереносимыми для ортодоксии реформированной церкви, против Бернардо Окино возбуждается дело. Книгу эту с итальянского на латинский перевел не кто иной, как Кастеллио. В его переводе книга была отпечатана; его вина в распространении таких богохульных тезисов бесспорна. Теперь перед судом церкви он, как соучастник, виновен не меньше, чем автор книги. Вскрывшаяся дружба Кастеллио с Давидом де Йорисом и Бернардо Окино за одну ночь делает опасно достоверными дерзкие обвинения Кальвина и де Беза, утверждавших, что Кастеллио — оплот и глава самой неистовой ереси. Такого человека университет уже не может и не будет более защищать.

* * *

Что предстоит защитнику терпимости вынести от нетерпимости своих современников, Кастеллио может себе представить по тем ужасным мерам, которые церковные власти приняли по отношению к Бернардо Окино, его товарищу. Объявленного вне закона человека в течение ночи выгнали из Локарно, где он был проповедником общины итальянских эмигрантов: он умолял о милости отсрочки, но ему было отказано в ней. Не было снисхождения к этому не имеющему никаких средств к существованию семидесятилетнему старику. То, что он несколько дней назад похоронил свою жену, не дает ему права на отсрочку изгнания. То, что он должен скитаться по свету с несовершеннолетними детьми, не смягчает гнева благочестивых богословов. То, что на дворе зима и горные перевалы занесены снегом и непроходимы, нисколько не заботит его фанатичных преследователей: пусть поддыхает на дороге подстрекатель, еретик! В середине декабря изгоняют его, и в поисках нового пристанища седобородый старик должен тащиться со своими детьми по обледенелым горным тропам, по скалистым гребням хребта. Но и такая жестокость этим богословам ненависти, этим ханжеским проповедникам слова божьего не кажется достаточно сильной. Ведь может же где-нибудь сострадание в конце концов дать бредущему в стужу старику с детьми теплый ночлег или охапку соломы. Нет, этого допустить нельзя, власти города с омерзительно ханжеским благочестивым рвением рассылают во все концы письма, в которых указывается, что ни один добрый христианин не должен под своей крышей терпеть это чудовище, и тотчас же во всех городах, во всех селениях перед ним, словно перед прокаженным, закрываются ворота и двери. Нигде не найдя себе пристанища, этот старик ученый пересечет Швейцарию, как нищий будет ночевать в амбарах, стыть на морозе, брести дальше и дальше до границы, а затем — через огром-

ную Германию, где тоже все общины уже оповещены о нем; только одна надежда поддерживает его, что он доберется-таки до Польши, где у более милосердных людей найдет наконец приют для себя и детей. Но слишком сурово испытание для сломленного человека. Бернардо Окино никогда не достигнет своей цели, никогда его челн не прибьется к тихой гавани. Жертва нетерпимости, обессиленный старик, упадет на одной из дорог Моравии; там, на чужбине, он, словно бродяга, и будет предан земле, и никто потом не сможет даже указать, где его могила.

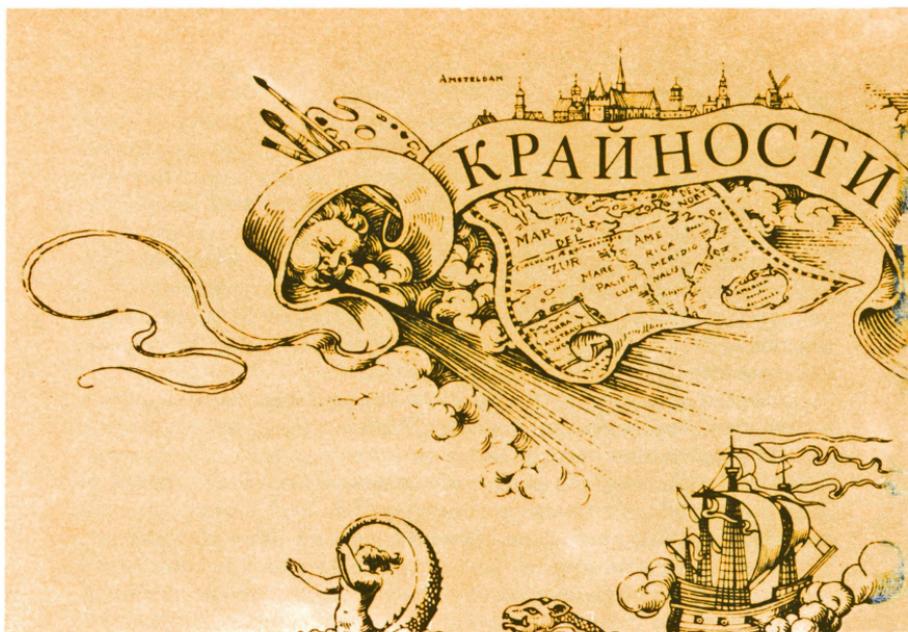
Кастеллио может увидеть свою судьбу в этом ужасном кривом зеркале. Уже подготовлен против него процесс, а разве в подобные времена бесчеловечности может надеяться на какое-либо милосердие человек, единственное преступление которого заключается в том, что он по-человечески сострадает всем преследуемым. Уже видится защитнику Сервета судьба Сервета, уже нетерпимость этого ужасного времени схватила за горло своего опаснейшего противника, защитника терпимости.

Но providению угодно, чтобы его преследователи не получили триумфа, оно не желает, чтобы они увидели Себастьяна Кастеллио, архиврага любой духовной диктатуры, в темнице, в изгнании или на костре. Внезапная смерть спасает в последний час Себастьяна Кастеллио от процесса, от смертоносного натиска его врагов. Уже давно перенапряженная работа истощила его тело, а когда на человека наваливаются заботы и волнения души, подорванный организм не выдерживает. Правда, до последнего часа, с трудом передвигаясь, ходит Кастеллио в университет, пытается работать за письменным столом, но напрасное сопротивление! Уже смерть берет верх над волей жить и работать. Трясущегося в ознобе, кладут его в постель, жестокие колики не позволяют ему принимать ничего, кроме молока, все хуже и хуже ему, и, наконец, потрясенное сердце более не выдерживает. 29 декабря 1563 года Себастьян Кастеллио умирает сорока восьми лет, «с помощью божьей освобожденный от когтей своих противников», как участливо скажет один из его друзей, находившийся у смертного одра.

С этой смертью разваливается все нагромождение клевет: слишком поздно поняли горожане Базеля, как плохо они защищали этого лучшего среди них человека, как равнодушны они были к его судьбе. Оставшийся после него жалкий скарб неопровержимо подтверждает, в какой апостольской нищете жил этот чистый человек, этот благородный ученый; в доме не найти серебряной монеты, друзья оплачивают гроб и небольшие долги покойного, принимают участие в расходах по похоронам, дают приют его несовершеннолетним детям. Но как вознаграждение за позор обви-

нения похороны Себастьяна Кастеллио превращаются в триумфальное шествие восторжествовавшей нравственности; все, кто боязливо и осторожно молчал, когда Кастеллио обвиняли в ереси, протискиваются вперед, чтобы выказать, высказать, как сильно они его любили, как глубоко уважали; защищать мертвого всегда проще и удобнее, чем живого и гонимого. Весь университет торжественно следует за гробом, гроб вносится на плечах студентов в кафедральный собор и вмуровывается на переходе к монастырю. Трое его учеников на свои средства устанавливают надгробный камень с надписью: «Преславному учителю в благодарность за его огромные знания и чистоту его жизни».

Но в то время как Базель оплакивает благородного человека и большого ученого, в Женеве царит неудержимое ликование; только что разве не звонят колокола при замечательном сообщении, что с этим отважнейшим защитником духовной свободы наконец-то покончено, что самый красноречивый человек, поднявший голос против насилия совести, онемел! С неприличной радостью поздравляют они друг друга, все эти «библиократы», эти «служители слова божьего», как если бы слова «любите врагов своих» никогда не были написаны в их Евангелии. «Кастеллио помер? Тем лучше!» — пишет господин Буллингер, пастор Цюриха, а другой глумится: «Чтобы не защищаться перед сенатом Базеля, Кастеллио бежал к Rhadamanthys (к сатане)». Де Без, поразивший Кастеллио своими доносительными стрелами, превозносит бога, освободившего мир от этого еретика, и восхваляет себя как провозвестника божьей воли: «Я был хорошим пророком, когда сказал Себастьяну Кастеллио: бог накажет тебя за твое богохульство». Даже со смертью Кастеллио — а гибель бойца-одиночки вдвойне достойна чести — бешеная ненависть к нему не утихает. Но напрасно бушуют они. Мертвому их издевки безразличны, идея же, за которую он жил и умер, как и все истинно гуманные мысли, стоит выше любого земного, преходящего насилия.



Похоже, борьба пришла к концу. Смерть Себастьяна Кастеллио избавила Кальвина от единственного его духовного противника, а поскольку Кальвин до этого заставил в Женеве замолчать всех своих политических противников, теперь он может без помех совершать все, что задумал. Любая диктатура чувствует себя уверенней, преодолев кризис, обычно неизбежный при ее становлении; подобно тому как климатические перемены и другие изменения условий жизни первоначально доставляют человеку известные неудобства, а затем его организм приспосабливается к ним, адаптируется, так и народы поразительно быстро привыкают к новым формам правления. Проходит немного времени, умирает старое поколение, которое с горечью сравнивало неприятное ему настоящее с милым сердцу прошлым, подрастает юность, воспитанная в новых традициях; не имея никакого представления о каком-либо другом образе жизни, она воспринимает новые идеалы как сами собой разумеющиеся, как единственно возможные. А для того, чтобы какая-нибудь идея решительно изменила миропонимание народа, одного поколения достаточно. И вероучение Кальвина за два десятка лет из мысленной субстанции сгустилось в некую духовную форму существования. Следует отдать должное этому гениальному организатору, после разгрома оппозиции он с великолепной планомерностью расширил свою систему и постепенно сделал ее мировой. Железный порядок, на



протяжении двух десятилетий поддерживаемый в Женеве, превратил ее — с точки зрения внешних проявлений образа жизни — в образцовый город; приверженцы реформированных церквей из всех стран Европы отправляются в «Рим протестантизма», чтобы подивиться тому, какого совершенства можно достичь, если теократический режим будет неукоснительно проводить в жизнь свои установления. Действительно, сполна достигнуто все, что требовало строгого повиновения и спартанской закалки; правда, ради наитрезвейшей монотонности пришлось пожертвовать творческим многообразием, а ради холодной математической правильности — радостью, но зато само воспитание стало своего рода искусством. Безупречны все учебные организации, все благотворительные учреждения, наука продвигается в своем развитии вперед, а с основанием Академии Кальвин создает не только первый духовный центр протестантизма, но и полюс, противоположный ордену иезуитов Лойолы, давнишнего своего товарища по коллегии Монтайн: логическая дисциплина против логической дисциплины, закаленная воля против такой же закаленной воли. По точно рассчитанному плану военных действий отсюда будут посылаться в мир отлично подготовленные проповедники и агитаторы кальвинистского учения. Давно уже испытывает Кальвин глубокую неудовлетворенность: его идеи, его властолюбивым мечтам тесно в маленьком швейцарском городе; неукротимая воля

210 этого фанатика хочет распространиться над всеми странами, он желает подчинить своей тоталитарной системе всю Европу, весь мир. Уже Шотландию подчинил ему его легат Джон Нокс, уже Голландия и частично Скандинавские страны прониклись духом пуританизма, уже вооружаются гугеноты¹ Франции, готовясь к решительной битве, один только счастливый шаг, и «Institutio» станет мировым институтом, кальвинизм — единственной формой мышления и жизни западного мира.

Как решающе изменило бы культурную жизнь Европы такое победоносное внедрение кальвинистского учения, можно себе представить по тем неповторимым чертам, которые кальвинизм придал за короткий срок странам, принявшим это учение. Всюду, где хотя бы даже на короткий отрезок времени женевская церковь смогла осуществить свой нравственно-религиозный диктат, у нации возник особый тип человека — незаметно живущего, «безупречно» («spotless») выполняющего свой нравственный и религиозный долг; свободомыслие в быту приглушено, последовательно, методически сдерживается, жизнь сведена к холодному, трезвому образцу. Уже по внешнему облику улицы города, по известной размеренности поведения жителей, по неяркости их одежды и манере держать себя, даже по отсутствию украшений и будничности каменных зданий можно совершенно точно определить, как сильно волевая личность смогла запечатлеть присущие ей черты на реалиях, что в этой стране, в этом городе люди находятся или когда-то находились под воздействием кальвинистской муштры. Всюду, где кальвинизм стал господствующей религией, он, ломая индивидуальность, пресекая бурное устремление одиночек к радостям жизни, усиливая авторитет властей, пластически выработал тип педантичного служаки, скромно и настойчиво встраивающегося в общность, образцового чиновника и идеального человека среднего сословия; и Вебер² в своем знаменитом исследовании капитализма убедительно показал, что в выработке черт абсолютного послушания, так необходимых современной индустриализированной жизни, определяющая роль принадлежит кальвинистскому учению, которое религиозными средствами уже в школе воспитывало массы в духе унификации и механичности мышления. А решительная и интенсивная организация подданных всегда повышает внешнюю военную ударную силу государства; великолепное, суровое, жестокое, не боящееся никаких лишений поколение мореплавателей и колонистов, захватившее и населившее новые континенты сначала для Голландии, потом для Англии, это поколение в основном пуританского происхождения; и это же духовное начало определило американский характер; все эти нации своими историческими успехами

обязаны строгому влиянию проповедника-пикардийца церкви св. Петра.

Но каким бы это было кошмаром, если б и Кальвин, и де Без, и Джон Нокс, эти *kill joy* *, завоевали бы для своего вероучения весь мир! Какая прозаичность, какая монотонность, какая бесцветность царили бы в Европе! Как яростно zeloty, ненавидящие искусство, радость, жизнь, искореняли бы то великолепное изобилие, те прелестные излишества бытия, которые всем своим божественным многообразием вдохновляют игру творчества. Как выкорчевывали бы они, уничтожали бы ради сухого единообразия все социальные и национальные контрасты, создавшие в истории культуры империю Запада именно своей чувственной пестротой, как подавляли бы они великое опьянение творчеством своим ужасным, скрупулезным порядком! Подобно тому как в Женеве на столетия была оскоплена страсть к творчеству, как при первых шагах к господству в Англии был ими безжалостно и навсегда растоптан шекспировский театр, чудеснейший цветок мирового духа, как кальвинистские изуверы разбивали в церквях доски великих мастеров и вселяли в человеческие души вместо радости жизни страх божий, точно так же было предано ими в жертву иудейско-библейской анафеме любое вдохновенное устремление в Европе, если бы оно даже и питалось божественным началом, но началом, в чем-то отличным от канонизированного благочестия. Дух захватывает от ужаса, едва только подумаешь, какой была бы Европа семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого столетий без музыки, без живописи, без театра, без танца, без своей роскошной архитектуры, без великолепных празднеств, без утонченной эротики, без изысканного общения! Одни лишь нищие церкви и суровые проповеди для воспитания—лишь муштра, и смирение, и страх божий! Искусство, этот свет божий в наших душных и темных буднях, было бы запрещено проповедниками как «греховное» расточительство, как распутничество, как *raillardise* **, Рембрандт так и остался бы работником на мельнице, Мольер—обойщиком или слугой. Кальвинисты в ужасе сожгли бы роскошные картины Рубенса, а возможно, и его самого, Моцарта бойкотировали бы за его святую ясность, Бетховену разве что разрешили только переложение псалмов на музыку. Шелли, Гёте и Китс—можно ли представить себе их среди *placet* *** и *imprimatur* **** ханжеской консистории? [...] Никогда отвага и расточительство творческого духа не посмели бы окаменеть в бессмертном великолепии Версаля, в

* брызга (англ.).

** разврат (франц.).

*** Здесь: голосующий «за» (англ.).

**** разрешение цензуры (англ.).

212 римском барокко, никогда не смогло бы рококо расцвести в модах, танце, в нежной игре красок; вместо того чтобы развернуться в творческом движении, европейский дух захирел бы в богословском пустозвонстве. Ибо мир бесплоден, не способен творить, если не пропитан свободой и радостью, не движим ими, ибо в любой закосневшей системе жизнь всегда замерзает.

Но получилось так — и в этом для Европы счастье, — что она не дала себя ни вышколить, ни опуританить, ни оженевить: подобно тому как это было и при других попытках загнать Европу в казарму некоей единой системы, жаждущая вечного обновления воля к жизни проявила и на этот раз свое непреодолимое сопротивление. Лишь в небольшой части Европы кальвинистское наступление одержало победу, но и здесь, получив власть, кальвинизм добровольно отказался от буквалистски сурового диктата Библии. Ни одному государству теократия Кальвина не смогла навязать свою абсолютную власть, и вскоре после смерти Кальвина реальность смягчает и гуманизирует жизнененавистничество, искусствененавистничество некогда неумолимого «надзора». Ибо в конце концов живая жизнь всегда оказывается сильнее любого абстрактного учения. Своими теплыми соками она омывает все закосневшее, смягчает любую суровость, делает податливой любую твердость. Подобно мускулу, который не может беспрерывно находиться в состоянии крайнего напряжения, подобно страсти, которая не может постоянно находиться в состоянии максимального накала, ни одна духовная диктатура не способна длительное время сохранять свой беспощадный, ни с чем не считающийся радикализм: чаще всего только одно поколение оказывается жертвой, ему одному приходится испытать на себе сверхдавление диктатуры духа.

И учение Кальвина быстрее, чем можно было это ожидать, утратило свою непримиримую нетерпимость. Было бы роковой ошибкой отождествлять учение Кальвина, прошедшее «обкатку» временем, с учением Кальвина, каким оно было при жизни его основоположника. То, что требовал Кальвин, и то, чем стало его учение уже к концу столетия, очень сильно отличаются друг от друга. Правда, еще во времена Жан Жака Руссо в Женеве спорят о том, разрешать ли театр или сохранить на него запрет, и очень серьезно обсуждается странный вопрос: что означает развитие изящных искусств — прогресс человечества или его упадок, но уже давно опасное перенапряжение «наставления» сломлено, и застывшее было евангелическое учение органически приспособляется к гуманизму. Ибо дух всегда в развитии и для своих таинственных целей использует любые проявления человеческой мысли, даже такие, которые поначалу пугают

нас как явный шаг назад; у всякой системы вечный прогресс заимствует лишь полезное ему и отбрасывает, словно отжатый плод, все сдерживающее, парализующее. В великом плане человеческого развития диктатуры являют собой лишь краткосрочные изменения, и то, что реакционно хочет сдержать ритм жизни, после короткого движения назад лишь более энергично толкает вперед: вечен символ Валаама³, который хочет проклинать, но благословляет против своей воли. Поразительно, но именно кальвинизм, который особенно яростно стремился ограничить индивидуальную свободу, породил идею политической свободы; и Голландия, и Англия Кромвеля, и Соединенные Штаты, первые поля деятельности кальвинизма, добровольно дали пространство либеральным, демократическим государственным идеям. Пуританский дух создал для мира важнейшие документы Нового времени: Декларацию независимости Соединенных Штатов, которая в свою очередь решающим образом стимулировала провозглашение французской Декларации прав человека и гражданина. И самый удивительнейший переворот, соприкосновение полюсов — как раз те страны, которые, казалось бы, должны



Джон Нокс
Гравюра
Хенрика
Хондиуса

214 были быть наисильнейшим образом пронизаны идеей нетерпимости, совершенно неожиданно стали в Европе убежищами терпимости. Именно там, где религия Кальвина стала законом, реализовалась идея Кастеллио. В ту самую Женеву, где некогда за расхождение в богословских вопросах Кальвин сжег Сервета, бежит «враг божий», живой антихрист своего времени, Вольтер. И вот, поди же, его дружески посещают последователи Кальвина, проповедники именно его церкви, чтобы самым миролюбивым образом пофилософствовать с богохульником. В Голландии Декарт и Спиноза, которые нигде в другом месте не смогли найти себе спокойного пристанища, пишут произведения, освобождающие мысль человека от уз всего церковного и традиционного. Именно в тень самого ригористичного из всех вероучений — мало верящий в чудеса Ренан⁴ назвал «чудом» этот поворот сурового протестантизма к Просвещению — бегут из всех стран те, кого преследуют там за их веру, за их мировоззрение. Всегда крайности сходятся друг с другом; и вот таким образом в Голландии, в Англии, в Америке через два столетия едва ли не по-братски, рука об руку идут друг с другом терпимость и религия, требования Кальвина и требования Кастеллио.

* * *

Но и идеи Кастеллио пережили его время. Лишь на мгновение кажется, что со смертью человека завершилась также и его миссия, еще несколько десятилетий молчание так плотно, так беспросветно укрывает имя Кастеллио, как земля — его гроб. Никто не вспоминает Кастеллио, его друзья умирают, теряются во времени, немногие напечатанные произведения постепенно становятся недоступными, неопубликованные же рукописи никто не решается издавать; похоже, напрасно он боролся, напрасно прожил свою жизнь. Но История идет таинственными путями, как раз победа противника Кастеллио способствует воскрешению его идей. Стремительно, пожалуй, даже слишком стремительно кальвинизм проникает в Голландию. Закаленные в Академии, в этой школе фанатизма, проповедники стремятся свое суровое, аскетическое учение сделать в новообращенной стране еще более суровым. Но вскоре в этом народе, который только что сумел защитить свою свободу от притязаний императора Старого и Нового Света, начинает расти сопротивление; за завоеванную им политическую свободу народ не желает расплачиваться свободой своей совести. В кругах духовных лиц некоторые проповедники — позже их называют ремонстрантами — начинают возражать против тоталитарных

постулатов кальвинизма, и в поисках духовного оружия для неизбежной битвы с неумолимой ортодоксией они внезапно вспоминают исчезнувшее и едва ли не ставшее легендарным имя зачинателя этого движения: Корнхерт и другие либеральные протестанты обращаются к произведениям Кастеллио, и начиная с 1603 года появляются одно за другим переиздания, один за другим переводы его произведений, возбуждающие всеобщий интерес и всевозрастающее восхищение.

И сразу же становится очевидным, что идея Кастеллио не была погребена, а просто как бы пережидала тяжелейшие времена; и вот наступил ее час. Жаждающим слова истины уже мало ранее изданных произведений Кастеллио, в Базель направляются посланцы, чтобы разыскать оставленные покойным рукописи; их привозят в Голландию, там издают и переиздают как на языке оригинала, так и на голландском языке, через полстолетия после смерти Кастеллио происходит то, о чем он, забытый, никогда и не мечтал,—издается собрание его сочинений и рукописей (Gouda, 1612). И вот, впервые окруженный свитой последователей, Кастеллио вновь победно встает в ряды борющихся. Трудно переоценить значение его воздействия, хотя почти всегда безличного, анонимного. В чужих произведениях, в чужих битвах проявляются во всей глубине и полноте мысли Кастеллио; в славных спорах арминиан⁵ о либеральных реформах в протестантизме большинство аргументов заимствовано из произведений Кастеллио. Гантнер из кантона Граубюнднер—замечательная личность, человек, безусловно заслуживший того, что один швейцарский писатель написал о нем книгу, жертвенно—с произведением Мартинуса Белиуса в руках,—самозабвенно защищает перед духовным судом города Кур одного анабаптиста. Учитывая чрезвычайно широкое распространение в начале семнадцатого столетия произведений Кастеллио в Голландии, можно утверждать, хотя это пока никакими документами не установлено, что и Декарт, и Спиноза находились с Кастеллио в духовном контакте.

Но в Голландии идеями Кастеллио увлечены не только духовные лица, не только гуманисты; постепенно его мысли о терпимости глубоко проникают в нацию, уставшую от богословских свар и смертоносных церковных войн. Идея терпимости, став элементом государственной политики, утвердилась в Утрехтском мире и, таким образом, из абстрактной области активно вступает в область реальной жизни: теперь политически свободный народ следует вдохновенному призыву о взаимном уважении мнений, некогда направленному Себастьяну Кастеллио князьям, и поднимает его до уровня закона. Идея уважения всех религий и любого образа

216 мыслей победно шествует во времени из этой первой провинции своего будущего мирового господства, страна за страной предает проклятию— в смысле Кастеллио—любое религиозное преследование, преследование любого мировоззрения. Французская революция дала наконец человеку свободу слова, свободу веры, а в следующем девятнадцатом столетии идея свободы—свободы народов, людей, мыслей—как неотъемлемая максима овладеет всем цивилизованным миром.

* * *

Целое столетие, до самого начала нашего времени, эта идея свободы как абсолютная, как сама собой разумеющаяся идея господствует над Европой. Права человека являются незыблемой основой конституции любого государства, казалось бы, навсегда исчезли времена духовной деспотии, навязываемого мировоззрения, диктата образа мыслей, цензуры мнений, казалось бы, притязания каждого индивидуума на духовную независимость так же обеспечены, как право человека на земное существование. Но История—это постоянно чередующиеся отливы и приливы, вечное движение вверх и вниз, никогда ни одно завоеванное право не завоевано на все времена, ни одна свобода не гарантирована от нападков непрерывно меняющего свою форму насилия. Любой прогресс человечества всегда следует завоевывать, и даже само собой разумеющееся право вновь и вновь ставится под вопрос.

Как раз когда для нас свобода уже стала привычкой, не чем иным, как священнейшим достоянием, из темной бездны мира страстей растет таинственная воля, стремящаяся лишить нас этого достояния; если человечество длительно и беззаботно предается удовольствиям мирной жизни, наступает время, когда оно подпадает под чары опасного влечения к опьянению силой, к преступному наслаждению войной. Ибо для того, чтобы ближе подойти к своей непостижимой цели, История время от времени создает нам необъяснимые препятствия, и, подобно тому как при наводнении рушатся крепчайшие дамбы и плотины, так же разваливаются завоеванные стены прав; и похоже, что в эти зловещие часы человечество идет вспять к кровавым неистовствам орд, к рабской покорности стада. Но после каждого наводнения вода идет на убыль; все деспотии очень быстро либо стареют, либо лишаются своего внутреннего огня [...]; лишь идея духовной свободы, идея всех идей и поэтому непобедимая, вечно возвращается, ибо она вечна, вечна как дух. Если сторонними силами на какой-то отрезок

времени она и лишена слова, то тогда она скрывается в сокровенных глубинах совести, недостижимая для любого притеснения. Напрасно поэтому думают властелины, что, опечатав свободному духу рот, они уже победили. Ведь с каждым родившимся человеком рождается новая совесть, и всегда найдется кто-нибудь, готовый выполнить свой духовный долг, вновь начать старую борьбу за неотъемлемые права человечества и человечности, вновь против каждого Кальвина встанет Каstellio и защитит суверенную самостоятельность образа мыслей против всех насилий.

От автора

Из современных нам изданий произведений Себастьяна Кастеллио я располагал книгой «Traité des hérétiques» с предисловием профессора Е. Шуази, подготовленной к печати священником А. Оливером (Женева, 1913), и переизданием «De arte dubitandi», подготовленным к печати фрейлейн доктором Элизабет Файст для Accademia di Roma по находящейся в Роттердаме рукописи. Цитаты для моей книги я частично заимствовал из книг самого Кастеллио, из книг Кальвина, де Бэза и других современников Кастеллио, частично же из двух книг: Фердинанда Бюссона «Sebastien Castellion» (Париж, 1892) и Этьена Жирена «Sebastien Castellion et la Réforme Calviniste» (Париж, 1913); только эти две книги и посвящены Кастеллио. Скудность и рассеянность по свету материалов очень затруднили работу над книгой. Считаю своим долгом поблагодарить фрейлейн Лилиан Россет из Везена за активную помощь и пастора кафедрального кальвиновского собора в Женеве господина Жана Шорера за доброжелательное содействие. Выражаю особую признательность университетской библиотеке Базеля, в которой мне было разрешено работать с рукописями Кастеллио, а также Центральной библиотеке Цюриха и Британскому музею в Лондоне.

Апрель 1936 г. С. Ц.

Примечания

ВВЕДЕНИЕ

¹ Речь идет о Бонифации Амербахе (1495—1562), издателе и правоведе, сыне известного базельского печатника Иоганна Амербаха (1444—1514), который в содружестве с Иоганном Фробеном издавал многие сочинения древних и новых авторов. Гуманисты, в том числе и Эразм, поддерживали дружеские отношения с Амербахами.

² Конфедерация швейцарских кантонов, история которой восходит к 1291 году, когда в борьбе с Габсбургами лесные кантоны заключили между собой «вечный союз». В последующие века Швейцарский союз укреплялся в территориальном и военнополитическом отношениях и к 1513 г. насчитывал уже 13 кантонов. Наряду с кантонами, обладавшими самостоятельностью в решении внутренних и внешнеполитических проблем, конфедерация включала и так называемые союзные земли с ограниченной независимостью. Швейцарский союз просуществовал до 1798 г., когда была провозглашена Гельветическая республика как самостоятельное государство с централизованным правительством.

³ *Зелоты*—участники социально-религиозного движения, возникшего в Иудее во второй половине I в. до н. э. Зелоты решительно выступали против римского владычества и господствовавших классов страны и были наиболее воинственными участниками Иудейской войны 66—73 гг. Термин стал нарицательным для обозначения фанатичных приверженцев собственной веры.

⁴ Вскоре после своих выступлений против Рима Мартин Лютер стал пользоваться широкой поддержкой немецких князей и рыцарей (прежде всего Фридриха Саксонского), предоставивших ему надежное убежище и защиту. Что же касается Эразма, то ему покровительствовал император «Священной Римской империи», он был в дружеских отношениях с папами и получал финансовую поддержку от многих правителей европейских стран.

⁵ Идеология Реформации в религиозной форме отразила протест нарождавшейся буржуазии, носивший классово неоднородный характер, против духовного авторитета римско-католической церкви. В частности, выделялись бюргерское и плебейское течения, соответственно представленные ортодоксальными доктринами (Лютер, Кальвин, Меланхтон, Цвингли и др.) и радикально-демократическими концепциями (анабаптисты, социниане, унитарии

и т. п.), а также взглядами рационалистов, свободомыслящих, скептиков, не признававших ортодоксальные концепции (С. Франк, Б. Окино и др.). К последним примыкал и С. Кастелли.

⁶ *Джироламо Савонарола* (1452—1498)—итальянский религиозно-политический реформатор, проповедник, поэт. С 1475 г.—член ордена доминиканцев, с 1491 г.—приор флорентийского монастыря Сан-Джиминьяно. В своих проповедях Савонарола ярко обличал продажность папского двора, требовал кардинальной реформы церкви, аскетизма и простоты верующих, осуждал роскошь и светское искусство. Его непримиримые выступления против деспотии Медичи послужили толчком к массовому движению, свергнувшему эту тиранию. Впоследствии по инициативе Савонаролы был осуществлен целый ряд демократических реформ. Из фанатически настроенных групп молодежи Савонарола создал своего рода «полицию нравов», которая врывается в дома, конфисковывала предметы роскоши, произведения искусства, книги светского содержания и устраивала публичные «сожжения суеты» на улицах Флоренции. За выступления против Рима Савонарола был отлучен от церкви, осужден и в конце концов казнен.

Джон Нокс (ок. 1505—1572)—шотландский реформатор, богослов. В 50-е годы провел несколько лет в Женеве и стал фанатичным последователем Кальвина. С 1559 г. проповедовал кальвинизм в Шотландии, основатель и глава пресвитерианской церкви, в 1560 г. провозглашенной государственной религией. Яростная борьба Дж. Нокса против католицизма ярко описана С. Цвейгом в книге «Мария Стюарт». В данном тексте имена Савонаролы и Нокса (наряду с Кальвином) употребляются в нарицательном смысле—как фанатичных приверженцев реформатской доктрины и неистовых борцов за «чистоту нравов».

⁷ В ноябре 1761 года торговец тканями, кальвинист Жан Калас из Тулузы был ложно обвинен в убийстве сына с целью предотвратить его обращение в католицизм и приговорен к смертной казни. Добиваясь признания в якобы совершенном преступлении, инквизиция подвергла его страшным пыткам. В марте 1762 г. уже полуживого Жана Каласа повесили и труп сожгли. Ознакомившись с обстоятельствами этого сфабрикованного религиозными фанатиками дела, Вольтер опубликовал памфлет «Подлинные документы о смерти Каласа» и обратился к видным политическим деятелям Франции с требованием пересмотреть приговор. Дело получило общеевропейский резонанс, и многие монархи поддержали призыв Вольтера. В ходе кампании Вольтер написал свои известные «Очерки о веротерпимости» (1763). Под давлением общественного мнения в 1765 г. королевский совет отменил приговор и признал Ж. Каласа невиновным. Отметим, что в 1764 г. Вольтер столь же страстно защищал протестанта Пьера Сирвена и его жену, приговоренных к повешению за убийство своей дочери. В 1771 г. это решение было аннулировано.

В 1898 г. в открытом письме президенту Франции Э. Золя выступил против смертного приговора А. Дрейфусу, офицеру генерального штаба, еврею, обвиненному в шпионаже в пользу Германии. В поддержку протеста Э. Золя выступили многие деятели культуры Европы. В конце концов дело было пересмотрено, и в 1899 г. А. Дрейфус был признан невиновным и освобожден.

ЗАХВАТ ВЛАСТИ КАЛЬВИНОМ

¹ *Ульрих Цвингли* (1484—1531)—видный деятель швейцарской Реформации, теолог и гуманист, создатель одного из трех (наряду с лютеранством и кальвинизмом) основных направлений протестантизма. Учился в Базельском и Венском университетах, увлекался античной культурой и испытал большое влияние гуманистов, прежде всего Пико делла Мирандола и Эразма Роттердамского. В 1506 г. принял духовный сан, с 1519 г.—каноник в Цюрихе, где выступил за ликвидацию монастырей, упразднение поклонения мощам и иконам, замену латинского языка немецким во время богослужений и т. п. Его учение близко к взглядам Лютера, которые Цвингли высоко ценил. Однако в отличие от виттенбергского теолога, во многом впитавшего идеи и тип мышления средневековых мистиков, в своем подходе к интерпретации Библии Цвингли был более рационалистичен, подчеркивая, что каждое положение веры должно быть строго обосновано «Священным писанием». Он был демократичнее и в своих политических воззрениях: осуждал крепостничество, ростовщичество, заботился об интересах мелких собственников, протестовал против использования военных наемников и т. д. Он решительно не разделял теократического идеала Кальвина и высказывался за республиканскую организацию церкви. Вместе с тем как представитель буржуазно-бюргерского крыла Реформации Цвингли осуждал крестьянские выступления и санкционировал преследование анабаптистов. Различия во взглядах Лютера и Цвингли нашли конкретное, хотя и далеко не полное, отражение в оценке таинства причащения. Лютер настаивал на его буквальном понимании, а именно реальном присутствии тела Христового, Цвингли же рассматривал его в символическом плане: как простое напоминание о «тайной вечере». Все попытки найти компромисс между их взглядами, в частности организация непосредственной дискуссии Лютера и Цвингли в Марбурге (1529), потерпели неудачу. Лютер был непреклонен. «...Или они, или мы являемся слугами Сатаны,—заявил он.—Здесь нет места для переговоров или обсуждений». В октябре 1531 г. У. Цвингли был убит в сражении с превосходящими силами католиков при г. Каппеле.

² С. Цвейг перечисляет виднейших идеологов Реформации, представлявших ее отдельные течения, а поэтому нередко вступающих в бурную полемику по поводу важнейших положений протестантского вероучения.

Филипп Меланхтон (1497—1560)—немецкий филолог и гуманист, один из виднейших теоретиков протестантизма, ближайший сподвижник Лютера. После окончания Тюбингенского университета был лектором по классической филологии, а с 1518 г.—профессором греческого языка в Виттенбергском университете. Здесь установилось его сотрудничество с Лютером, которому он помогал как в переводе с греческого Нового завета, так и в полемике с католическими богословами. Вместе с Лютером выступал не только против революционных движений крестьян, взглядов Мюнцера и анабаптистов, но и против радикальных течений бюргерской Реформации, стремясь приспособить лютеранскую церковь к интересам феодальных князей. В частности, он одобрял Кальвина за преследования «еретиков» и сожжение Сервета. И вместе с тем Ф. Меланхтон был

одним из главных инициаторов введения новой, прогрессивной системы школьного обучения в Германии; выступая против схоластических традиций, он подчеркивал первостепенное значение изучения древних языков и христианского вероучения. Написал ряд учебников и был признан «учителем Германии». Разделяя взгляды Лютера, Меланхтон стремился смягчить наиболее резкие формулы своего коллеги и так или иначе сочетать лютеранство с элементами гуманизма Эразма. Эти особенности мировоззрения и деятельности Меланхтона объясняют его поддержку С. Кастеллио, о чем С. Цвейг упоминает в конце книги.

Мартин Буцер (1491—1551)— известный реформатор из так называемой Страсбургской группы, представители которой занимали промежуточную позицию в споре Лютера и Цвингли, стремясь найти пути к их примирению. В 1516 г. вступил в орден доминиканцев, затем окончил Гейдельбергский университет. Испытал решающее воздействие работ Лютера, взглядам которого оставался верен до самой смерти. Одновременно был близок к воззрениям Цвингли и поддерживал дружеские отношения с гуманистами, что вызывало неудовольствие виттенбергского теолога. В течение многих лет был наиболее авторитетным богословом Страсбурга и много сделал для торжества протестантизма. Из-за столкновения с властями был вынужден эмигрировать в Англию, где преподавал теологию.

Андреас Карлштадт (1480—1541)— видный представитель немецкой Реформации радикального направления. В 1510 г. стал профессором философии и теологии Виттенбергского университета, а в 1517 г. предвосхитил Лютера, опубликовав 152 тезиса против практики продажи индульгенций. После выступлений Лютера стал его горячим сторонником, в частности участвовал в известном диспуте с Иоганном Экком, представлявшим позицию Рима (Лейпциг, 1519). Постепенно стал выступать с более радикальными идеями реформации церкви. В 1521 г. потребовал, чтобы богослужение велось на немецком языке, причащение давалось мирянам в обоих видах без предшествующей исповеди, а священники покончили с целибатом (обетом безбрачия) и женились. Свои богослужения вел в светской одежде. В январе 1522 г. добился решения об изъятии из церквей всех изображений, в том числе распятий, запрещения музыки как отвлекающей от созерцания бога. «Органы, трубы, флейты — это для театра», — заявил он. Когда местные власти проявили медлительность, Карлштадт с группой сторонников ворвался в церковь, где они сорвали изображения, а сопротивлявшихся священников забросали камнями. Под влиянием прибывших в город «пророков» из Цвиккау (центр движения анабаптистов), утверждавших, что «бог прямо говорит сердцу человека», Карлштадт объявил, что школы и образование являются препятствием к истинному благочестию. В результате некоторые студенты стали покидать университет, а родители — удерживать школьников дома. Религиозно-неистовый, но всегда социально осмотрительный Лютер не без оснований начал опасаться, что действия Карлштадта дадут дополнительный повод для нападок его противникам, и стал призывать к порядку, к неприменению силы, предложил компромиссные решения относительно проведения богослужений, мессы, изъятия икон, распятий и т. п. Но прежде всего он добился изгнания «братьев из Цвиккау» и лишения Карлштадта его постов. Карлштадт стал

пресвитером в Орламюнде и в своих проповедях нередко обличал Лютера за нерешительность, властность, претензию на роль «виттенбергского папы». Его собственная антикатолическая активность становилась все более решительной. Он отверг традиционные священнослужительские одеяния, появляясь в церкви в обычном светском костюме, не признавал никаких титулов, требуя, чтобы к нему обращались просто как к «брату Андреасу», не принимал платы за священническую деятельность и зарабатывал на жизнь физическим трудом, проповедовал полигамию как норму библейской нравственности. Это было время подъема революционных настроений, а поэтому его влияние среди кругов, близких к анабаптистским, росло. Когда Лютер оправился, в Орламюнде, чтобы дезавуировать идеи своего прежнего единомышленника, он столкнулся с таким яростным сопротивлением местной паствы, что вынужден был отказаться от этой миссии. Однако при всех своих резких, порой эксцентрических выпадах против Рима Карлштадт оставался идеологом бюргерской оппозиции, а поэтому, когда разразилась Крестьянская война, он, опасаясь преследований за симпатию к анабаптистским концепциям, попросил защиты у Лютера и, получив ее, стал профессором в Базеле, где и закончил свою бурную карьеру.

³ *Анабаптисты* (перекрещенцы) — последователи возникшего в Германии и Швейцарии (XVI в.) религиозно-общественного движения, выразившего в религиозной форме мироощущение народных низов. Они требовали, чтобы крещение совершалось не над детьми, а над сознательно принимающими его взрослыми. Первоначально анабаптисты ограничивались пассивным протестом как против католической, так и «ортодоксальной» протестантской веры. С начала Крестьянской войны (лето 1524 г.) многие анабаптисты примкнули к революционному, антифеодальному учению Т. Мюнцера о том, что для крестьян и бедняков настало время чинить «божий суд» над феодалами и богачами. После подавления крестьянского восстания и жестоких преследований многие анабаптисты бежали в Моравию и другие страны и вернулись к сектантской замкнутости. Новый подъем их движения связан с восстанием в Мюнстере (1534—1535), где крестьяне захватили власть и постарались осуществить идеал «царства божия на земле»: было ликвидировано имущественное неравенство, обобществлена собственность и т. п. После 14-месячной осады город был взят войсками германских князей, и большинство участников мюнстерской коммуны было зверски замучено и казнено.

⁴ *Кодекс Наполеона* — принятое в литературе наименование Французского гражданского кодекса 1804 г., который Ф. Энгельс назвал «классическим сводом законов буржуазного общества». Кодекс готовился при непосредственном участии Наполеона I, который считал его создание одной из своих главных заслуг. Юридически оформив итоги буржуазной революции, кодекс устранил феодальные привилегии, закрепил свободу частной собственности, провозгласил право на нее священным и неприкосновенным. Кодекс оказал огромное влияние на развитие гражданского буржуазного права и действует во Франции и поныне, хотя в него внесено множество изменений и уточнений.

⁵ Городское самоуправление, обеспечивающее независимость Женевы, осуществлялось тремя органами: общим собранием граждан

224 (наподобие вече), собиравшимся для решения важнейших дел и выбора городских исполнителей; Малым советом, ведавшим всей городской администрацией и состоявшим обычно из 20—25 человек во главе с четырьмя синдиками, или бургомистрами, и, наконец, Большим советом, который с 1527 г. стал называться «Советом 200», хотя его численность сильно колебалась. Главные политические полюса образовывал патрицианско-аристократический Малый совет и буржуазно-демократическое общее собрание, а Большой совет играл промежуточную роль.

Во времена Кальвина эти органы претерпевают определенные изменения. Патрицианская и клерикальная группировки протестантской ориентации постепенно теряют решающее политическое влияние, и на смену им выдвигаются новые слои из купечества и предпринимателей, представители которых сосредоточиваются в Малом совете, постепенно все более отодвигающим на второй план Большой совет и тем более общее собрание. Именно этот деловой орган становится опорой Кальвина. Помимо этого Кальвин значительно повысил роль высшего церковного органа — конгрегации, или коллегии, проповедников под своим председательством. Наконец создается и смешанный церковно-светский орган — консистория, или коллегия пресвитеров, в которую входят как проповедники, так и старейшины-миряне из числа городских советов. Этот исполнительный орган осуществляет функцию управления республикой. Кроме того, в соответствии с теократическими претензиями Кальвина консистория взяла на себя роль своеобразного надсмотрщика и судебного органа над нравственным и религиозным поведением жителей. Старейшины регулярно посещали дома женовцев, следили за их частной жизнью, за регулярностью посещения церквей, за поведением в общественных местах и т. п.

Катехизис — поучение, наставление, руководство, в краткой форме излагающее основные положения данного христианского вероучения. Прежние устные наставления в XVI в. сменились особыми изданиями, популярно излагающими учение церкви. В данном случае имеется в виду катехизис, подготовленный Кальвином (1536) и кратко излагающий его «Наставления».

«УЧЕНИЕ»

¹ Имеется в виду памфлет М. Лютера «О свободе христианина» (ноябрь 1520 г.), адресованный римскому папе. Основная идея этого важнейшего документа Реформации — отстаивание «внутренней» свободы христианина от притязаний церкви. Суть христианской жизни, подчеркивает Лютер, заключается в свободе. Истинный христианин — «свободный господин над всеми вещами и не подчиняется ни одной из них». Все определяет его подлинная вера, лишь из нее вытекает вся радость христианина — служить богу в свободной любви. Эта духовная свобода отвращает сердце человека от всех грехов, законов и «человеческих» предписаний, приобщает его к «божественной» свободе, превосходящей все другие, как небеса превосходят землю. Лютер отстаивает «духовную свободу» как особое состояние «обращенного» христианина, который, будучи призван богом, вырывает свою судьбу из мирского круговращения. Через веру он поднимается к богу и возвращается с любовью ко всем

людям. И никто—ни папа, ни церковь—не может диктовать эту любовь и веру. Взятая в контексте всего учения Лютера о путях «спасения», эта концепция обнаруживает свою ограниченную, строго антикатолическую ориентированность. Однако сформулированная в общей форме, она, несомненно, воспринималась в то время как решительная защита духовной свободы индивида, из которой могли делаться далеко идущие выводы.

² *Франциско Сурбаран* (1598—1664)—известный испанский живописец. Учился живописи в Севилье, где под влиянием Ф. Эрреры, Д. Веласкеса и других определилась его предельно выразительная манера письма. Период творческого расцвета Сурбарана приходится на 30—40-е годы. Многие картины созданы на мифологические и религиозные сюжеты (наиболее известные: «Чудо св. Гуго», «Подвиги Геркулеса», «Св. Лаврентий» и др.).

³ Здесь Цвейг излишне пристрастен. Брак Кальвина длился 9 лет, он глубоко переживал смерть жены и всегда вспоминал о ней с нежностью и любовью.

⁴ *Ордонанс*— королевский указ, постановление. В данном случае имеются в виду «Ordonnances ecclésiastiques» («Священнические постановления»), которые были разработаны комиссией во главе с Кальвином и одобрены Большим советом в январе 1542 г. Они фактически стали сводом конституционных установлений, регулирующих жизнь города, в котором фактически был осуществлен теократический способ правления, при котором духовенство приобрело власть, не имевшую исторических прецедентов, за исключением, может быть, древнего Израиля. Подлинным законом христианского государства, считал Кальвин, может быть лишь Библия, а ее истинным интерпретатором является духовенство, которому должна подчиняться светская власть. Оно было разделено на пресвитеров, учителей, старейшин-мирян и диаконов. Пресвитеры составляли «священное общество», которое управляло церковью и отвечало за подготовку кандидатов в духовенство. Без его одобрения отныне никто не мог выступать с проповедями. Эта рекомендация должна была быть также подтверждена Советом города и консисторией. Власть духовенства над жизнью города осуществлялась через консисторию или пресвитерий, состоящий из пяти пресвитеров и 12 старейшин-мирян, избираемых Советом. Последние, однако, назначались на год, тогда как пресвитеры оставались постоянными членами. «Ордонансы» еще более закрепили власть консистории как особого органа, осуществляющего надзор над жизнью города: она определяла содержание церковных служб, следила за повседневным поведением каждого жителя города, имела право вызвать каждого для допроса и проверки, публично осудить, отлучить от церкви и даже, обратившись в Совет, потребовать его изгнания из города. До самой смерти (1564) Кальвин оставался главой консистории, обладая практически неограниченной властью.

⁵ *От Гельвеция*—латинского наименования северо-западной части современной Швейцарии; произошло от населявшего ее племени гельветов.

⁶ 27 июня 1547 г. Кальвин обнаружил листовку, прикрепленную к его кафедре. В ней говорилось: «Поганый лицемер! Ты и твои компаньоны мало чего достигнете своими усилиями. Если вы не спасетесь бегством, никто не сможет предотвратить ваше свержение,

и вы проклянете тот час, когда оставили свою монашескую жизнь... Когда люди страдают так долго, они мстят за себя...» Вскоре по подозрению в авторстве прокламации был схвачен известный оппозиционер Жак Груэ, который будто бы несколькими днями раньше выступал с угрозами по адресу Кальвина. Было объявлено, что при обыске у него нашли черновики листовок, где Кальвин назывался высокомерным и претенциозным лицемером, высмеивалась вера в богодухновенность Библии и бессмертие души. Груэ подвергли страшным пыткам, пока он не сознался (неизвестно, насколько искренне) в том, что замышлял заговор совместно с агентами из Франции. 26 июля 1547 г. его полуживого привязали к столбу, били гвоздями ноги и отрубили голову.

ПОЯВЛЯЕТСЯ КАСТЕЛЛИО

¹ Луи де Беркен (1489—1529)— известный французский реформатор. В 1523 г. был арестован за распространение работ Лютера, но вскоре освобожден по настоянию Маргариты Наваррской. Крестьянская война в Германии напугала короля Франциска I, воспринявшего ее как прямое следствие распространения лютеранства, и он усилил гонения на протестантов. Вскоре Беркен снова был взят под стражу и опять освобожден благодаря усилиям сестры короля. Выступления против католической церкви становились все более активными, в некоторых церквях были повреждены распятия и скульптуры. Католическое руководство воспользовалось ростом массового недовольства против «еретиков», и 17 апреля 1529 г. Луи де Беркен был предан публичному сожжению.

Этьенн Доле (1508—1546)— ведущий лионский издатель, ученый, видный гуманист, страстный поклонник и пропагандист античной философии, прежде всего взглядов Цицерона, талантливый критик «папизма» и учения Лютера. Литературную деятельность начинал в Падуе и Тулузе, где стал ведущей фигурой кружка свободомыслящих. В Лионе основал типографию, основное внимание уделял изданиям «еретических» авторов — как античных философов, так и современников-вольнодумцев. Приобрел европейскую известность собственными работами, в которых отвергал фанатизм христианского учения, критически перетолковывая его с позиции «цицеронианства». Если христианские догмы, в том числе утверждение всемогущества бога и бессмертия души, считал он, не выдержат испытания разумом и чувствами, они должны быть отвергнуты. Отстаивая свободомыслие, он в духе Цицерона трактовал религию прежде всего как мораль и знание, осуждал церковь, это «варварское учреждение», за вероучительный деспотизм и насилие над духовной свободой. Э. Доле последовательно высказывался за веротерпимость, осуждал жестокость инквизиции, требовал «отказаться от костра как средства исправления убеждений». Его как «атеиста» одинаково ненавидели и католические и протестантские богословы; Кальвин, например, расценивал взгляды Э. Доле как «высшее надругательство над верой». В конце концов он был схвачен инквизицией, обвинен в богохульстве, в отступлении от католической веры, отрицании бессмертия души и заключен в тюрьму. 3 августа 1546 г. Э. Доле был заживо сожжен на площади Мобер в Париже.

² Первое издание «Наставлений...» Кальвина (1536) открывалось страстным, но написанным с неоспоримым достоинством «Предисловием к наиболее христианскому королю Франции» Франциску I, которым автор в обстановке усилившихся гонений надеялся расположить короля в пользу протестантов. Кальвин характеризует французских реформаторов как патриотов, верных королю, как лояльных граждан, которых не следует смешивать со смутьянами, анабаптистами, с теми «сумасшедшими», которые «беспокоят страну при помощи огня и меча». Он просит монарха беспристрастно разобраться в предлагаемой им интерпретации, которую выдвигает как «нашу защиту перед вашим величеством», отвергнуть все слухи и сплетни о взглядах протестантов и увидеть в них преданных подданных. Как и следовало ожидать, это обращение не оказало заметного влияния на враждебное отношение Франциска I к протестантам, и никак не остановило волну все более жестоких преследований.

³ *Вульгата* (*vulgata*, лат.) — народный (общедоступный) латинский перевод Библии Иеронимом Стридонским (ок. 340—419 [или 420]), в течение веков признанный официальным текстом римско-католической церковью. Поэтому осуществленный Эразмом новый перевод Евангелия на латинский язык, в котором было выявлено множество неточностей Вульгаты, искажавших смысл оригинала, нанес чувствительный удар по авторитету господствующей церкви и сыграл важную роль в идейной подготовке Реформации. Кстати сказать, в свете основного требования протестантских теологов, отвергавших «священное предание» и требующих основывать верование на точном прочтении Библии, становится ясной первостепенная идеологическая роль многочисленных переводов Библии и древних книг на национальные языки, осуществлявшихся в те годы деятелями Реформации, которые, как правило, были выдающимися знатоками библейских языков.

⁴ *Питер Вифе* (1511—1571) — реформатор из французской Швейцарии, близкий соратник А. Фромана и Г. Фареля. Впоследствии — сподвижник Кальвина, с которым тот вел оживленную переписку.

⁵ Имеется в виду фрагмент из библейской книги «Песнь песней Соломона»: «...два сосца твои — как двойни молодой серны, пасущейся между лилиями» (4, 5).

ДЕЛО СЕРВЕТА

¹ На Аугсбургском конгрессе (1530) была сделана попытка примирения между католиками и различными протестантскими течениями. На нем было представлено подготовленное Ф. Меланхтоном «Аугсбургское вероисповедание» как официальное кредо лютеранской церкви, которое Ф. Энгельс оценил как «выторгованную в конце концов конституцию реформированной бюргерской церкви» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, с. 366). Оно было составлено в примирительном тоне и не акцентировало внимания на разногласиях между католиками и протестантами. Меланхтон отмежевывался от позиции Цвингли, смягчал доктрину предопределения, допускал возможность причащения на католический образец и т. п., призывая католические власти пойти на предложенный компромисс. Лютер

одобрил исповедание, хотя высказывал сожаление по поводу ряда уступок. Цвингли представил свое кредо. С самостоятельным документом выступили В. Капито и М. Буцер, стремившиеся сформулировать общую протестантскую платформу. Однако воинственные католические круги отвергли всякий компромисс и были поддержаны императором Карлом V. В ноябре 1530 г. конгресс принял решение, резко осуждающее протестантов и предлагающее им под угрозой преследований в течение полугода вернуться в римскую веру. Конгресс означал начало войн на религиозной почве, которые завершились лишь Аугсбургским миром (1555), заключенным на основе принципа «чья страна, того и вера».

² Никейский собор (325 г.)—первый вселенский собор епископов христианской церкви Римской империи, созданный в г. Никее императором Константином I. Собор принял обязательный для всех христиан «символ веры», непризнание которого каралось как государственное преступление. Он специально осудил «арианскую ересь», отрицавшую учение о трех вечных ипостасях бога и «единосушие» всех лиц троицы.

³ *Вольфганг Капито* (1572—1641)—видный теолог из Страсбурга, единомышленник и сподвижник М. Буцера. Выходец из бедной семьи, он по настоянию отца изучал медицину и право, впоследствии увлекся теологией и с 1511 г. читал лекции во Фрейбурге. Уже тогда навлек подозрения своими неортодоксальными интерпретациями. В 1515 г. переехал в Базель, где развивал идеи, так или иначе предвосхитившие взгляды Лютера и Цвингли. Его знание древних языков высоко ценил Эразм, с которым Капито поддерживал дружеские отношения. В 1518 г. издал у Фробена работы Лютера, сопроводив их одобрительным предисловием. В 1523 г. переехал в Страсбург, где активно утверждал протестантскую веру. При определении вероучительных моментов первостепенное значение придавал изучению Библии: «Писание должно занимать главное место в теологии». Был согласен с отношением Лютера к восстанию крестьян, но формулировал свою позицию в более мягкой форме. Подобно М. Буцеру разделял многие идеи Цвингли и стремился найти пути к его примирению с Лютером.

Иоганн Эколампадий (1482—1531)—виднейший представитель Реформации, протестантский лидер в Базеле, выдающийся знаток древних языков. Был близок к взглядам Лютера и неоднократно выступал с их публичной защитой, хотя в целом склонялся к более рационалистическому истолкованию Библии, обнаруживая родство с воззрениями Цвингли. В частности, он едва ли не отрицал догмат абсолютного предопределения: «Наше спасение идет от бога, наше осуждение—от нас самих». В целом это был типичный представитель осмотрительного бюргерского крыла Реформации, стремившийся придать протестантизму статус консервативно-буржуазной идеологии, открыто враждебно относившейся к анабаптистам и крестьянским восстаниям. Играл роль главного связующего звена между немецкими и швейцарскими протестантами, присутствовал на многих важнейших конгрессах и дискуссиях, в частности успешно защищая взгляды Лютера против И. Экка.

⁴ «*Арианская ересь*»—направление в христианстве IV—VI вв., связанное с именем и учением александрийского теолога Ария (ум. в 335 г.), в русле взглядов которого развивались интерпретации

Мигеля Сервета. Основная идея Ария—подчеркивание единства бога как цельной субстанции, монады, неделимой и не могущей иметь частей. Арий опирался на традиции платонизма, влиятельные в ранней христианской патристике (Юстиниан, Климент, Ориген и др.), утверждая жесткий трансцендентный монотеизм, отвергавший идею «единосутия» трех ипостасей божественной триады и плюралистичность внутри единства божественности. «Мы признаем,— заявлял он,— одного бога, который является единственно не рожденным, единственно вечным, единственно не имеющим начала, единственно истинным, бессмертным, мудрым и благим». По его мнению, дело не только в трансцендентной изоляции бога-отца от мира, но и в лишь ему присущем отношении абсолютной суверенности: только он является управителем, судьбой и распорядителем всех вещей, у которого не может быть соперника. Что же касается бога-сына (Логоса), то он, как существо рожденное, как «создание», таких качеств иметь не может. Его создание—результат воли бога-отца, поставившего его «вне времени и веков», в качестве первого акта творения—создания мира и человека. Бог-сын не похож на бога-отца во всех отношениях, а три лица в божественной троице являются различными сущностями. Никейский вселенский собор осудил арианство, подчеркнув, что Иисус Христос является сыном божьим, «рожденным исключительно от божественной субстанции, рожденным, но не созданным из субстанции отца». Были осуждены взгляды, отвергавшие божественность сущности Иисуса Христа, его вечность и неизменность. Борьба последователей Ария продолжалась и в последующие годы, окончательно оно было осуждено Константинопольским собором (381). Естественно, за дискуссиями стоял определенный историко-культурный смысл, и этим объясняется, почему отрицание троицы проходит через всю историю христианства, а антиринитаризм выступает как одно из наиболее влиятельных еретических учений.

⁵ *Андреас Везалий* (1514—1564)— выдающийся врач и анатом, создатель современной науки анатомии и изучения человеческого тела. Уже в двадцать два года читал лекции по медицине. В 1533—1536 гг. изучал анатомию в Париже у видных медиков того времени: Ж. Дюбуа, Ж. Фернела и Х. Гюнтера. Некоторое время (1532) коллегой-препаратором у последнего был М. Сервет, именовавший себя Мишелем де Вилленевом. Сохранилось мнение Гюнтера о своих помощниках: «Моим первым ассистентом был Андреас Везалий, поразительно прилежный в анатомии... Кроме него в препарировании мне много помогал Мишель Вилленева. Он был глубоко начитан в самой разнообразной литературе. Я обоим читал лекции о Галене и показал, что я открыл через изучение мускулов, вен, артерий и нервов».

⁶ Сервет прибыл в Париж в то время, когда заметно активизировались гонения на религиозных инакомыслящих. Для этого использовалось три силы: местные гражданские парламенты, которые во Франции имели право арестовывать, вести следствие и осуждать «еретиков», местное духовенство и инквизиция. Все они персонифицировались в руководителях, отличавшихся фанатической жестокостью. Так, столичный парламент возглавлял Пьер Лиссет, широко известный своими преследованиями «еретиков». Наиболее влиятельным церковным деятелем был кардинал Франсуа де Турна-

нон, который входил в узкий круг приближенных короля, правивших страной. Кардинал постоянно высказывался за применение самых жестоких мер в отношении религиозных «бунтарей» и стал, в частности, главным действующим лицом в преследованиях вальденсов, когда за три месяца 1554 г. было убито 3 тыс. человек и сожжены 22 деревни. Его правой рукой был инквизитор Матьен Ори, руководивший расследованием деятельности протестантов. Ссылаясь на Библию, он неоднократно оправдывал сожжения богохульников и еретиков — этих «духовных ведьм». Не случайно между 10 ноября 1534 г. и 5 мая 1535 г. в одном лишь Париже были заживо сожжены 24 протестанта. Все эти лица принимали активное участие в преследовании Сервета.

УБИЙСТВО СЕРВЕТА

¹ На суде Сервет сообщил, что он «прибыл в город пешком за день до своего ареста, намереваясь не останавливаться, а идти в Неаполь, чтобы там заняться врачебной практикой». С таким намерением он поселился на постоялом дворе «Роза» и попросил достать лодку, чтобы на следующий день продолжать свой путь. Однако принято считать, что Сервет прибыл в Женеву значительно раньше. Так, имеются свидетельства, что еще в июле 1553 г. Ами Перрен, лидер местных «патриотов», или либертинов, заказал комнату в «Розе», хозяйину которой он доверял. Через несколько дней прибыл незнакомец, к которому никого не пускали. Это было время, когда положение Кальвина казалось крайне неустойчивым; либертины получили большое влияние в «Совете 200» и всерьез обсуждали возможность низложения фанатичного диктатора. Об этом они заранее сообщили Сервету, который собирался пробираться в Неаполь. Естественно, он загорелся мыслью способствовать свержению своего врага и предложил по дороге заехать в Женеву. Какие конкретные цели он при этом преследовал, неизвестно, но вполне вероятно, что надеялся так или иначе наследовать положение Кальвина. Перрен ответил согласием, но предупредил, что Сервет должен быть предельно осторожен и не появляться в публичных местах. Однако после нескольких встреч между ними обнаружилось серьезные разногласия. Выяснилось, что осуществить восстание несравненно сложнее, чем предполагалось ранее, а либертины пришли к выводу, что особой помощи от Сервета ожидать не приходится. В конце концов Перрен посоветовал Сервету тайно покинуть город. Конечно, можно лишь гадать, почему он решился на такой рискованный шаг. Кстати сказать, некоторые авторы даже высказали предположение, что Сервет и не пытался скрываться, надеясь, что его появление лишь драматизирует последующие события. Во всяком случае установлено, что через полчаса после его ареста гавань города покинула пустая лодка, заказанная владельцем «Розы».

² В женевской консистории сохранилась такая запись: «13 августа сего года Мигель Сервет был опознан некоторыми братьями, и, учитывая, что он неисправим и безнадежен, представилось разумным заключить его в тюрьму, чтобы он больше не заражал мир своими ересями и богохульством». Это было воскресенье, когда все женеvцы обязаны присутствовать на богослужениях. Не исключено, что таким

путем Сервет надеялся избежать возможных подозрений накануне отъезда, намереваясь держаться «как можно незаметнее». Правда, по другим данным, он специально поинтересовался, где проповедует Кальвин. Во всяком случае он не заметил, что за ним шпионили «некоторые братья из Лиона». Когда началась проповедь, два человека стали жестами привлекать к нему внимание. Вскоре и Кальвин почувствовал какое-то волнение в церкви. Как только он обратил внимание на человека, на которого ему указывали, один из «братьев» закричал: «Посмотрите-ка туда! Это клеветник на бога Мишель де Вилленев, который сбежал из тюрьмы в Вене. Я из Лиона и узнал его». После этого Сервета схватили.

³ *Герцог Энгизенский Луи Антуан де Бурбон-Конде* (1772—1804)— французский принц, один из младших отпрысков королевского дома Бурбонов. Заподозренный в участии в заговоре Пишгрю-Кадулая, он по приказу Наполеона был захвачен французскими солдатами в соседнем с Францией герцогстве Баденском и расстрелян. Убийство представителя королевской семьи по ложному обвинению вызвало широкое негодование среди представителей королевских домов Европы.

⁴ Речь идет о пантеизме, сближающем, а даже порой отождествляющем бога и природу. Это и дает повод ставить спекулятивный вопрос, как бы удостоверяющий «богохульства» такой концепции: если природа—это проявление божественной субстанции, то не является ли черт ее частью.

⁵ Однажды Иеронимус Бользек прервал проповедь Кальвина в соборе св. Петра, заявив, что доктрина предопределения есть оскорбление бога. Полиция арестовала Бользека, а консистория обвинила его в ереси. Совет был склонен вынести ему смертный приговор. Но теологи Цюриха, Базеля и Берна не поддерживали этого намерения: Берн рекомендовал быть осторожнее в решении проблем, выходящих за рамки человеческого понимания, Буллингер из Цюриха предостерегал Кальвина, что «многие недовольны тем, что вы сказали в «Наставлениях...» о предопределении, и придерживаются тех же выводов, что и Бользек». Совет пошел на компромисс и изгнал Бользека (1551), который возвратился во Францию. Неустойчивое положение Кальвина в протестантском мире выявилось и в процессе его стычки с Иоахимом Вестфалем. В ответ на обличение этим теологом из Гамбурга взглядов Кальвина и Цвингли на причисление как «сатанинского богохульства» Кальвин отреагировал столь резко, что коллеги из Цюриха, Базеля и Берна отказались подписать его протест. Все эти события лишь ужесточили отношение Кальвина к Сервету.

⁶ *Ами Перрен* (ум. 1553)— лидер оппозиционной Кальвину группы «либертинов», или «патриотов», особо активно действовавший в период, предшествовавший расправе с Серветом. Группа «либертинов» была крайне пестрой по социальному составу и представляла древние аристократические семьи, группы «золотой молодежи», а также мелкобуржуазные слои, недовольные деспотическим правлением Кальвина. «Либертины» в конце 40-х годов приобрели заметное влияние в Большом совете, и Перрен даже стал первым синдиком. Окончательно либертины были разгромлены Кальвином после процесса над Серветом.

МАНИФЕСТ ТЕРПИМОСТИ

¹ Эдуард Гиббон (1737—1794)—английский буржуазный историк, автор многотомного труда «История упадка и разрушения Римской империи» (1776—1788), крупнейший историограф периода Просвещения. Его труды носят очевидную антиклерикальную направленность. Он одним из первых пытался критически оценить историю христианской церкви и считал, что распространение христианства стало одной из причин падения Римской империи.

² В 1483 г. доминиканец Томас Торквемада (1420—1498) был назначен инквизитором всей Испании. Это был фанатичный, аскетичный человек, яростно и беспощадно истреблявший «еретиков». Его рвение испугало даже папу Александра VI, который в 1494 г. приказал разделить его власть с двумя другими «главными инквизиторами». Считается, что лишь в Испании за 1480—1488 гг. было сожжено 8800 человек, а 94 494 понесли различные наказания. Имя Торквемады, первого, кто ввел в практику публичные сожжения, стало нарицательным для обозначения предельной жестокости.

³ Тем не менее Буцер, например, со своей кафедры в Страсбурге объявлял, что Сервет заслуживал того, чтобы «быть выпотрошенным и разорванным на куски». И даже обычно гуманный Буллингер из Цюриха согласился, что гражданские магистраты имеют право наказывать богохульников смертью.

⁴ Цвейг перечисляет ряд религиозно-общественных деятелей, гуманистов, по своим воззрениям близких Кастеллио.

Бернардино Окино (1487—1564)—известный итальянский реформатор. Был францисканцем, но, найдя их учение недостаточно строгим, примкнул к капуцинам, привлекая к себе своими аскетическими самоограничениями. Стал популярнейшим проповедником Италии. Считалось, что после Савонаролы в стране не раздавалось таких страстных речей. Но в Неаполе он вошел в группу гуманистов во главе с Джуаном де Вальдесом (1500—1541), который склонялся к Лютеровой доктрине спасения верой и придерживался радикальных политических взглядов: богатые должны сами зарабатывать себе на жизнь, бедные имеют право на долю в доходе богатых и т. п. Через него Окино познакомился с работами Лютера и Кальвина и стал приверженцем протестантизма. В 1542 г. папский нунций наложил запрет на его проповеди. Вскоре он перебрался в Цюрих, а затем в Женеву, где пришел в восхищение от царивших там порядков. Опасаясь преследований папского двора, на 6 лет эмигрировал в Англию. После того как на трон взошла Мария Тюдор, он вернулся в Европу и стал проповедовать в Цюрихе. Его унитаристские воззрения вызвали возмущение местного духовенства, а когда он напечатал книгу, в которой защищал полигамию, то ему было приказано покинуть город в течение трех недель. Базель отказал ему в праве убежища. Он на короткое время остановился в Нюрнберге, а затем с семьей перебрался в Польшу. Просил права жительство в Кракове, но был изгнан, когда король запретил въезд всех иностранцев-некатоликов (1564). По дороге из Польши в Моравию трое его детей умерло от чумы. Он пережил их всего на два месяца.

Помимо Германии и Швейцарии антиринитаризм был широко распространен в Италии, где одним из его лидеров был Лелио Социн (1525—1562). Он и его сподвижники сотрудничали с

анабаптистами, организовав в Венеции (1550) антитринитаристский (анабаптистский) конгресс, на котором присутствовало 60 делегатов. Преследуемый католической контрреформацией, он вынужден был бежать в Швейцарию, а его брат Фауст (1539—1604) — в Польшу, где и основал секту социниан. Лелио Социн поселился в Цюрихе, внимательно изучал Библию. Вскоре пришел к выводу о несостоятельности догмата Троицы, предопределения, первородного греха и искупления, хотя воздерживался от публичных выражений своих взглядов. Решительно выступил против расправы над Серветом, последовательно защищал принцип религиозной терпимости. В 1551 г. он посетил Польшу, где активно проповедовал свои взгляды.

Целиус Секундус Курио (Курионе) (1503—1569) — итальянский протестант, унитарий, преподавал в Лозанне и Базеле, с 1548 г. был профессором в Базеле. Отвергал кальвиновский догмат предопределения. Был близким единомышленником Кастеллио и совместно с ним под псевдонимом издал книгу «Следует ли преследовать еретиков?» (1554).

Давид Йорис (1501—1556) — известнейший анабаптист. После разгрома движения Т. Мюнцера движение анабаптистов раскололось. Многие из них, так называемые «мирные анабаптисты», объединились вокруг в прошлом лютеранского пресвитера Менно Симмонса, создавшего секту меннонитов, которая получила распространение в Голландии и соседних странах. Другая группа анабаптистов пошла за стекольщиком из Дельфта Давидом Йорисом, провозгласившим себя мессией и проповедовавшим радикальные общественно-религиозные воззрения. После долгих странствований он поселился в Базеле, где жил под вымышленной фамилией Джона фон Брюгге и продолжал писать работы, защищавшие идеи анабаптизма, а также решительно высказался против сожжения Сервета. После его смерти, когда авторство было установлено, тело Йориса было извлечено из могилы и предано публичному сожжению (1566).

⁵ *Августин Аврелий* (354—430) — виднейший богослов и церковный деятель, заложивший основы христианской теологии, прежде всего учения о церкви как «граде божьем», о предопределении и благодати. *Св. Хрисостом*, или Иоанн Златоуст (347—407), — архиепископ константинопольский, видный деятель восточной церкви. *Св. Иероним* (340—420) — христианский богослов, перевел Библию на латинский язык («Вульгата»).

Себастьян Франк (1499—1542) — крупнейший теолог, деятель Реформации. После обучения в Инголштадте поступил в Доминиканский колледж в Гейдельберге. Около 1526 г. примкнул к лютеранству и стал пастором. Вскоре вышел в отставку и действовал как независимый историк, философ и богослов. Писал в основном на темы истории религии, защищая необычные протестантские интерпретации, вызвавшие резкие нарекания ортодоксальных богословов. Его мировоззрение было преимущественно пантеистическим, включавшим элементы лютеранства, неоплатонизма, гуманизма, анабаптизма и средневекового мистицизма. Основой его учения было представление о конфликте в каждом человеческом существе между «внутренним словом» (Логос, сын Бога, вечный, невидимый Христос), которое является конечной реальностью, и «внешним словом» (закон, плоть, эгоизм), которое — лишь видимость. Библию («внешнее слово») можно понять, лишь прислушиваясь к слову бога

внутри себя. Отсюда отрицание С. Франком внешних учений, догм, церемоний, всех религиозных организаций. Истинная церковь — «духовная церковь», для которой необходимо внутреннее озарение, это невидимая церковь духа. Историю Франк рассматривал как взаимодействие между богом и миром, как борьбу между духом и силами, которые оказывают ему сопротивление. Франк был одним из решительных защитников религиозной терпимости и противником войн как действий, несовместимых с учением Христа. Лютер, Меланхтон, Буцер и другие протестантские ортодоксы резко выступали против его взглядов. Лютер, например, называл Франка «наиболее лелеемым дьяволом клеветническим ртом». Его взгляды оказали заметное влияние на Кастеллио, Менно Симмонса, Давида Йориса, как и на немецкую литературу в целом.

⁶ *Гуситское* — антифеодалное движение, выступившее в религиозной форме, признававшее «закон божий» в качестве нормы и мерила общественных отношений и социальной справедливости. Получило название по имени Яна Гуса (1371—1415) — выдающегося чешского мыслителя и реформатора, идеолога антифеодалного движения в Чехии 1-й половины XV в. Гус — один из влиятельнейших предшественников идеологии Реформации. В своих проповедях он обличал католическое духовенство, выступал против торговли индульгенциями, осуждал корыстолюбие церкви, требуя ее решительной реформы. Он испытал сильное влияние английского религиозного реформатора Дж. Уиклифа (1320—1384), из воззрений которого сделал демократические и гуманистические выводы. Он верил в предопределение и единство церкви под руководством Христа, выступал против власти папы и кардиналов над церковью и их контроля над средствами спасения, поскольку «только Бог знает, кто предопределен, функции папы и власти не являются существенными». Основным принципом гуманизма Я. Гус считал познанный разумом «закон божий», которым как высшим идеалом должен руководствоваться каждый человек. Этот идеал является абсолютной нормой и мерилom социальной справедливости. Признавая деление общества «на три категории народа», Гус допускал сохранение власти в руках господствующего класса лишь при соблюдении последним «закона божьего». В противном случае подданные имеют право и даже обязаны выйти из повиновения.

Гус допускал, что «закон божий» можно понять человеческим разумом, что каждый человек способен самостоятельно судить, правильно ли была использована «божья правда». Этот принцип приводил к отказу от признания формального авторитета церкви и феодальной власти и к революционным выводам о самостоятельности народных масс. Сила разума, данная народу, служит достижению его собственного освобождения. Учение Гуса послужило идеологической основой гуситского движения.

СОВЕСТЬ ПОДНИМАЕТСЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ

¹ *Генрих Буллингер* (1504—1575) — известный швейцарский реформатор, преемник У. Цвингли. В 19-летнем возрасте уже преподавал в Капелле, в 1529 г. вернулся в Цюрих в качестве евангелического пресвитера. После гибели Цвингли был избран на роль его

преемника. Глубоко чтит Лютера как благочестивого человека, но осуждал его крайний фанатизм. В 1566 г. написал «Реформированное вероисповедание», которое для последователей Цвингли играет ту же роль, что и Аугсбургское — для лютеран. Был высокопрофессиональным экзегетом. Опубликовал работы Цвингли. Широко известная драма Буллингера «Лукреция» проникнута гуманистическими, республиканскими мотивами.

² Герострат, уроженец древнегреческого города Эфеса, в 356 г. до н. э. сжег храм Артемиды Эфесской, для того чтобы добиться славы и известности. В Древней Греции было запрещено произносить его имя, ставшее нарицательным для честолюбцев, стремящихся достигнуть известности ценой любого преступления.

³ «J'accuse» («я обвиняю») — начальные слова упоминавшегося выше открытого письма Э. Золя к президенту Франции, в котором писатель требовал пересмотра дела А. Дрейфуса.

⁴ Как известно, в начале своей карьеры Наполеон придерживался радикальных республиканских взглядов и даже вступил в «Общество друзей Конституции» — один из филиалов якобинского клуба в Ванансе (1791). Он написал и издал ряд памфлетов с изложением своих взглядов. Наиболее известный из них «Ужин в Бокере» (1793), в котором выражены политическая позиция, близкая к якобинской.

НАСИЛИЕ РАСПРАВЛЯЕТСЯ С СОВЕСТЬЮ

¹ *Игнаций Лойола* (1491—1556) — основатель ордена иезуитов (1540), утвержденного папой Павлом III в 1541 г. Орден иезуитов — сплоченная, централизованная организация; цель ордена — борьба против Реформации, за упрочение папства и католической церкви. В своих основных трудах Лойола изложил основы устава ордена и разработал систему иезуитского воспитания («Духовные упражнения»). Лойола считал допустимыми любые средства вплоть до преступных, если они способствуют интересам укрепления католичества и власти пап. В 1622 г. папа провозгласил Лойолу «святым».

² *Парацельс* (1493—1541) — выдающийся врач и естествоиспытатель XVI в. Родился в Швейцарии, образование получил в университетах Германии, работал в качестве врача в Страсбурге и с 1526 г. — в Базеле, где был профессором университета. В качестве врача скитался по всей Европе, изучая целебные источники, травы и минералы. Его воззрения были весьма противоречивы и необычны. Так, Парацельс выступал против схоластики и слепого подчинения авторитетам древней медицины (например, Галена), ввел в употребление целый ряд новых медицинских препаратов, явился основателем так называемой ятрохимии. В то же время он был последователем астрологии и алхимии. С одной стороны, он считал, что источником знания может быть лишь опытное изучение природы (макрокосмоса) и человека (микрокосмоса), которые составляют единое творение бога. С другой — утверждал «натуральную магию» как основу своего учения, как практику воздействия на духов, населяющих природу. Развивал алхимические воззрения в особой форме, признавая «началами» ртуть, соль и серу. Взгляды Парацельса преследовались церковью как «еретические».

КРАЙНОСТИ СХОДЯТСЯ

¹ *Гугеноты*—французские последователи кальвинизма. Социальный состав гугенотов был пестрым: народные массы городов, выступавшие против феодальной и зарождающейся капиталистической эксплуатации, часть родовитого дворянства и феодальной знати, городские верхи, особенно провинциальных районов, сопротивлявшиеся централизации страны, проводимой королевской властью при поддержке католической церкви. Борьба с католиками вылилась в так называемые религиозные войны XVI в., по окончании которых гугеноты получили свободу вероисповедания по Нантскому эдикту (1598), однако сохранившему католицизм как господствующую религию.

² Речь идет об известной книге немецкого буржуазного социолога Макса Вебера (1864—1920) «Протестантская этика и дух капитализма», которая была впервые издана в XX и XXI томах «Архива социальной науки и социальной политики» за 1904—1905 гг., а затем перепечатана в 1920 г. Анализируя соотношение «духа капитализма» и содержание реформационных учений (прежде всего Лютера и Кальвина), Вебер показывает, что протестантские доктрины призвания и аскетизма явились мощным стимулом для частнопредпринимательской деятельности и становления буржуазного способа производства. Будучи, однако, идеалистом в понимании истории, он не обращает внимания на другую, крайне существенную сторону проблемы, а именно: в своем принципиальном содержании протестантские идеи отразили дух нарождавшегося буржуазного общества, его политику и нравственные ценности.

³ Ветхозаветный образ из «Четвертой книги Моисеевой. Числа» (гл. 23): Пророк Валаам, который по внушению Валака, царя Моавитского, должен был проклясть народ Израиля, вместо этого по указанию бога благословляет его дважды.

⁴ *Жозеф Эрнст Ренан* (1823—1892)—французский философ, историк религии. Широкою известность ему принесли работы по истории раннего христианства, в которых он стремился очистить Новый завет от всего сверхъестественного; изображал в сентиментальном духе Иисуса Христа как магнетического реального проповедника, чем навлек на себя резкие выпады со стороны клерикалов, усмотревших в его работах «эхо старого Вольтера».

⁵ Религиозное течение внутри голландской кальвинистской церкви, получившее название от ее главного идеолога Якуба Арминуса (1560—1609). Рано обратившись в протестантизм, он изучал религию в Лейдене, а затем в Женеве у Теодора де Беза. Постепенно он отходит от кальвинистской доктрины предопределения и склоняется к мысли, что «избрание» отчасти зависит от свободной воли человека и является не произвольным, а определяется милосердием бога к падшим грешникам. За свои взгляды, которые отождествлялись с возрождением пелагианства, подвергся резким нападкам со стороны ортодоксальных священников и теологов. В систематической форме учение арминиан было изложено в «Великой Ремонстрации» (от позднелатинского *remonstrate*—«заявляю», «протестую»), которая была подана генеральным штатам Нидерландов. Она содержала основные принципы их учения: отказ от доктрины избранности и предопределения—представления, что Христос умер

лишь за спасенных, и веры в непреодолимую благодать. В течение ряда лет продолжалась острая полемика по этим вопросам, которые отражали определенные политические позиции: защищая свободу совести, арминьяне настаивали, чтобы магистрат, а не реформированная церковь имела последнее слово в вопросах религии. Естественно, эта позиция соответствовала интересам республиканцев. В 1618 г. вопрос о ремонстрантах рассматривался на заседании синода. Взгляды арминьян были осуждены, принято решение в духе строгих кальвинистов, и ремонстрантам был предоставлен выбор: либо отказаться от своей ереси, либо удалиться в изгнание. После того как губернатором стал более веротерпимый Генри Фредерик, многие вернулись, и вскоре была создана арминьянская церковь, а затем и особая академия по подготовке священников-арминьян. Образование в ней предполагало широкое знакомство с гуманистической традицией и новейшими философскими концепциями.

Содержание

Л. Н. Митрохин. Стефан Цвейг: Кастеллио против Кальвина	5
ВВЕДЕНИЕ	44
ЗАХВАТ ВЛАСТИ КАЛЬВИНОМ	52
«УЧЕНИЕ»	72
ПОЯВЛЯЕТСЯ КАСТЕЛЛИО	92
ДЕЛО СЕРВЕТА	112
УБИЙСТВО СЕРВЕТА	130
МАНИФЕСТ ТЕРПИМОСТИ	146
СОВЕСТЬ ПОДНИМАЕТСЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ	168
НАСИЛИЕ РАСПРАВЛЯЕТСЯ С СОВЕСТЬЮ	184
КРАЙНОСТИ СХОДЯТСЯ	208
ОТ АВТОРА	218
ПРИМЕЧАНИЯ	219

Цвейг С.

Ц26 **Совесть против насилия: Каstellio против Кальвина.**— М.: Мысль, 1986.—238 с., ил.—(Библ. сер.)

В пер.: 2 р. 30 к.

В книге классика мировой литературы раскрывается идейная сторона Реформации, показана борьба гуманистов XVI в. против религиозного фанатизма. Писатель рисует психологический портрет Жана Кальвина, воссоздает атмосферу деспотизма, религиозной нетерпимости, сложившуюся в кальвинистской Женеве. Написанная в 1936 г., книга выразила позицию автора, его категорическое неприятие фашизма. Яркие страницы книги, страстно осуждающие религиозный фанатизм, принижение человеческой личности, подавление разума и духовной свободы, станут действенным оружием в атеистической пропаганде. Издание снабжено предисловием и примечаниями. Перевод дается в сокращении.

Для широкого круга читателей.

Ц 0302010000-077 87-86
004(01)-86

ББК 87.3(3)

Стефан Цвейг

СОВЕСТЬ
против
НАСИЛИЯ
Кастеллио
против
Кальвина

Заведующая редакцией
Л. В. Литвинова

Редактор
В. Г. Сукач

Младший редактор
К. К. Цатурова

Художественный редактор
С. М. Полесицкая

Технический редактор
В. Н. Корнилова

Корректор
Т. С. Пастухова

ИБ № 2482

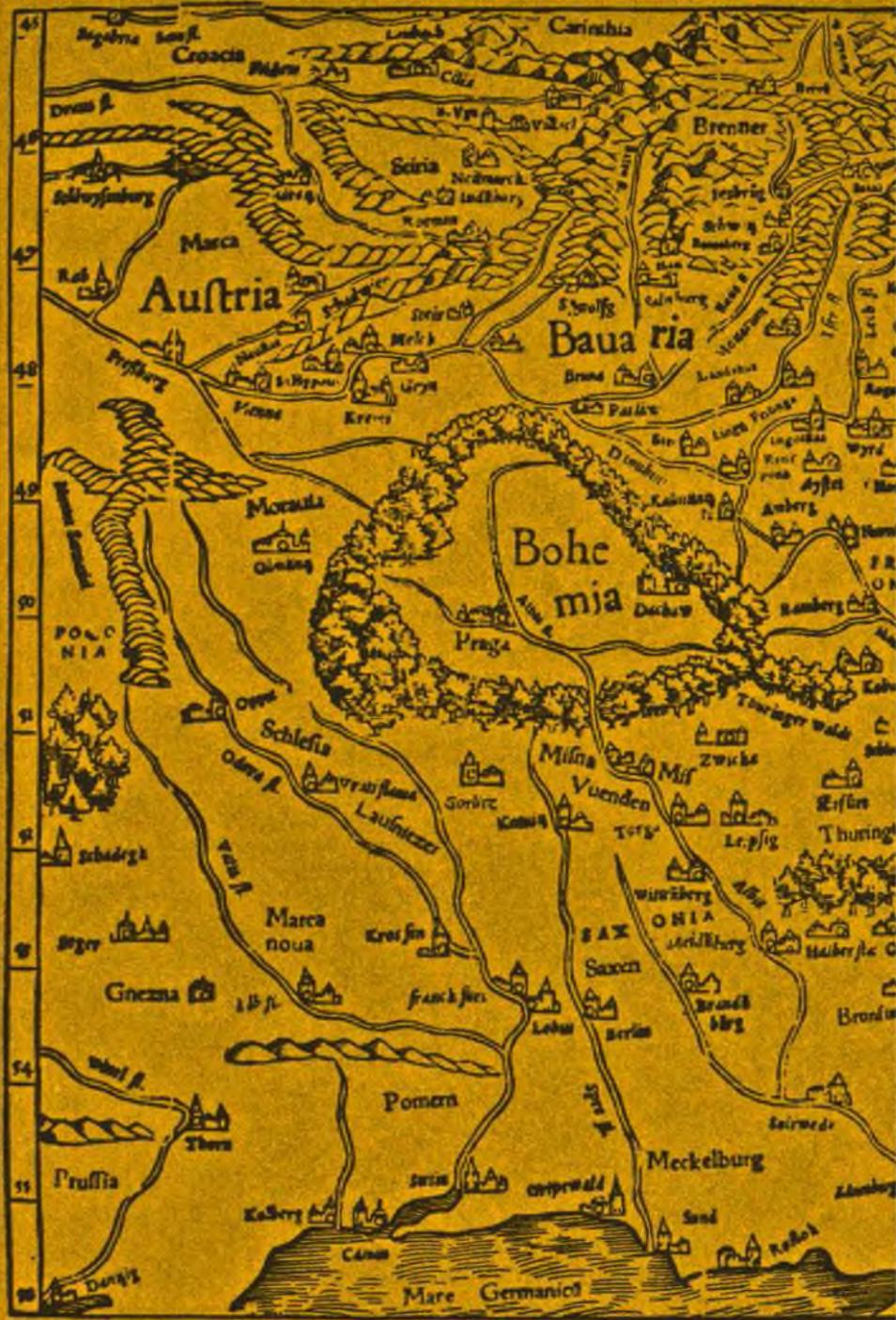
Сдано в набор 01.04.85. Подписано в печать 28.04.86.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная, 100 гр.
Гарнитура «Баскервиль». Офсетная печать. Усл. печатных
листов 12,6. Усл. кр.-отт. 25,62. Учетно-издательских
листов 15,31. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1162.
Цена 2 р. 30 к.

Издательство «Мысль». 117071. Москва, В-71,
Ленинский проспект, 15.

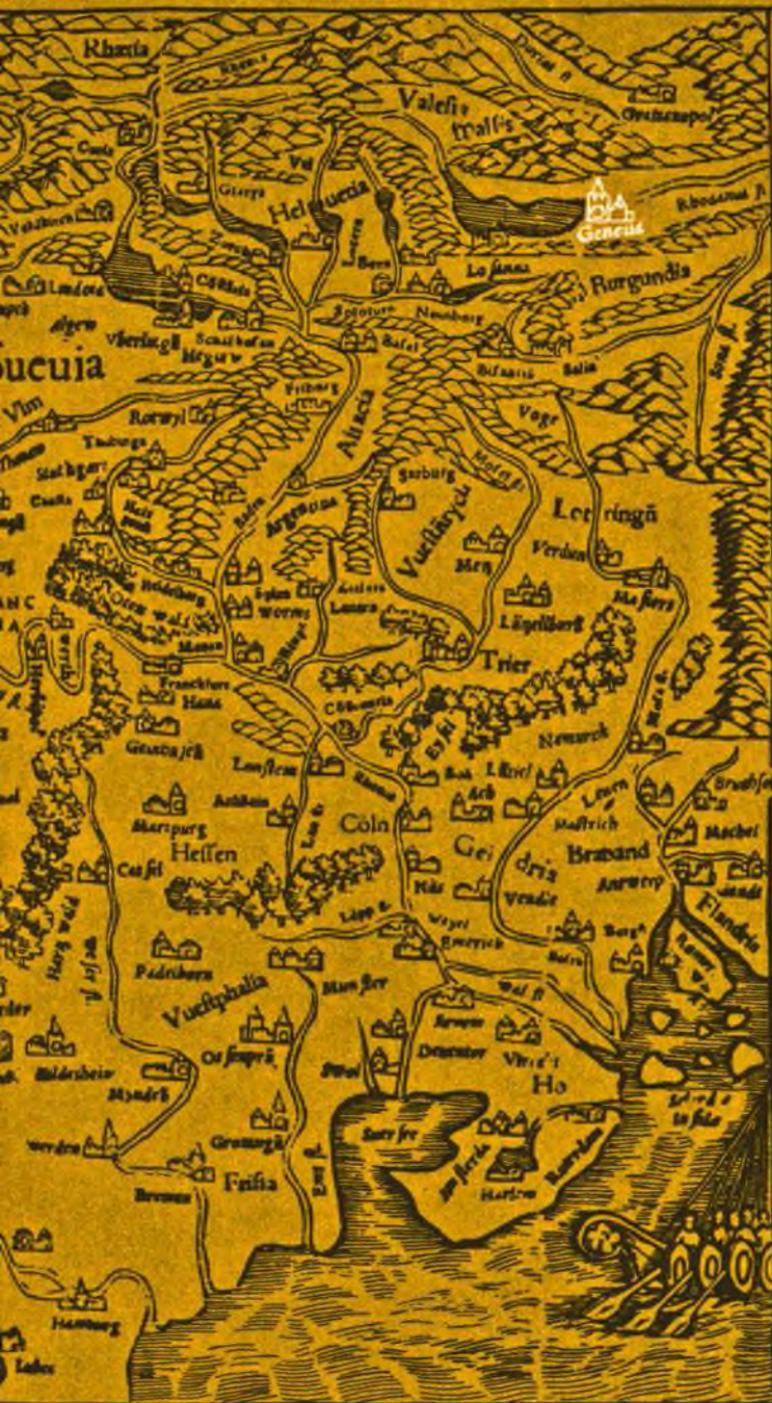
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового
Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография»
имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва,
Валовая, 28.



GERMANIA



E TABVLA



Scala miliariorum Germanicorum communium



2р.30к.